ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ISSN 0130-6545

16+

РОМАН ЭДУАРА ДЮЖАРДЕНА “ЛАВРЫ СРЕЗАНЫ”

ПИСАТЕЛЬ ПУТЕШЕСТВУЕТ: “АТЛАС РОБКОГО ЧЕЛОВЕКА” КРИСТОФА РАНСМАЙРА

ПЬЕСА ДЭВИДА МЭМЕТА “РОМАНС”

2017

3

Основан в 1955 году

[3]
2017

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Дэвид Мэмет *Романс.* Пьеса. Перевод с английского В. Голышева

52 Хелле Хелле *Примеры из жизни.* Рассказы. Перевод с датского и вступление Натальи Кларк

78 *Словенские поэты в Триесте: Марко Кравос и Мирослав Кошута.* Перевод со словенского и вступление Жанны Перковской

98 Энтони Бёрджесс *Право на ответ.* Роман. Перевод с английского Елены Калявиной (Окончание)

Литературное наследие

195 Николай Мельников *Писатель, которого обокрал Джеймс Джойс*

200 Эдуар Дюжарден *Лавры срезаны.* Роман. Перевод с французского Даниила Лебедева

Писатель путешествует

256 Кристоф Рансмайр *Атлас робкого человека.* Фрагменты книги. Перевод с немецкого Н. Федоровой

БиблиофИЛ

281 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2017

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. Л. Рудницкий

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн

Матей Вишнек

Януш Гловацкий

Милан Кундера

Ананта Мурти

Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Ханс Магнус Энценсбергер

Редакция :

С. М. Гандлевский

К. А. Жолудева

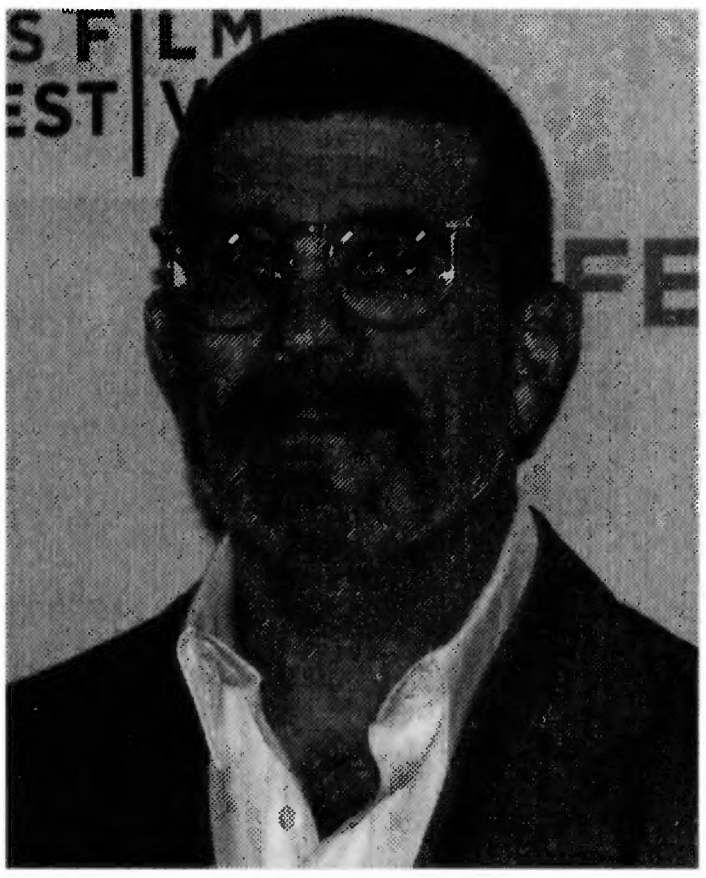
Е. Д. Кузнецова

М. С. Соколова

Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Дэвид Мэмет



Романс

Пьеса

Перевод с английского В. Голышева

Действующие лица

Обвинитель
Обвиняемый
Защитник
Судья
Судебный пристав
Бернард
Доктор

Сцена первая

Зал суда.
Судья в кресле. Обвинитель допрашивает Обвиняемого. Защитник — адвокат Обвиняемого — на своей скамье. Судебный пристав стоит сбоку.

Обвинитель. Это кто?..

© David Mamet
© В. Голышев. Перевод, 2017

Все оборачиваются на звук сирены — по улице проезжает кортеж.

Обвинитель. Кто этот человек в гостиничном номере?

Обвиняемый. Понятия не имею.

Обвинитель. Вы там были. Вас там видели.

Обвиняемый. Кто видел?

Обвинитель. Будьте любезны отвечать на вопрос.

Обвиняемый. Тогда будьте любезны задать его. (*Пауза.*) Вы будете так любезны задать мне вопрос? (*Пауза.*) "Вас там видели" — это не вопрос.

Обвинитель. Отвечайте на вопрос, который вам задан.

Обвиняемый. Вы задайте вопрос, и я попытаюсь ответить.

Защитник. Ваша честь, мой подзащитный выразил желание...

Обвинитель. Прошу прощения?

Защитник. ...ответить на вопрос.

Обвинитель. Я вас умоляю.

Защитник. "Умоляю"? Ваша честь! Я должен протестовать. Эта инсинуация, это оскорбительное...

Обвинитель. Давайте обойдемся без...

Защитник. Эта поза утомленности, эта взятая на вооружение — как ее назвать? "Шарада"? "Водевиль"?..

Обвинитель. Ваша честь, я протестую, я решительно протестую.

Судья. Одну минуту. Мы можем достичь Мира? (*Пауза.*) Неужели это такое странное слово? Простите мне некоторую высокопарность. Согласны? Если заговорю о Мире. Не это ли лейтмотив недели?

Обвинитель. Это лейтмотив недели. Мотив сильных, если позволите, ваша честь, — Истина.

Судья. Да. Благодарю вас. Лейтмотив *этой* недели. Разве не Мир? Если нет, зачем они собрались здесь? Зачем съехались сюда, если не ради мира?

Обвинитель. Это сигнал, ваша честь, если будет угодно суду. Приветствовать их.

Звук сирен. Все слушают.

Судья. Вот они едут. Едут туда. Великие люди. На мирную конференцию.

Приглушенные голоса участников судебного разбирательства.

Судья. Пометьте в ваших календарях, господа. Это красный день. Безусловно.

Защитник. Безусловно.

Судья. Это честь для нашего славного города и честь для нас. Видеть тех, кто прибыл из такого далека. (*Чихает.*)

Пристав. Будьте здоровы.

Судья. Спасибо. И. Сегодня по дороге на работу. Лица. Вдоль улиц. Возможно, вы видели их? Этого мужчины и этой женщины. Возможно — враги, определенно — лишь незнакомцы. Лицом к лицу. Потому что наши гости. Да. Да. У нас распря. Но, но... их присутствие здесь... (*Хочет чихнуть, но сдерживается.*) Простите, я принял таблетку?

Пристав. Приняли, ваша честь.

Судья. Благодарю вас. Показывает нам, что, может быть, цель распри не Победа. Нет, а просто Мир.

Все. М-м-м-м.

Судья (*пауза*). Извините, что отнял у вас время. Продолжайте. (*Пауза.*)

Обвинитель. Благодарю, ваша честь... вы контактировали?..

Обвиняемый. Нет.

Обвинитель. Попрошу вас не перебивать.

Обвиняемый. Можно мне стакан воды?

Судья. Дайте ему стакан воды!

Обвиняемый. Спасибо, ваша честь.

Пристав приносит Обвиняемому стакан воды.

Обвинитель. Позвольте мне начать с начала. Вы физически контактировали в номере...

Судья. И... кто-нибудь, пожалуйста, не даст мне таблетку?

Пристав. Ваша честь, вы приняли таблетку.

Судья. Я принял таблетку?

Пристав. Да, ваша честь.

Обвинитель. Вам требуется, чтобы я повторил определение "контакта"?

Обвиняемый. Не надо.

Обвинитель. Повторяю вопрос. Вам требуется, чтобы я повторил определение?

Судья. Я принял таблетку — тогда почему я чихаю?

Пристав приносит баночку с таблетками. Судья чихает.

Пристав. Будьте здоровы, ваша честь.

Защитник. Будьте здоровы.

Судья. Спасибо.

Обвинитель. Ваша честь, я не хочу выглядеть "попкой", но, поскольку коллега пожелал вам здоровья, я должен присоединиться.

Судья. Благодарю вас.

Обвинитель. В интересах Государства.

Обвинитель. Будьте здоровы.

Судья. Благодарю вас. (*Пауза.*) На чем мы остановились?

Обвинитель (*Обвиняемому*). Вам требуется, чтобы я повторил определение...

Судья. Потому что, не знаю, как вы, господа, а я тронут. Да. Да. Черствеешь. Но мы можем учиться. Когда мы видим два Воюющих Народа, Арабов и Евреев, Древнюю Вражду. Противников с библейских времен, простите меня, я тронут. Кто-нибудь видел парад?

Обвиняемый. Я видел, ваша честь.

Обвинитель. Я тоже видел, ваша честь.

Судья. Я тронут, извините. (*Чихает.*)

Все (*пауза*). Будьте здоровы.

Обвинитель. Хорошо. Вы мозольный оператор, не так ли?

Обвиняемый. Нет.

Обвинитель. Ваша честь, прошу, чтобы обвиняемому указали...

Обвиняемый. Я мануальный терапевт.

Обвинитель. Прошу прощения, я хотел сказать "мануальный терапевт". Вы мануальный терапевт, верно?

Обвиняемый. Да.

Судья. А я хочу извиниться за опоздание.

Защитник. Вовсе нет, ваша честь.

Судья. Вы, господа, тратите свое время — не вижу оснований подвергать вас дальнейшим... э... э...

Обвинитель. Вовсе нет, ваша честь.

Защитник. Это очень любезно с вашей стороны.

Судья. Любопытно: я опоздал из-за парада. Я принял таблетку, но не мог вспомнить, принял ли я таблетку. Поскольку от них помутнение в... И я вернулся домой. Чтобы принять мою таблетку, почему и опоздал, поскольку, выходя из дома, встретил Парад. (*Пауза.*) Я бы прибыл вовремя, если бы не... (*Пауза.*)

Обвинитель. Конечно, ваша честь.

Судья. ...парад. Полицейский. Остановил их на секунду. Чтобы я мог пройти. Он не обязан был это делать. Он понятия не имел, кто я такой. Назвал меня Старым Слезливым Дураком. (*Пауза.*)

Обвинитель. Хорошо. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз выезжали из страны?

Обвиняемый. Спасибо, ваша честь, за воду.

Судья. Мне тоже нужен стакан воды.

Обвинитель. Когда вы последний раз выезжали из страны?
Судья. Потому что мне надо принять таблетку.
Обвиняемый. Из этой страны?
Судья. Я упомянул о параде?
Обвинитель. Упомянули, ваша честь. (*Пауза.*)
Судья. Хорошо.
Обвинитель (*Обвиняемому.*) Это ваша подпись?
Обвиняемый (*пауза*). Не знаю.
Судья. Столько народу. Но, полагаю, это в природе парадов.

Легкий шелест одобрения.

Обвинитель. Вы, конечно, узнаете свою подпись?
Обвиняемый. Я...
Обвинитель. Она *похожа* на вашу подпись?
Обвиняемый. Да.
Обвинитель. Чем именно похожа? (*Пауза.*)
Обвиняемый. ...Она написана... написана так же, как моя подпись...
Обвинитель. То есть она... (*Пауза.*)
Обвиняемый. Я только что сказал.
Обвинитель. ...похожа на вашу подпись. Отлично.
Судья. Думаю, я вот что хочу сказать. Мы скованы "формой", Законом, Религией, Национальностью... э-э... цветом кожи. И вдруг, и вдруг, иногда и по милости Божией — мы свободны. И, понимаете, под всем этим мы любим друг друга.
Все. М-м-м.
Судья. Два мировых лидера, закоренелые *во вражде*... (*Пауза.*)
Обвинитель. Судьбоносный день, ваша честь.
Защитник. Да, судьбоносный, ваша честь.
Судья. Я думаю, мы можем искоренить.

Оба юриста смеются.

Судья. А я даже не еврей...
Обвинитель. В означенную дату...
Судья. Знаете, я хочу взять свои слова назад. Не знаю даже, почему я сказал "даже". Полагаю, более "нейтральным" было бы выражение "А я не еврей". (*Пауза.*) Продолжайте.
Обвинитель. Чем эта подпись отличается от вашей подписи? (*Пауза.*)
Обвиняемый. Не знаю.
Обвинитель. Вы сказали, что она напоминает вашу подпись *частично.*

Обвиняемый. Я сказал...

Обвинитель. Я настоятельно предлагаю *проинформировать* меня, *чем* она отличается от вашей подписи. (*Пауза.*)

Обвиняемый. Я не знаю.

Обвинитель. В таком случае, не скажете ли вы, что она ваша?

Судья. Одну минуту.

Обвинитель. Да, ваша честь?

Судья. Таблетки. Они вызывают у меня "сонливость", и прошу у вас прощения, если отвлекаю. В чем разница между мозольным оператором и мануальным терапевтом?

Обвиняемый. Мануальный терапевт корректирует позвоночник пациента для достижения физической и душевной гармонии.

Судья. А тот, другой?

Обвиняемый. Он растирает людям ноги.

Судья. За плату? (*Пауза.*)

Обвиняемый. Да, ваша честь.

Судья. И вы — который из них?

Защитник. Ваша честь, мой подзащитный — мануальный терапевт. (*Пауза.*)

Обвинитель. Хорошо. Вы отрицаете, что это ваша подпись.

Обвиняемый. Позвольте мне минуту? (*Совещается с Защитником.*)

Судья (*Приставу*). Джимми, здесь жарко?

Пристав. Ваша честь желает, чтобы открыли окно?

Обвиняемый. Я не могу ни отрицать, ни подтвердить, что эта подпись — моя.

Обвинитель. Что помогло бы вам дать ответ?

Пауза. Обвиняемый совещается с Защитником.

Судья. Нет, нет. Я, пожалуй, предпочту жару шуму.

Обвиняемый. Не знаю, что мне помогло бы.

Судья. Потому что там *шумно.* Еще шумнее из-за *парада...* (*Пауза.*) Жизнь — это постоянный выбор меньшего из двух зол. (*Пауза.*) Полагаю, я здесь как раз для этого...

Все почтительно смеются. Пауза.

Судья. Растирают людям ноги за "плату".

Обвиняемый. Да, ваша честь.

Судья. Ну...

Обвиняемый. Совершенно с вами согласен, ваша честь. (*Пауза.*)

Обвинитель. Здесь у меня документ с вашей подписью. Вы узнаете ее?

Обвиняемый. Это чек.

Обвинитель. Это один из ваших чеков. На нем номер вашего счета. И напечатана ваша фамилия. Он подписан вами. Вы... он был оплачен банком. Вы признаете, что на нем ваша подпись? Позвольте выразиться иначе. Вы это *оспариваете*?

Обвиняемый. Можно мне прерваться?

Обвинитель. Вы это оспариваете? Чек. На сумму этого счета. Счет на оплату двух авиабилетов. Вот квитанция. Подписанная вами.

Судья. Знаете...

Обвинитель. Ваша честь, если мне позволено будет продолжить... здесь чек, подписанный вами. Обе подписи признаны действительными: одна транспортным агентством, одна — банком. Вы этого не оспариваете.

Обвиняемый. Возможно, я летал на Гавайи.

Обвинитель. Ага.

Обвиняемый. Но это не означает, что я выезжал из страны.

Обвинитель. Попрошу вас ограничиться ответом на мой вопрос.

Обвиняемый. Это не означает выезда из страны.

Обвинитель. Что не означает?

Обвиняемый. Поездка на Гавайи.

Обвинитель. Вы *летали* на Гавайи?

Обвиняемый. Я этого не сказал.

Обвинитель. Нет, сказали.

Обвиняемый. Но... но... можно мне закончить? *Можно* мне закончить? Дадут мне возможность объясниться? Как вы думаете? Посреди этой... этой... перед этой инквизицией? (*Пауза.*) Как вы думаете? Как человеческому существу, разговаривающему с себе подобным. Дозволено мне это?

Обвинитель. Позвольте сказать вам: если вы хотите, чтобы слушание закончилось быстро и к вашему удовольствию, то разумнее с вашей стороны отвечать на мои вопросы. Итак. В означенный месяц вы выезжали с *Материка*?

Обвиняемый. Не помню.

Судья. Что?

Обвинитель. Он не помнит.

Судья. Извините. Извините. Я задумался. Он не помнит чего?

Обвинитель. Выезжал ли он с Материка.

Судья. Разве этого не следует знать?
Обвинитель. Всецело с вами согласен, ваша честь.
Судья. Сынок, ты не знаешь, выезжал ли с материка?
Обвиняемый. Я не помню, ваша честь.
Обвинитель. Что вам поможет вспомнить?
Обвиняемый. Я не знаю.
Обвинитель. Позвольте вас понять: вы не знаете...
Обвиняемый. Не знаю. Да.
Обвинитель. Выезжали ли с Материковой части?
Судья. Материковой части чего, простите? (*Пауза.*)
Обвинитель. Материковой части Континента.
Судья. И он этого не знает?
Обвиняемый. Совершенно верно. (*Пауза.*)
Обвинитель. Вы считаете... Позвольте выразиться иначе: в вашем *понимании*... такая способность вспомнить — в возможностях вменяемого человека? (*Пауза.*)
Обвиняемый. Не понял?
Обвинитель. Снимаю вопрос. И теперь спрашиваю: ссылаетесь ли вы на Психическую Недееспособность?
Защитник. Ваша честь...
Обвинитель. Ваша неспособность вспомнить дату или свои перемещения на протяжении года — выдвигаете ли вы ее как свидетельство своей Психической Недееспособности? Да или нет.
Защитник. Ваша честь, прошу вас, это излишне. Это...
Обвиняемый. Если бы я вас спросил...
Обвинитель. Извините, речь сейчас не обо мне.
Обвиняемый. Если бы кого-нибудь спросил. (*Пауза.*) Кого-то... кого-то. Это было бы... как вы можете говорить, что это Психическая Недееспособность? Это, это. Злобный оговор. Заявить так, извините меня... Каждый может. Запамятовать или...
Судья. Верно.
Обвинитель. Да?
Судья. Да, при нашей напряженной жизни...
Обвинитель. ...каждый может забыть...
Обвиняемый. Или затрудниться вспомнить.
Обвинитель. Да...
Обвиняемый. Дату или... что-то, то есть просто...
Обвинитель. Вы говорите, что это в Природе Человека.
Обвиняемый. Абсолютно.
Судья. Это Человеческая Природа. Друзья. Не далее как сегодня утром я, хм... (*Пауза.*) Люди Забывают.

Обвинитель. Вы сказали, что у вас затруднения с памятью. Это так. Такова Человеческая Природа. Да. И как с этим быть?

Судья. Тут не жарко? (*Опускает голову на стол.*)

Обвиняемый. У людей... Люди пишут памятку или...

Обвинитель. Людям трудно вспомнить, и они пишут. Памятку.

Обвиняемый. Да.

Обвинитель. Которой они доверяют больше, чем своим воспоминаниям.

Обвиняемый. Да. Именно с этой целью пишут.

Обвинитель. Ибо предпочитают запись на клочке бумаги.

Обвиняемый. Как вам известно.

Судья (*поднимает голову*). Джентльмены, если бы вы могли ускорить, я не очень хорошо себя чувствую.

Обвинитель. ...Если угодно суду.

Судья. Кажется, я не очень хорошо себя чувствую.

Обвинитель. Если Суд Позволит, прошу прощения... еще минуту.

Судья. Ощущение, что мысли от меня ускользают. Это на меня не похоже.

Обвиняемый. Неоднократно замечено, ваша честь, что долгое сидение — нагрузка для позвоночника, от этого уменьшается количество жидкости в твердой мозговой оболочке и рассеивается внимание.

Судья. Да. Еще бы. Но по правде... Я подумал, что, пожалуй, отойду... просто... просто... (*Чихает.*)

Пристав. Будьте здоровы, ваша честь.

Судья. Спасибо. Просто примкнуть к параду. Понимаете, быть его частью. Не знаю, может быть, это пыльца вязов возле консульства вызвала приступ.

Обвиняемый. У вашей чести аллергия на вязы?

Судья. У них есть “пыльца”? Наверное, должна быть — ведь они “деревья”. Они “деревья” — правда, Джимми? Деревья ведь? Ну, да, “любовь под вязами”.

Пристав. Ваша честь?

Судья. Говорят же: томаты — плоды.

Обвинитель. С позволения высокого суда, не могли бы мы сузить тему и сосредоточить внимание на...

Судья. Совершенно верно, совершенно. Прошу прощения.

Обвинитель. Я буду краток.

Судья. Это засело у меня в памяти, потому что у меня аллергия на Пыльцу.

Обвинитель. Я...

Судья. Я не очень хорошо себя чувствую и думаю, что хочу объявить перерыв.

Обвинитель. Одну минуту, ваша честь, пожалуйста, я больше не прошу.

Судья. У вязов, м-м, есть пыльца?

Обвинитель. Не знаю, ваша честь.

Судья. Или это только то, что мы ассоциируем с “пчелами”? (*Пауза.*)

Обвинитель (*Обвиняемому*). Попрошу вас обратить внимание на этот документ и опознать его. (*Пауза.*) Пожалуйста. Вы узнаете его? Это ваша памятка? И относится к означенному году?

Обвиняемый. Да.

Обвинитель. Это ваше имя?

Обвиняемый. Да.

Обвинитель. Это ваш *почерк*? (*Пауза.*)

Обвиняемый. Я...

Обвинитель. Кто этот человек в отеле?

Обвиняемый. Я...

Обвинитель. Это “Б”?

Обвиняемый. Я не...

Обвинитель. Это имя человека?

Обвиняемый. Я...

Обвинитель. “Б”. Оно означает имя *человека*?

Обвиняемый. Я...

Обвинитель. Это ваш почерк? Здесь? Будьте любезны посмотреть. Здесь. Попрошу вас прочесть этот знак. (*Пауза.*) Будьте любезны прочесть.

Обвиняемый. Кажется...

Обвинитель. В чем затруднение? Вы прочтете знак?

Обвиняемый. Кажется, что... (*Пауза.*)

Обвинитель. Что это за знак?

Обвиняемый. Я не могу...

Обвинитель. Это буква “Б”?

Обвиняемый. Кажется... Я...

Обвинитель. Что за ним *следует*? (*Пауза.*)

Обвиняемый. Это символ.

Обвинитель. И что это за символ? (*Пауза.*)

Обвиняемый. Стрелка.

Обвинитель. Стрелка. На что она указывает?

Обвиняемый. Каже...

Обвинитель. Я не спрашиваю, что вам кажется. Что это такое? Это буква “Г”? Вы собираетесь сказать мне, что это

символ виселицы? Это буква “Г”. Весь ребус или идеограмма: “Б”. Стрелка. “Г”, или, возможно, Гавайи...

Защитник. Я возражаю.

Обвинитель. ...или: Б на Гавайи. Это так?

Защитник. Возражаю.

Обвиняемый. Это ваше истолкование.

Обвинитель. Именно.

Судья чихает.

Защитник. Будьте...

Обвинитель. Одну секунду... Именно так, а следующий символ?

Обвиняемый. Я...

Обвинитель. Сердечко? А за ним?

Защитник. Ваша честь...

Обвинитель. Это кролик?

Обвиняемый. Я...

Обвинитель. Это *кролик*? С...

Судья снова начинает чихать.

Обвинитель. ...с радостной Мордочкой? Радостный кролик — это символ чего?

Обвиняемый. Я, м-м, ваша честь...

Защитник. Ваша честь, если позволите заметить...

Судья продолжает чихать.

Обвиняемый. Я не думаю, что это кролик... Ваша честь, я...

Судья. Я принял таблетку?

Обвинитель. ВЫ БУДЕТЕ СИДЕТЬ ЗДЕСЬ И ГОВОРИТЬ МНЕ, ЧТО ЭТО НЕ КРОЛИК?.. ВЫ, ЛИЦЕМЕРНЫЙ ИЗВРАЩЕНЕЦ, КЛЯТВОПРЕСТУПНИК...

Защитник. Протестую...

Судья (*чихая*). Джентльмены, джентльмены, давайте сохранять мир?

Обвиняемый. Я, я, я...

Обвинитель. Будете говорить мне, что это *не кролик*?

Защитник. Протестую, протестую, протестую.

Судья. Давайте сохранять мир?

Обвиняемый. Я, я, я...

Обвинитель. Будете говорить мне, что это не... *Кролик*?

Защитник. Мне это не кажется кроликом.

Обвинитель. Не все наделены способностью нарисовать кролика.

Защитник (*о рисунке*). Это что такое?
Обвинитель. Уши. Это Уши, это его Уши, это Уши Кролика.
Защитник. Никто не может нарисовать кролика так неумело. Ваша честь?..
Судья. Апчхи.
Защитник. Никто, никто.
Обвинитель. Не каждому, ваша честь, Бог дал способность нарисовать кролика.
Судья. Апчхи.
Обвинитель. Я могу и намерен представить вереницу Квалифицированных Свидетелей...
Судья. Я не думаю, что мое лекарство действует.
Обвинитель. Ваша честь, одну минуту.
Судья. АПЧХИ АПЧХИ АПЧХИ.
Обвинитель. ...Квалифицированных свидетелей, которые Не Могут Нарисовать Кролика.
Судья. А, черт, думаю, мне следует Прилечь.

Конец первой сцены

Сцена вторая

Маленькая совещательная комната. Обвиняемый и Защитник. Пауза.

Защитник. Знаете, это похоже было на развратного кролика. Я просил вас. Просил я вас? Не Подниматься На Свидетельское Место. Я просил вас?
Обвиняемый. Я...
Защитник. Я увидел перед собой похабного кролика.
Обвиняемый. А что, если меня там не было?
Защитник. Где, дьявол?
Обвиняемый. На Гавайях.
Защитник. Я уже ничего не понимаю.
Обвиняемый. Я плачу вам, чтобы вы понимали. Чтобы...
Защитник. Вы платите мне, чтобы я давал вам советы. И совет мой был: не подниматься на свидетельское место, а вы встали...
Обвиняемый. Да, я поднялся на...
Защитник. Вы поднялись туда и выставили дураком не только себя, но...
Обвиняемый. Я поднялся на, потому что, потому что считал...

Защитник. И тогда он спросил вас о Кролике. “Что вы делали на Гавайях с Радостным Кроликом”?

Обвиняемый. А что, если меня там не было?

Защитник. Где вы были?

Обвиняемый. Вы меня выслушаете?

Защитник. Если вас там не было. Как тогда объяснить Кролика и прочее? “Б”, Стрелку, Сердечко, Гавайи, Кролика? Если вас там не было. Видя их, вас спросят. Если вас там не было, спросят вашу “версию”.

Обвиняемый. Мою Версию?

Защитник. Да.

Обвиняемый. Но. (*Пауза.*) Но как бы вы... да, я знаю, я понимаю... Но. В качестве “репетиции”.

Защитник. ...У нас мало времени...

Обвиняемый. Прошу вас. Как, как, как *гипотетический случай.* Пожалуйста. Случай, когда. Хорошо? (*Пауза.*)

Защитник. Хорошо.

Обвиняемый. Когда факты представлялись так. *Представлялись как...*

Защитник. Вы понимаете, а теперь он объявляет *перерыв.* И я уже никогда не попаду домой...

Обвиняемый. Я...

Защитник. ...из-за парада.

Обвиняемый. К сути.

Защитник. К сути. Суть не в том...

Обвиняемый. ...прошу вас...

Защитник. Позвольте договорить: суть не в том, что вы при...

Обвиняемый. ...я понимаю.

Защитник. Что вы *признаете.*

Обвиняемый. Я понимаю.

Защитник. Но...

Обвиняемый. ...я пони...

Защитник. Но, позвольте, пожалуйста: что должен заключить разумный человек из этих фактов?

Обвиняемый. Я это понимаю.

Защитник. ...если вы понимаете, тогда меня удивляет...

Обвиняемый. Я спрашиваю в качестве допущения.

Защитник. Я... я... я чувствую, что не справляюсь с моими обязанностями.

Обвиняемый. Гипотетическая ситуация, когда...

Защитник. У нас мало времени...

Обвиняемый. Если мы допустим.

Защитник. ...чтобы предаваться: выслушайте меня...

Обвиняемый. Я...

Защитник. ...чтобы предаваться. Пожалуйста, хорошо, я знаю, поверьте мне. Нет, я *понимаю*, что вам это разбирательство во многом должно казаться, оно должно казаться *произвольным*, и...

Входит Пристав с газетой.

Пристав. Друзья, вы хотите поесть?

Обвиняемый. Если мы возьмем гипотетическую ситуацию, где...

Защитник. Вы были на Гавайях. Десятого ноября прошлого года. Б, Стрелка, Сердечко, Гавайи, Радостный Кролик. Вы там были. Как, к чертям, вы могли там не быть?

Обвиняемый. Представив альтернативу.

Защитник. Что вы были где?

Обвиняемый. Другую "точку зрения". На это.

Защитник. Хорошо, ладно, помимо галиматьи, какая альтернатива?

Обвиняемый. В моем понимании, это как раз *ваша* работа.

Защитник. Моя работа в чем?

Обвиняемый. Ну. Выработать альтернативу... представить Судье...

Защитник. *Ложь?..* (*Пауза.*) *ЛОЖЬ?*

Пристав. Кто-нибудь хочет посмотреть газету?

Обвиняемый. О, Господи, Господи. Угодил же я... теперь я по-настоящему в жопе. О, Господи, Господи... Вы не хотите *лгать?*

Защитник. Если бы вы не мешали мне делать мое дело...

Обвиняемый. Зачем вы пошли на юридический факультет? Если не хотите *ЛГАТЬ?*

Защитник (*пауза*). Я...

Пристав (*оторвавшись от газеты*). Большие дела на мирной конференции...

Обвиняемый. Вы уволены. (*Пауза.*)

Защитник. Боюсь, вы не понимаете.

Обвиняемый. Вы у-у-у...

Защитник. Полагаете, другой адвокат будет больше вам по вкусу?

Обвиняемый. Не знаю.

Защитник. Ну, а я знаю. ВЫ ВИНОВНЫ. ВАМ ПОНЯТНО?

Обвиняемый. Я НЕ ВИНОВЕН, ПОКА. КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД...

Защитник. Что за ЕРУНДА СОБАЧЬЯ. Что за ахинея. Меня от тебя тошнит. Мне стыдно. Меня переполняет презрение, какое, нах, презрение — отвращение, и ты сидишь там, виновный, как не знаю что, преступник, больной извращенец, а я...

Обвиняемый. ...ну минуту...

Защитник. Пытаешься, выкручиваешься...

Обвиняемый. Я вам плачу...

Защитник. ...*жалкие гроши*. За что я мучаюсь? Должен сидеть с тобой рядом. СУКА, день за днем, *защищать тебя*, поддакивать твоему инфантильному вранью. Гнусному талмудическому, еврейскому... (*Пауза.*) Ой, Господи.

Обвиняемый. Ага.

Защитник. Я... я... я... я должен покорнейше. Покорнейше. *Просить*. Прощения. Меня занесло, я... Я должен был забрать сына, моего сына Томми. На Хоккейный Матч Церковной Молодежи, и это. Как на *угольях*. Поскольку, поскольку я в разводе, я его редко вижу. И такие вылазки, когда мы вдвоем. Они *драгоценны* для нас, и я несколько расстроен... Беспокоился, что опоздаю, и... и могу только искреннейше просить У Вас Прощения. (*Пауза.*)

Обвиняемый. Я принимаю ваши извинения.

Защитник. Спасибо. Это великодушно и милосердно с вашей стороны.

Обвиняемый. Я понимаю ваше беспокойство.

Защитник. Спасибо.

Обвиняемый. Я понимаю, вы религиозный человек...

Защитник. ...да...

Обвиняемый. ...и вы везете сына на Церковное Мероприятие...

Защитник. ...Молодежный Хоккейный...

Обвиняемый. ...и если вы опоздаете...

Защитник. ...да...

Обвиняемый. ...могут быть сложности: вынимать член священника из задницы вашего сына.

Защитник. Ах, ты, жидовская морда, ты, гнусная пархатая...

Обвиняемый. ...пошел в жопу.

Защитник. Жид, христоубийца, задроченный урод.

Пристав. Друзья, вы хотите поесть?

Защитник (*Приставу*). И ты тоже. Пошел в жопу. Пошли все вы в жопу.

Пристав. ...кхе...

Защитник. Я все, я кончил, я оскорблен.

Обвиняемый. Ты уволен. Говорю, ты уволен. Ты подвел меня...

Защитник. Пошел ты...

Обвиняемый. А? А? Кто теперь слабый?

Защитник. Пошел ты. Назвать меня *лжецом*...

Обвиняемый. Какой кошмар — услышать Одно Маленькое Слово?

Защитник. Жидовская морда.

Обвиняемый. Ох, Нехороший Человек назвал его Лицемером...

Защитник. Ты ты ты ты ты... ёп... лицемер...

Обвиняемый. Я, да?..

Защитник. Ты самый, кто, кто, кто... и кто должен страдать за тебя? (*Пауза.*) А?

Обвиняемый. О? *Ты?*

Пристав (*глядя в газету, с карандашом в руке*). ...доисторическая рыба...

Обвиняемый. О, кто страдает за мои грехи? "Кто отдал Сына Своего Единородного..."? (*Пауза.*)

Защитник. Что это должно зна...

Пристав. Доисторическая рыба... Десять букв.

Обвиняемый. Ты знаешь, что это значит.

Защитник. Нет. Не уверен, что знаю.

Обвиняемый. Нет?

Защитник. Нет. Не уверен, что знаю.

Обвиняемый. Пошел в жопу.

Пристав. Доисторическая рыба. Десять букв.

Защитник. Это, должен я это воспринимать?..

Обвиняемый. Пошел в жопу.

Защитник. В жопу? Сам пошел, Пархатый Мойша, крючконосый, обрезанный, богомерзкий, Христоубийца, Гад...

Пристав. Судья говорит. ...

Защитник. В жопу судью, и тебя тоже, и *тебя*, педераст... из-за тебя я не могу отвести Маленького Томми на Хоккейный Матч Церковной Молодежи, потому что должен сидеть здесь и слушать твой бздёж, гнилая ты...

Обвиняемый. О, о, опять Маленький Томми? Поплетется враскоряку после причастия?.. (*Пауза.*)

Защитник. Надеюсь, я надеюсь, что арабы Восстанут от своих стад и сбросят твою нацию в море. Перебьют детей. Изнасилуют твоих жен и выжгут всякий след твоего двухтысячелетнего святотатства.

Обвиняемый. Усрись.

Пристав. ...вы будете обедать?

Защитник. И если *есть* Бог. А он есть, который умер за нас, который пострадал за Человечество, который жив сегодня и все слышит. Я молю этого Бога услышать мою мольбу...

Пристав. Сегодня у них мясной рулет...

Защитник. ...чтобы ты, и твоя семья, и твоя нация...

Пристав. ...из духовки...

Защитник. ...Я тебя слышу. И чтобы каждая сперма, семя, след, артефакт...

Обвиняемый. Если бы ты хоть НА ОДНУ МИЛЛИОННУЮ БЫЛ ТАК КРАСНОРЕЧИВ ТАМ...

Защитник. Пошел ты. Я уволен, а ты в жопе. Потому что пойдешь в тюрьму. В тюрьму. Слыхал? Потому что человек, который (я — этот человек) имел хоть *один* шанс из ста спасти твою жидовскую шкуру, этот единственный человек...

Обвиняемый. ...если бы у тебя была хоть одна извилина...

Защитник. Мне не нужна извилина. Мне НЕ НУЖНА извилина. Мне *нужно* было, чтобы ты сидел на месте, чтобы...

Обвиняемый. Слушался...

Защитник. Да. Слушался. Ты у дантиста говоришь: "Вот мои зубы. Чем могу вам помочь?" ТЫ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ.

Обвиняемый. ПРЕДОСТАВИТЬ... ПРЕДОСТАВИТЬ... ПРЕДОСТАВИТЬ... ПРЕДОСТАВИТЬ... ПРЕДОСТАВИТЬ... ПРЕДОСТАВИТЬ... Прости Господи, что я наделал? Нанял адвоката гоя! Все равно что пойти к парикмахеру-нормалу. И он хочет, чтобы я ПРЕДОСТАВИЛ. Ты безмозглый, надутый, белые носки, клетчатые штаны, загородный клуб, ветчина в консерве, сраный шайгец, гой. Предоставить. Чудесно. Бери пример с Твоего Господа.

Защитник. ...настоятельно прошу тебя прекратить...

Обвиняемый. Твои басни... у-у-у, они откатили камень от пещеры.

Защитник. ...я тебя предупредил...

Обвиняемый. Пока остывала кутья...

Защитник. Я больше не предупреждаю...

Обвиняемый. Ой. И что ты сделаешь? Подтянешь штаны и перебьешь всех евреев в Европе?

Защитник. ...вы этого заслужили...

Обвиняемый. Поддернешь кожаные портки — и всех в газовую камеру?

Защитник. ...погром...

Обвиняемый. Само мое присутствие здесь. САМО МОЕ ПРИСУТСТВИЕ ЗДЕСЬ — ЭТО ПОГРОМ...

Защитник. ...ну вот...
Обвиняемый. Погром...
Защитник. ...ваша нация не может заказать бутерброд с сыром.
Обвиняемый. В жопу.
Защитник. ...не вспомнив про Холокост.
Обвиняемый. Моя нация *не ест* бутерброды с сыром.
Защитник. О. О, вот как? Они не "кошерные"...
Обвиняемый. ОНИ НЕВКУСНЫЕ. НЕВКУСНЫЕ. Безмозглый Фашистский Мудак. ОНИ НЕВКУСНЫЕ, И ПОЭТОМУ МЫ ИХ НЕ ЕДИМ.
Защитник. ВОТ ОНО ЧТО?
Обвиняемый. Да. Да. Мы едим Христианских *Детей.* Мы запекаем их в *пирог*, как вы твердите уже две тысячи лет. Все ваше дурачье католическое...
Защитник. Я англиканец...
Обвиняемый. А *это* что еще такое? Католик с "вольво"...
Защитник. Очаровательно.
Обвиняемый. Езжай в свой Загородный Клуб. Пейте, трахайте жен друг друга и раздувайте оборонный бюджет, недоумки.
Защитник. ...чем тебе не угодил оборонный бюджет? (*Пауза.*)
Обвиняемый. Чем *не угодил*?.. Чем не угодил *оборонный* бюджет?
Защитник. Ты *серьезно*?
Пристав. Хотите обедать?
Защитник. Чем не *угодил*? Оборонный Бюджет? Который, среди прочего, держит израильтян и... и Законно Избранное Палестинское...
Обвиняемый. Возьми их себе, Палестинцев... Я...
Защитник. А. Они что? "Чурки"?
Обвиняемый. ...нет...
Защитник. Дикари, которые не заслуживают...
Обвиняемый. Нет...
Защитник. "Летучие Обезьяны"?
Пристав. Друзья, хотите обедать?
Защитник. Я не хочу обедать.
Пристав. Вам захочется есть. Когда еще это кончится.
Защитник. Я не голоден.
Пристав. На вашем месте я бы поел. Что вы едите?
Обвиняемый. В каком смысле?
Пристав. В смысле "что вы едите?"
Обвиняемый. Я ем *пищу*. Вы что спрашиваете?
Защитник. Он спрашивает: есть такое, чего вы не едите?

Обвиняемый. Я много чего ем. Если это пища, я ее ем. Почему вы спрашиваете?

Защитник. Он спрашивает из вежливости, потому что ты еврей.

Обвиняемый. Откуда он знает?

Защитник. Потому что ты час уже орешь: “проклятый гой”. Что он должен подумать? Себя обзываешь?

Пристав. Друзья, вы видели парад?

Защитник. ...орешь, как базарная торговка...

Обвиняемый. ...что это значит?

Защитник. Базарная торговка.

Обвиняемый. Что это значит — я слышал, что ты сказал: что это значит?

Защитник. Это значит, это значит, друг мой...

Обвиняемый. С этого не начинай.

Защитник. С чего этого?

Обвиняемый. С еврейского этого “друг мой”. Гой, прислужник. Да, я прямо с базара, да, я жид, я пархатый еврей. Я приехал с Ближнего Востока. Две тысячи лет назад, когда мы убили вашего Господа. Это был я. Горбоносый, сальный еврей, который предпочитает честную логику базара...

Защитник. ...если...

Обвиняемый. Заткнись... Базара, где у каждого есть что-то... чтобы...

Защитник. ...если...

Обвиняемый. Вы, безмозглые растлители детей, воры, гои, монстры, будете говорить мне о Справедливости? Знаете вы, что такое истинная Справедливость?

Защитник. Нет, скажи мне, пожалуйста.

Обвиняемый. Это Еврейский Базар.

Защитник. Ага...

Обвиняемый. Ты хочешь покончить со злом в мире? Хочешь знать как? Сведи дискуссию к Простой Человеческой Потребности. Вместо того чтобы кричать на Меня, Ставить Меня перед Прокуратором Иудеи... и, кстати, он был евреем...

Защитник. Кто?

Обвиняемый. Христос.

Защитник. Христос Иисус? Да. Он был евреем. Да. Я это подтверждаю.

Обвиняемый. Благородно с твоей стороны.

Защитник. Нет, меня тошнит от этого всего. Мне тошно слушать, как ты поносишь мою веру.

Обвиняемый. Да насрать на тебя.

Защитник. И кто? Мозольный оператор?

Обвиняемый. Моя профессия, сэр...

Защитник. И теперь я пропустил хоккейный матч...

Обвиняемый. Моя профессия, сэр...

Защитник. ...насрать на твою профессию.

Обвиняемый. ...облегчала страдания людей, когда доктора еще жили в пещерах.

Защитник. Ну да, растирая людям пятки...

Обвиняемый. Нет, на самом деле, через выправление *позвоно*...

Защитник. А, ерунда собачья.

Обвиняемый. ...выправление позвоночника, извините меня, да, что даже в самых трудных случаях...

Защитник. Избавьте меня...

Обвиняемый. ...заставляет болезнь отступить, ведет к улучшению *самочувствия*, правильному *мышлению*, душевному равновесию и... одним словом, о Боже...

Защитник. Что?

Обвиняемый. О БОЖЕ.

Защитник. *Что?*

Обвиняемый. Я ЗНАЮ, КАК ПРИНЕСТИ МИР БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ!!

Конец второй сцены

Сцена третья

Обвинитель произносит речь как будто перед пустой комнатой.

Обвинитель. Во все времена тот или иной человек провозглашал Новое, Никогда Прежде Не Виданное на Земле. И называл это Богемой, Радикализмом. Свобода, эта доктрина вседозволенности, эта идея, что мы выше закона. На чем основана? Эта смелая декларация? На личном ощущении, что ты Избранный. Законы, друг мой и уважаемые соседи, возникли, когда мы усвоили на долгом опыте и дорогой ценой, к нашему огорчению и поучению, что нельзя *доверять* своим чувствам. (*Пауза.*) Дерзни, назови преступление "свободой". И любым другим словом, которого нет в Законе. Но Закон тебя найдет. То, что сначала было напоминанием, явится как требование и... наказание. Ибо я, ибо вы, так же как этот человек, уступивший соблазну и падший и представший перед вами, держим ответ перед

Законом. И вы, которые судят его, должны быть спокойны и требовать от себя честной и твердой преданности. Тому *единственному* идеалу, который только и может направлять нас — и он есть древо жизни. Для тех, кто крепко за него держится. (*Пауза.*) Ну, что скажешь? (*Пауза.*) Говори правду? (*Пауза.*) Ну? (*Пауза.*)

Бернард, молодой человек, одетый, может быть, только в короткие леопардовые плавки, поднимается с кушетки, где его не было видно.

Бернард. Я не знаю.
Обвинитель. ...О Боже.
Бернард. Ну, не знаю я.
Обвинитель. О Боже.
Бернард. Я...
Обвинитель. Избавь меня. *Избавъ.*
Бернард. Я...
Обвинитель. Пожалуйста. Пожалуйста. *Избавъ меня* от твоей жалости.
Бернард. Может быть, подожди секунду... может быть, *возможно*, что...
Обвинитель. ...пожалуйста...
Бернард. ...ты дашь мне закончить? Возможно, это немного слишком сильно.
Обвинитель. Что это еще значит? (*Пауза.*)
Бернард. Я...
Обвинитель. Что ты хочешь мне сказать этим своим "слишком сильно"?
Бернард. Для *меня.* Слишком сильно для *меня.*
Обвинитель. Слишком сильно для *тебя.*
Бернард. Да, *сейчас.*
Обвинитель. ...Как это может быть Слишком Сильно?
Бернард. Я...
Обвинитель. Могу я, как ты думаешь, то есть, черт возьми, хочешь сказать, что тебе *не нравится?*
Бернард. Нет, это не так.
Обвинитель. Это *так.* (*Пауза.*)
Бернард. Я...
Обвинитель (*одновременно с ним*). Ты представляешь себе, как это *унизительно?..* (*Пауза.*)
Бернард. Я...
Обвинитель (*одновременно с ним*). ...участвовать в этом *лицемерии.*
Бернард. Я... (*Пауза.*)

Обвинитель. Ну, ладно, ладно. Что бы ты изменил?
Бернард. Я...
Обвинитель. Что?
Бернард. Мне, да, нравится.
Обвинитель. Я не это спрашиваю.
Бернард. Я...
Обвинитель. Ты можешь, можешь ты, ради Христа? Пожалуйста. (*Пауза.*) Ты можешь, *пожалуйста*? (*Пауза.*) Ради Бога? (*Пауза.*) Ты меня слышишь?..
Бернард. Я...
Обвинитель. Можешь ты оставить меня одного хоть на время? (*Пауза.*) Скажи мне.
Бернард. Мне жаль, если я тебя обидел.
Обвинитель. Не сомневаюсь, что жаль. (*Пауза.*) Знаю, что жаль.
Бернард. Я...
Обвинитель. ...серьезно. (*Пауза.*)
Бернард. Спасибо. (*Пауза.*)
Обвинитель. Если бы я хоть чуть-чуть мог побыть *один*.

Бернард хочет что-то сказать.

Да. Нет. Я знаю. (*Пауза.*) Спасибо. (*Пауза.*) Спасибо. Я серьезно говорю. Я хочу всего-навсего побыть один.
Бернард. Я не хочу, чтобы ты на меня сердился.
Обвинитель. Я на тебя не сержусь.
Бернард. Мне очень жаль.
Обвинитель. Я не сержусь.
Бернард. Я...
Обвинитель. Ничего. Я немного, я немного рас...
Бернард. Нет. Правда. Я... Я покорно прошу...
Обвинитель. МОЖЕШЬ ТЫ УБРАТЬСЯ ОТСЮДА В ЖОПУ И ОСТАВИТЬ МЕНЯ В ПОКОЕ? ТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ СЕБЕ, КАК ЭТО УНИЗИТЕЛЬНО...
Бернард. Я...
Обвинитель. Ерунда собачья.

За сценой раздается пожарный сигнал. Пауза.

Бернард. Я...
Обвинитель. Чушь. Это все *ты*. Это все *ты*. Теперь каешься. Как же мало тебе надо. Как...

Снова пожарный сигнал, два раза.

Бернард. ...ты...

Обвинитель. Нет. *Не говори* этого.
Бернард. ...ты не...
Обвинитель. Да. Я да. Это не. Это *не* "обычное дело". И я не потерплю. Слышишь? Что? Я "оскорбил твои *чувства*"?
Бернард. ...я...

Снова пожарный сигнал.

Обвинитель. Я теряю тебя. Я теряю тебя. Я это знаю. Не ври мне. Пожалуйста пожалуйста пожалуйста, скажи мне правду. Хотя бы сейчас. Как если бы мне хватило мужества ее услышать.

Пожарный сигнал.

Бернард. Тебе хватит мужества услышать.
Обвинитель. Хватит?
Бернард. Да.

Пожарный сигнал.

Обвинитель. Ее услышать.
Бернард. Да.

Сигнализация звонит непрерывно. В комнату набирается дым.

Обвинитель (*говорит одновременно с сигналом*). Услышать что? (*Пауза.*) О чем мы говорим? О, Господи, все путается. О чем мы говорим? Весь мой мир — сплошное страдание. Земля уходит у меня из-под ног, и я понимаю, первый раз в жизни, понимаю, что это значит. Когда говорят, ох... ох... (*Пауза.*) Ох... это что еще за черт?

Обвинитель бросается вон из комнаты, звонит телефон. Бернард берет трубку.

Бернард (*в телефон*). Алло? Он на кухне. (*Пауза.*) Потому что мясо сгорело, вот почему. Потому что я забыл выключить. (*Пауза.*) Потому что я болван, ясно? (*Пауза.*) Ну, таким уродился. Наверно, это генетическое. (*Пауза.*) Многие так говорят.

Сигнал умолкает. Возвращается Обвинитель с детектором дыма в руках.

Тебя к телефону.
Обвинитель. Пошел ты в жопу.

Бернард. Сам пошел.

Обвинитель. И *ты* пошел.

Бернард. Сам пошел.

Обвинитель (*в телефон*). Алло. Нет. Наоборот, вовремя. Что вам нужно? Сейчас не могу говорить. Скажите мне завтра. Ну, что вы собираетесь сказать мне завтра? (*Пауза.*) Отложить обвинение? Почему?

Бернард. Мясо сгорело.

Обвинитель. Пошел в жопу. (*Пауза. В телефон.*) СНЯТЬ ОБВИНЕНИЕ? ВАШ КЛИЕНТ ВИНОВЕН, ТОЛЬКО ГОСПОДУ ТАКОЕ УДАЕТСЯ. (*Пауза.*) Я *не хочу* откла... Я *не хочу* откладывать слушание. С какой стати давать ему отсрочку? (*Пауза.*) УЧАСТВОВАТЬ В МИРНОМ ПРОЦЕССЕ?

Бернард. Скажи ему, чтобы шел с Богом.

Обвинитель. Пошел в жопу.

Бернард. Сам пошел.

Обвинитель. И *ты* пошел. Ты, говенная ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПУСТЫШКА.

Бернард. О, о, о, ты на мне женился из-за моего *ума*?

Обвинитель. Иди в жопу.

Бернард. Чтобы мы говорили о *Прусте*? Из-за этого ты день за днем прилетал к прилавочку с кожаными изделиями в "Саксе"???

Обвинитель. В жопу.

Бернард. *Томился*?..

Обвинитель (*в телефон*). Он хочет принести мир — *как*?..

Бернард. Я ему: "слушайте, купите *бумажник*..."

Обвинитель. Пошел в жопу.

Бернард. Засранец. Где ты покупаешь одежду? На свалке? "О, я люблю тебя, Кролик".

Обвинитель. Пошел в жопу.

Бернард. "Пожалуйста, пожалуйста, я знаю, что я толстый. Я знаю, что у меня вкус, как у сраного продавца зоомагазина... Я знаю, я недостоин тебя..."

Обвинитель. ...давай, давай.

Бернард. "Я знаю, что у меня фигура, как у груши, и я стыжусь себя, и *в постели* от меня мало толку".

Обвинитель. ...Ага...

Бернард. "А ты прелестнейшее существо на свете, и я недостоин даже глядеть на тебя, ночь за ночью". "Ты — как вкуснейшее пиво". А МОИ ДРУЗЬЯ СМОТРЕЛИ НА ТЕБЯ ТАК, СЛОВНО Я ПРИВЕЛ ДОМОЙ КАКОГО-ТО СИНОПТИКА ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА. Но нет, нет, нет.

"Я люблю тебя, Бернард. И я дам тебе *пристанище*. Я тебя защищу..."

Обвинитель. Ты плачешь? (*Пауза.*) Ох, ты плачешь?

Бернард. А, ты думаешь, это Дешевые Девичьи Штучки?

Обвинитель (*в телефон*). Один момент.

Бернард. Ты думаешь, это "нечестно"? Иметь "чувства"? "Чувства"? ...ну вот, потерял контактную линзу. (*Бернард ползает по полу.*)

Обвинитель. ...Продолжай...

Бернард. ...я потерял контактную...

Обвинитель. ...продолжай. ...

Бернард. Я не хочу продолжать. Я хочу, чтобы меня оставили в покое.

Обвинитель. Кролик...

Бернард. Оставь меня в покое.

Обвинитель. Кролик, я здесь.

Бернард. Мне все равно, где ты. Занимайся своей работой. Иди к своему драгоценному собеседнику. Иди, продолжай свое мудозвонство... "если будет угодно суду"... вашу мужественную мудянку, ХАБЕАС, ПОХАБЕАС... я потерял линзу... засунь Мир в Тюрьму. Может, этим расквитаешься за отсутствие самоуважения. С меня хватит. С меня хватит... Я сжег мясо. А ты чисть сраную сковородку. Мне жаль тебя. (*Уходит.*)

Обвинитель (*в телефон*). Алло? (*Пауза.*) Друг. А вам какое дело? (*Пауза.*) Да, я вас слышал. (*Пауза.*) И как это принесет мир на Ближний Восток? (*Пауза.*) Ну, тем хуже, потому что завтра вам и вашему клиенту быть в суде к девяти утра. (*Пауза.*) Судья не болен, у него аллергия. Он будет там, и ваши с клиентом потроха будут там. И мне насрать на ваш Ближний Восток. И на тебя тоже.

Бернард (*вернувшись*). Значит, две вещи. Первая.

Обвинитель. Да?

Бернард. Мне жаль тебя.

Обвинитель. Тебе жаль?

Бернард. И во-вторых: да, жаль. И во-вторых: пасту из питьевой соды с водой оставить в сковородке на ночь, и отчистится, как нечего делать. В жопу тебя. (*Уходит*).

Конец третьей сцены

Сцена четвертая

Зал суда. День. Присутствуют все, кроме Судьи; он входит, несколько замызганный и обвислый.

Пристав. Прошу встать.
Судья. Который час?
Пристав. Девять часов утра, ваша честь.
Судья. Вечера? (*Пауза.*)
Пристав. Нет, ваша честь.
Судья. Хорошо.
Защитник. Ваша честь, благодарю вас за то, что рано пришли... Это может прозвучать для ваших ушей несколько более чем необычно. Но я полагаю, что мы, в этих исключительных обстоятельствах, получили сегодня возможность. Вы знаете, в древности суд был одновременно очагом правосудия, закона, религии и политических дебатов. "Домом собраний", если угодно. Форумом, где общество транслировало, развивало и тем самым *совершенствовало* свою коммерцию, мораль и — в данном случае — международные отношения.
Судья. Где я?.. (*Пауза.*)
Обвинитель. Ваша честь...

Судья поднимает лист бумаги.

Судья. Что Это?
Пристав. Ваша честь, это ходатайство об отложении дела слушанием.
Судья. ...слушанием...
Защитник. Ваша честь, я думаю, сегодня мы получили возможность...
Судья. ...что это такое?..
Пристав. Ваша честь, это...
Судья. Я спрашиваю. Это лист бумаги. Правильно? (*Пауза.*)
Защитник. Если угодно Суду. Это лист бумаги.
Судья. Он сделан из "пшеницы"?
Обвинитель. Ваша честь, я полагаю, он сделан из древесной пульпы. Если угодно суду, перед вами ходатайство об отложении дела слушанием, поданное защитой, против чего данная сторона решительно возражает. На следующих основаниях.
Защитник. Ваша честь, здесь, сегодня, в этом городе. Собрались представители двух исторически воюющих держав. Мой клиент и я...

Судья. Можно мне стакан воды?
Пристав. Он перед вами, ваша честь.
Судья. Я принял мою таблетку?
Пристав. Я полагаю, да, ваша честь...

Судья принимает таблетку.

Я полагаю, ваша честь принял таблетку, ваша честь.
Судья. Ну вот, теперь я уверен. Теперь, мм, теперь мм, мы, наверное, можем продолжать. Должен сказать вам, друзья, после бессонной ночи... Я не очень хорошо себя чувствую и...
Обвинитель. Я возражал, ваша честь, против ходатайства об отложении...
Судья. Мне поменяли лекарство.
Обвинитель. Ваша честь...
Судья. Вызывало у меня сонливость. Но я перестал его принимать.
Обвинитель. Ваша честь, я...
Судья. Дайте мне таблетку. Одну секунду. Вы можете дать мне таблетку?
Пристав. Ваша честь, побочный эффект передозировки...
Судья. Что? Они вызывают у меня сонливость?
Пристав. Ваша честь, *нет. Прежние* вызывали у вас сонливость. Побочные эффекты *этой* таблетки а-а, о-о (*читает наклейку*) "психодислептическое"... мм...
Судья. Что ж, мы должны рискнуть. Поскольку должны осуществить правосудие. (*Читает.*) Что такое "Кролик"?
Обвинитель. Прошу прощения у вашей чести, это личные заметки. (*Идет, чтобы забрать листок.*)
Защитник. Ваша честь, если мне позволено вернуться к нашей теме...
Судья. Почему он хочет вас всего облизать? (*Пауза.*)
Защитник. Ваша честь... У нас. Сегодня в нашем городе. Представители Двух Великих Стран...
Судья. ...и тут что-то очень неправильно.
Защитник. Что, ваша честь?
Обвинитель. В самом деле. Ходатайство об отложении, помимо простой человеческой заботы о здоровье вашей чести...
Судья. Я об этой записке. (*Пауза.*) Что-то очень неправильное в этой записке. Вы. Вы получили записку, которую я нашел приклеенной к моему запросу. Это так?
Обвинитель (*пауза*). Да, ваша честь.
Судья. Она подписана "Кролик". (*Пауза.*)
Обвинитель. Да, ваша честь. Она подписана.

Судья. Кролики не умеют писать. (*Пауза.*)

Звонит телефон. Обвинитель вынимает свой сотовый.

Обвинитель (*в телефон*). Не звони мне сюда...

Защитник. Ваша честь, если сила Во Благо, как бы мы ее ни назвали. Некоторые называют эту силу Богом.

Судья. ...Они не умеют писать.

Обвинитель (*в телефон*). ...потому что я на работе...

Защитник. ...Вообразим мысленно древнего мужчину... или женщину, с длинной седой бородой. И назовем это, скажем, "Могуществом". Мы, люди, наделены, допустим, "химически", если угодно, предрасположенностью к *интуитивному* восприятию этой силы. Если она ведет нас к благу. Разве это не Бог?

Обвинитель (*в телефон*). Не могу сейчас говорить.

Судья (*Обвинителю*). Предлагаю вернуться к вопросу.

Обвинитель. Возвращаюсь, ваша честь. Упоминание "Бога" в Высоком Суде...

Судья. Я имею в виду Кролика. (*Пауза.*)

Обвинитель. Кролик, ваша честь, не юридический документ.

Судья. Тогда его не должно быть на моем столе.

Обвинитель. Ваша честь, к сожалению, он приклеился к ходатайству об отложении.

Судья. Как?

Обвинитель. Соком, если позволите, жаркого в собственном соку.

Судья. Я больше не могу принимать. (*Встает.*)

Защитник. Ваша честь, если ваша честь позволит... Сэр. Враждующие представители Израиля и Палестины сегодня в нашем городе. Мой клиент и я, мы полагаем, что, возможно, разработали...

Обвиняемый. Разработали, разработали, ваша честь, метод, посредством которого...

Обвинитель (*в телефон*). Я сказал, не могу сейчас говорить...

Защитник. Метод, ваша честь, изобретенный этим добрым человеком, метод, который, мы полагаем, может принести мир на Ближний Восток. Мы настоятельно просим у суда разрешения представить его и его метод этим двум мировым лидерам, которые собрались сегодня, ваша честь... Во Имя, ваша честь, Во Имя Священного Мира. (*Пауза.*)

Обвиняемый. Мы думаем, ваша честь, что эта простая процедура может принести мир.

Обвинитель. Что это за хреновина? Ваша честь?..
Судья. ...обо мне не беспокойтесь... мне поменяли лекарство.
Обвиняемый. “Хреновина”?
Судья. Прежние таблетки вызывали сонливость.
Обвиняемый. ...хреновина?
Защитник. Ваша честь, замечания обвинителя...
Обвинитель. Я сейчас в ситуации, прошу прощения, некоего, некоего, некоего... некоего семейного, некоего...
Судья. ...я не знал, что вы женаты...
Обвинитель. И вы впираетесь сюда с этой хреновиной, с этой *собачьей* чушью. Польщите Священное Имя Мира...
Обвиняемый. Я...
Обвинитель. Несете эту гнусную, еретическую, либеральную, гуманистическую, языческую Галиматью насчет Бога в виде всяких кустов и столпов...
Обвиняемый. КОТОРЫЙ УМЕР И ОСТАВИЛ ТЕБЯ НАЧАЛЬНИКОМ?
Обвинитель. ...Ваша честь?..
Обвиняемый. “Иисус”?
Защитник. Ой, нет.
Обвинитель. Прошу прощения?
Обвиняемый. Иисус. *Еврей.* Ой-ё. Мы оскорблены, что Он Умер На Кресте. И мы не смеем поминать Его всуе. Кроме как целый день, в каждой третьей фразе ваших лицемерных, гойских...
Обвинитель. Я протестую...
Обвиняемый. Между изнасилованием своих детей и... и...
Обвинитель. Ваша честь...
Обвиняемый. ...взрыванием абортариев и прочим.
Обвинитель. Ваша честь, я решительно протестую против этих низких инсинуа...
Обвиняемый. Вы, сраные гои, с вашими женами по имени Жаклин.
Судья. *Мою жену зовут Жаклин.*
Обвиняемый. О, мой вещий взор.
Защитник. Ваша честь, сказав: “Ваша жена по имени Жаклин”, мой клиент имел в виду...
Обвинитель. Что это, к черту значит, Мой Вещий Взор?
Судья. Я принял мою таблетку?
Обвиняемый. Это Шекспир.
Обвинитель. Ах, чушь.
Судья. Почему он говорит о моей жене?
Обвиняемый. Ага, а почему вы не любите Шекспира... потому что он был евреем.
Пристав. Он был евреем?

Обвиняемый. А как же.
Обвинитель. Но это абсурд.
Обвиняемый. Вот как?
Обвинитель. Да.
Судья. Почему это абсурд?
Обвиняемый. Почему это абсурд?
Обвинитель. Это абсурд, потому что... потому что...
Обвиняемый. Я жду.
Обвинитель. Потому что: Шекспир не был евреем.
Судья. Кем он был?
Обвинитель. Кем он был?
Обвиняемый. Да.
Обвинитель. Он... был *христианином.*
Обвиняемый. Христианин не может так хорошо писать.
Судья. Что вы на это скажете? (*Пауза.*) Ну же, вы хотите, чтобы я что-то сделал для вас, так и *вы* что-то сделайте для *меня.* (*Пауза.*)
Обвинитель. Я...
Судья. Просветите мое невежество.
Обвинитель. Я. (*Пауза.*) Вопрос перед данным судом...
Пристав. Он был Педерастом. Я знаю, что он был Педерастом.
Судья. ...Он был Педерастом?.. Шекспир?
Пристав. Ну.
Судья. Шекспир, Которого Учат в Школах?
Пристав. Да, ваша честь.
Обвинитель. Ваша честь...
Судья. Пре... пре... пре... подают *маленьким детям*?
Обвинитель. Ваша честь, я должен протестовать.
Судья. Почему? Вы специалист по Шекспиру?
Обвинитель. Нет, ваша честь... (*Долгая пауза для вящего эффекта.*) Я — гомосексуалист. (*Пауза.*)
Судья. А чем вы там реально *занимаетесь*? (*Пауза.*)
Обвинитель. Ваша честь...
Судья. *Серьезно...* (*Долгая пауза.*)
Защитник. Ваша честь, представители двух...
Судья. А разве не мог он быть и Евреем *и* Педерастом? (*Пауза.*) Разве не мог быть И Тем И Другим?
Защитник. Ваша честь, сегодня нам представилась Историческая Возможность.
Судья. И что я должен решить?
Защитник. Ваша честь?

Судья. То есть поскольку мы не можем вернуться в... э... елизаветинскую эпоху и выяснить, Выщипывал ли Шекспир Брови...

Защитник. Ваша честь...

Судья. ...и не "забывал" ли он надеть трусы под брюки. Тогда: Кто-то Должен Решить. (*Пауза.*) Это, понимаете, многовековая проблема, стоящая перед Юриспруденцией. Это, понимаете, то, о чем вы никогда не думаете. "О, я бы хотел сидеть там и приговаривать людей к Смерти и иметь зарезервированную парковку" и так далее. Вам никогда не приходит в голову, что это сопряжено с *грузом* ответственности. Не-ет. Бременем Должности. Это бремя... (*пауза*) хм... (*пауза*) эта *неопределенность* (*пауза*).

Защитник. Ваша честь, *Завтра*. Представители Двух Великих Держав... собравшиеся в нашем городе, отбудут, если, ЕСЛИ. Ваша честь...

Судья. *Не удивительно*, что Соломон разрезал этого ребенка надвое! *Вы бы* так же сделали! Вы, сраные Ханжи, Два-Сапога Пара. "Не-е! Не режьте его пополам. Он человеческое существо!.." Нет, пожалуйста.

Защитник. Ваша честь.

Судья. *Избавьте меня...*

Обвинитель. Ваша честь...

Судья. ...ибо вопрос... дайте мне еще таблетку... не в том, на какие части вы разделите Ребенка; на половины, на четверти... он все равно *мертвый*, но... (*Пауза.*) Видите, как вы меня слушаете? Мне это нравится. Когда я не на работе, мне этого не хватает. (*Начинает плакать.*) Но что такое страдание одного человека? В этой сраке, которую мы зовем жизнью. Где... где целые *народы...*

Защитник. Ваша честь?..

Судья. ...вынуждены кипятить себе воду. (*Короткая пауза.*) Что?

Защитник. Ваша честь, если позволите, именно эта проблема привела нас в Суд.

Обвинитель. Ваша честь, я хотел бы ответить.

Судья. Давайте.

Обвинитель. Ваша честь, если позволите. Мы "занимаемся", как выразился суд, не больше и не меньше тем, чем занимаются Гетеросексуалы. В соответствии с Законом, с тем же правом. На Частную Жизнь, на Достоинство, на...

Судья. ...а потом вы смотрите черно-белые фильмы, так? (*Пауза.*)

Обвинитель. Ваша честь. ...

Судья. Что оскорбляет вас в Цветном Исполнении?

Защитник. Ваша честь, представители Двух Великих Народов.

Обвинитель. Ваша честь, вопрос не в цвете, как таковом, но в упадке сюжетосложения, сопутствующем, по общему мнению, цвету в кино, но не им вызванном.

Судья. Вот как?

Защитник. Ваша честь, ваша честь.

Судья. Что?

Защитник. Ваша честь, у нас абсолютно надежный план установления Мира на Ближнем Востоке.

Обвинитель. Есть отличные, отличные цветные фильмы.

Пристав. "Барабаны в долине Могавка"...

Судья. Я видел этот фильм. Там много индейцев.

Защитник. В самом деле много, ваша честь.

Судья. И это иллюстрирует мою мысль, что *люди*... что я говорил?..

Обвинитель. Ваша честь, я вижу, что Суд устал, и предлагаю, если можно...

Судья. Шекспир был *евреем*?

Пристав. *И* педерастом...

Обвинитель. Вам следует знать...

Пристав. Слушаю...

Обвинитель. Кто упомянул "Барабаны в долине Могавка"...

Пристав. Я смотрел его в самолете...

Обвинитель. Летели на Файр-Айленд?..

Все (*вполголоса*). Ооооо... (*Звонит телефон.*)

Пристав. Нет, если хотите знать, на Ибицу...

Обвинитель (*в телефон*). Не звони мне сюда.

Защитник. Ваша честь...

Обвинитель (*в телефон*). *Я не* сжег сковороду. И я *не* сжег жаркое. И я на работе.

Защитник. Ваша честь...

Судья. Авраам Линкольн был евреем...

Пристав. Он?..

Судья. Посмотрите на его *фотографии.*

Защитник. Ваша честь. Лидеры Двух Ближневосточных...

Судья. Не перебивай меня, пацан. Знаешь, что я могу *сделать*? Я не знал, что я могу сделать, пока меня не посадили сюда... что я знаю?.. "Дэнни: не хочешь ли стать Судьей?" — "Конечно. Что из этого вытекает?.." Сидишь

тут наверху, читаешь “Нэшнл джиографик”. Стало *скучно*, “отправляйся в тюрьму”. Думаешь, я шучу?..

Обвиняемый. Нет.

Судья. Нет, кто?

Обвиняемый. Нет, ваша честь.

Судья. Я сказал: “Я могу отправлять их в Тюрьму?..” — “Еще как”. — “Микки, говорю, *за что*?” — “За что угодно, Дэн. За что угодно — или ни за что”. В первый раз было чудно́, конечно. Как со всяким делом. Привыкаешь. Как с сексом. Ты женился. “Теперь могу иметь когда угодно”. Проходят недели, и ты *понимаешь*: Должны быть *правила*. Распорядок, может быть, — я тебе, ты мне. Иногда она усталая... или это, как они называются?..

Обвинитель. Прецеденты? (*Звонит телефон.*)

Судья. *Вибраторы*. Они не называются *прецедентами*. А? Ты что, *дурака* со мной валяешь?

Обвинитель (*в телефон*). *Что?*

Обвиняемый. ...ваша...

Судья. Что “прецеденту” делать на твоей тумбочке в спальне? (*Пауза.*)

Защитник. Ваша честь...

Судья. Есть ли предел моей власти? Скажи? Лучше тебе не знать.

Обвинитель. Ваша честь, у меня семейные затруднения...

Судья. Первое мое дело — мать с ребенком. Отец не хочет платить за его содержание. Мать начинает плакать. Более опытный человек наложил бы какое-то, какое-то, как оно называется?..

Пристав. Судебное наказание.

Судья. Э, *тебе бы* тут сидеть. На папашу. Я отправил в тюрьму *ребенка*.

Обвинитель. За что?

Судья. Мне причины *не нужны*; мне нужен только этот вот *маленький* молоток. И буду пользоваться им, пока *батарейки* не сядут. (*Судья озирается.*) Где он? Весь день думаю: что мне сделать еще? Но я, понимаешь, ограничен, понимаешь, чем...

Защитник. ...законом?

Судья. Да, где мой молоточек? Пока я не разберусь в этом... Это *что*?

Пристав. Служба обществу.

Судья. Служба обществу. Я теперь так: “А, найди городской парк и стриги траву зубами”... “свяжи свою одежду в узел и спусти в унитаз”. Э... “засунь помидор себе в жопу”, эээ...

Обвиняемый. ...какая польза от этого обществу? (*Пауза.*)

Судья. Ты шутишь.

Обвиняемый. Нет. (*Пауза.*)

Судья. Когда нарушитель этим занят, покажется он в таком виде школьникам?..

Обвиняемый. Нет.

Судья. Ну и заткнись на хрен.

Обвинитель. Прошу у Суда прощения.

Судья. Заткнись, Жополиз. Что ты на это скажешь?

Обвинитель. Ваша честь. (*Выключает телефон.*) Неотложная, *неотложная* семейная надобность, ваша честь, вынуждает меня *просить* вашу честь вернуться к слу...

Судья. И называются они *вибраторами.* Кому, как не мне, знать.

Защитник. Ваша честь, у нас есть план, как установить Мир на Ближнем Востоке.

Судья. Боже мой. Что же ты Молчал?

Защитник. У нас метод, предложенный моим клиентом...

Судья. Ты думаешь, я Каменный?

Защитник. Представители Двух Великих Держав.

Судья. Ты думаешь, небольшой Междусобойчик за рюмкой лишает меня права сочувствовать Бедным Евреям?

Защитник. Нет, ваша честь, нет.

Судья. Несчастным преследуемым Евреям и Арабам?..

Обвинитель. ...Ваше...

Судья. ...которые дерутся там в жаре и *влажности*, какой мы, цивилизованные белые люди, вообразить не можем?

Обвинитель. ...ваша...

Судья. Заткнись. *Да.* Белая раса не приспособлена, да, трудиться в Экваториальной Жаре. Господь по Своей милости предназначил *этому* народу править, а тому *работать*. Копченым — в поле, нагнувшись, петь, вращая бедрами в ритме... этих... ихних...

Пристав. Ваша честь...

Судья. Знаете что, я хочу признаться...

Пристав. Ваша честь, разрешите, я вас...

Судья. Дайте мне мои таблетки.

Пристав. Ваша честь, можно я эти у вас?.. (*Отбирает у Судьи таблетки.*)

Судья. Я хочу признаться.

Пристав. Ваша честь, побочное действие вашего лекарства...

Судья. Побочное знаешь, к какой матери на легком катере. Хочу сделать признание.

Пристав. Заседание откладывается...

Судья. Ух-м, ух-м, ух-м.

Пристав. Ваша честь...

Судья. И все тут должны сознаться. Вы, виновная, виновная мразь. “Собака съела мою тетрадку с уроками”. “У меня был любовник мальчик, и поэтому я застрелил Римского Папу”. Собачья чушь. И я обязан во имя *зарплаты* кормить моих малышей, Маленького Ники, Маленькую Сью. Сьюзи? Что я сделал? Сьюзи, я... я был *пьян*. С тобой так не бывает? Одну ночь. Клянусь Богом, одну ночь. Две ночи от силы. Сьюзи? Я не думал, что ты *запомнишь*.

Пристав. ...заседание переносится... (*Пытается увести Судью.*)

Судья. А дети долго такое помнят?

Пристав. Ваша честь...

Судья. Помнят? Я не знаю. Я спрашиваю. У кого-нибудь есть дети?

Обвинитель. Я...

Судья. Я больше не могу нести этот груз. Я что... *Швейцария?* Страна без *чувств*?.. Вы думаете, у меня нет чувств? Вы думаете, я из Творога и Сыворотки? Я из плоти и крови, как любой другой человек. Слушайте, слушайте, если вы меня *порежете*, кровь пойдет? Дайте мне этот нож для бумаги.

Приставу удается вытолкать Судью из зала.

Пристав. Короткий перерыв... (*Пауза.*)

Обвинитель. Так. Кажется...

Судья возвращается в зал, Пристав за ним.

Пристав. Прошу встать.

Защитник. Ваша честь, мой клиент и я...

Судья. Знаете, у меня однажды был роман с Единственной Уродливой Девушкой в Исландии... (*Пауза.*) Ну-ка, скажите, какая она была уродка? (*Пауза.*)

Все. Какая она была уродка?

Судья. Какая уродка, по-вашему?

Защитник. Ваша честь (*он читает свое ходатайство*). “Как можно Разделить Единое? Как соединить разделенное? Через текучий динамический стасис...”

Обвиняемый. ...достигаемый...

Защитник. ...правильным применением лигатур и тем самым через остеопорозный ствол жизни.

Обвиняемый. ...позвоночник.

Защитник. Тем самым ведущий...

Обвиняемый. Да...
Защитник. ...к миру. Блистательность Христа...
Судья. *Иисуса* Христа?
Обвиняемый. ...я думал, мы не будем вставлять это в...
Защитник. Да, мы договорились.
Судья. *Иисуса Христа*?..
Защитник. В общем, да. Да. Ваша честь? У нас просьба...
Обвиняемый. Я думал, вы это вычеркнете...
Защитник. Если ваша честь даст согласие всего лишь, *всего лишь* отпустить нас на (*смотрит на часы*), мы, христианин и еврей, нашли метод...
Судья. Нет, нет, нет. Я вас не отпущу. Кто так сказал? Кто знает?
Обвинитель. Фараон.
Судья. Я сниму с себя одежду. (*Начинает раздеваться. Пристав пытается его удержать.*)
Пристав. Ваша честь...
Защитник. Ваша честь...
Судья. Что?..
Защитник. Блистательность Христа, блистательность Христа, ваша честь, таковая же, как Моисея, таковая же, как Пророка...
Судья. Пророка.
Защитник. Мухаммеда.
Судья. Мухаммед. Пророк Ислама.
Защитник. Совершенно верно.
Судья (*разделся до нижней рубашки*). Легче, легче, будем ОЧЕНЬ Осторожны в том, что говорим о них. (*Пауза.*)
Защитник. Их Учения...
Судья. ...осади. Давайте-ка помедленнее: насчет, насчет народов, о которых говорим.
Защитник. Да.
Судья. С этими "вещами"... на головах.
Защитник. Да...
Судья. Их учения...
Обвинитель. Древняя, *древняя* религия...
Защитник. Заключается в призыве к Миру. (*Пауза.*)
Судья. Думаю, они не могут против этого возражать?
Защитник. Да, ваша честь. (*Пауза.*)
Судья. Эти чудные, чудные люди...
Защитник. М-м...
Судья. Потому что ни за что не хочу их рассердить.
Обвинитель. Тут я целиком с вами, ваша честь.
Судья. И говорю это не только потому, что у них вся нефть...

Обвинитель. Да.
Обвиняемый. Да.
Защитник. Да.
Обвинитель. Безусловно, да.
Судья. Или потому, что они иногда а... а... а они иногда...
Защитник. ...Всем надо "выпустить пар"...
Судья. Но потому что, а... а... а... (*Пауза.*)
Обвинитель. Потому что делают "инвестиции".
Судья. Малыш, ты попал в точку...
Обвиняемый. Это точно.
Пристав. Обожаю их качественные туземные ткани. (*Пауза.*)

Одобрительный ропот присутствующих.

Защитник. И учения этих чудесных людей...
Судья. Угу...
Защитник. Состоящие, как я уже сказал, в призывах к миру.
Судья. Ты чертовски прав тут. Но что это значит, когда маленькие дети должны ложиться спать в слишком тесной одежде, открывающей все их разные выпуклости любому, хоть сколько-нибудь любопытному.
Защитник. Ваша честь...
Судья. ...об этом ты подумал?
Защитник. Ваша честь, мы можем принести Мир на Ближний Восток. (*Пауза.*)
Судья. Для "пробы"?
Защитник. Нет, ваша честь. По-настоящему.
Судья. Как ты это сделаешь?
Защитник. Мой клиент считает, что неравновесие в их странах, проявляющееся в их лидерах, можно устранить корректировкой...
Судья. Вы хотите принести Мир на Ближний Восток?
Обвиняемый. Да, ваша честь.
Судья. Ого, это большое дело. И я *не хочу* стать препятствием для вас, ребята. Эти два, чего, отсталых Народа сражаются... Проклятье Войны навлек на них... э... как редко это нам выпадает. Перевязать раны — не только вдове, но и сироткам, этим маленьким проказникам... (*Плачет.*) Можно мне сморкалку?
Защитник. Ваша честь.
Судья. Нет, нет, ладно! Вы хотите возложить ваш план Мира к стопам этих воюющих держав...
Защитник. Нет, ваша честь, мы хотим выправить им шею.
Судья. Мысль неплохая.
Защитник. Ваша честь, тогда да, если бы вы нас отпустили...

Судья. Да Боже мой... *конечно.*

Защитник. Благослови вас Бог, ваша...

Судья. Смотри! (*Приставу.*) Закажи машину. Я хочу полицейскую машину и эскорт, чтобы отвезли этих двух джентльменов представить свою петицию Мирной Конференции. И вот: Данной мне властью, да, осуществлять сострадание, я с большим удовольствием, согласно моим судебным прерогативам и в целях мира во всем мире, отпускаю...

Бернард (*входит с большим чемоданом. Он ничего не видит и, щурясь, обращается в пустоту*). ТЫ, ЛЖИВАЯ СВИНЬЯ. Я ПЯТЬ ЧАСОВ СИДЕЛ И ЖДАЛ У ТВОЕЙ МАТЕРИ. СЫРНЫЙ ПИРОГ ПРОСТЫЛ, САЛАТ КАПРИЗ РАЗОГРЕЛСЯ, У МЕНЯ С НЕЙ, КАК ТЫ ЗНАЕШЬ, НИЧЕГО ОБЩЕГО, КРОМЕ КАК С ТОБОЙ ЦАЦКАТЬСЯ, ФАЛЬШИВЫЙ, БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ, ТОЛСТЫЙ, НЕЧИСТОПЛОТНЫЙ...

Судья. ...с кем он разговаривает?

Бернард. ...НЕБЛАГОДАРНЫЙ...

Судья. ...потому что, если со мной, это — неуважение к суду.

Бернард. ...СТАРЫЙ...

Судья. Я уверен в этом...

Бернард. ГДЕ ОН? ГДЕ ОН?

Обвинитель. Вставь свои линзы.

Бернард. ГДЕ ОН?

Обвинитель. *Вставь свои линзы.*

Бернард. Я не могу "вставить мои линзы", потому что пролил реки слез, и они не "вставляются".

Обвинитель. Кролик...

Судья. Ты сказал, что хотел "*скрутить им шею*"?

Бернард. И теперь я плачу перед твоими друзьями. Может, представишь меня?..

Обвинитель. Я...

Бернард. Или тебе стыдно за меня?.. Стыдно за меня перед твоими Друзьями-нормалами? "Ах, сладкий... Ты уже кончил?.."

Судья. А что плохого в этом вопросе?

Бернард. ...если ты должен *спрашивать*...

Судья. Я всегда думал, что это *вежливо*...

Бернард. Понятно, что вы так думали. (*Обвинителю.*) И ты можешь спросить: что это? *Это* чемодан. Что в нем, тебе интересно...

Обвинитель. Бернард...

Бернард. О-о-о, наша совместная *жизнь*... ох...

Обвинитель. Бернард...
Бернард. Ты даже не отвечал на мои *звонки*...
Обвинитель. Я веду *дело*.
Бернард. Ах, оставь.
Обвинитель. Я веду дело, *ты не видишь?*
Бернард. Не говори со мной в таком тоне.
Обвинитель. Кроль...
Бернард. Не смей со мной "Кролькать". Ты... ты... не нахожу слов. ... Не знаю. Стараешься быть *другом*. Стараешься окружить Заботой, надеешься, что есть Бог. Кто тебя видит... Кто? (*Разражается слезами. Пауза.*)
Защитник. Ваша честь. Сегодня... возможно, только еще сегодня осталась надежда принести Мир на Ближний Восток. Мой клиент и я, хотя мы Разных Вероисповеданий...
Бернард. ПРОКЛЯТЫЙ. КАК ТЫ МОЖЕШЬ УСТРОИТЬ МИР НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, КОГДА В СВОЕМ ДОМЕ НЕТ МИРА?..
Судья. ...знаешь, ты прав...
Бернард (*показывает на Обвинителя*). *Ему* это скажи. Ему скажи. Это его надо Судить...
Обвинитель. ...Кролик...
Бернард. Он надругался надо мной, он был *жесток* со мной, а потом, когда я пошел домой к *матери*, что он должен был сделать?
Судья, Обвиняемый и Защитник. Тоже прийти?
Бернард. Вы правы, черт возьми, ТОЖЕ ПРИЙТИ ТУДА, И ЭТО *НЕЗЫБЛЕМЫЙ* ЗАКОН.
Судья. Он прав.
Бернард. В ожидании его я испек пирог с овощами и сыром, приношение ему. А он гадко поступил.
Судья. Хм.
Бернард. И ЕЩЕ ЭТА ЕГО МАТЬ, ЧТОБ ЕЙ...

Все бормочут.

Судья (*Обвинителю*). Видишь, какой у тебя друг...
Бернард. Я хочу пожаловаться: ваша честь...
Судья. Это очень безнравственно...
Бернард. Я ОБВИНЯЮ... (*Поднимает большой блокнот, вынутый из чемодана.*)
Судья. ...но, какого черта...
Бернард. Я ОБВИНЯЮ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА В... (*Заглядывает в блокнот.*)
Обвинитель. Кролик, я пытаюсь тут *работать*...

Бернард. ...в невоспитанности. (*Щурясь, смотрит в блокнот.*)
Обвинитель. Кро...
Бернард. ...я не закончил... И бесчувственности.
Судья (*Обвинителю*). Если это правда, ты за многое ответишь...
Обвинитель. Ваша честь...
Судья. Пользоваться любовью прекрасного молодого человека...
Бернард. Спасибо, ваша честь...
Судья. И... что? *что* он сделал?..
Бернард. Он сжег СКОВОРОДУ. (*Вынимает сковороду из чемодана. Ставит ее на стол судьи.*)
Судья. ...сковородка отличная...
Бернард. Он погубил *мясо*... Я отчистил ее питьевой содой. Он погубил вечер. И обнажил *принципиальную* пустоту не только *нашей* жизни, но и *моей* жизни... (*Плачет.*)
Судья. ...ну же, поди сюда...
Бернард. Нет, нет, я не заслуживаю теплого отношения.
Судья. ...шшшшшшшшшшшшшшшш.
Бернард. Я ничего не заслуживаю... вот почему... каждый раз...
Судья. Тсс...
Бернард. Кто я? Грелка под одеялом? Арендованное имущество... (*Плачет.*)
Судья. Тсс. Не все так плохо...
Бернард. Каждый раз... разве могу я их выбирать, ваша честь?
Пристав. Вы не должны себя корить.
Судья. Послушай этого человека.
Бернард. Стряпаю, убираюсь, понимаю, когда он слишком устал для Любви.
Судья. Шшш.
Бернард. А кто ухаживает за его матерью? (*Пауза, снова плачет.*)
Защитник. Подождите... я извиняюсь, это что, компашка Педерастов?
Бернард. Почему, почему, *почему* Не Может Быть Мира?..
Защитник. ...они *голубые*? В этом штука?..

Бернард плачет.

Судья. Ну, ну, малыш...
Бернард. ...я хотел всего-навсего стать *семьей*... для какого-нибудь *мужчины*.
Судья. Шшшшш.
Защитник (*ко всем*). Да они же голубые, как не знаю что...

Бернард. ...стираю его одежду... С каждым годом резинка на его трусах всё длиннее. Я *жалуюсь*?..

Защитник (*себе*). Да они просто Пидарасы.

Обвинитель. Возражаю.

Бернард плачет.

Судья. Мне на днях снилось. Чистая страна, не загрязненная отходами. Не потревоженная раздором. Со свободой и состраданием для *всех* граждан. Управляемая людьми доброй воли и с чувством собственного достоинства. Пример Всем Странам. Протянувшая им руку дружбы. И руку помощи в их страданиях: помощи продовольствием, медициной, любовью и пониманием.

Защитник. ...Ваша честь...

Судья. А потом Большой Толстый *Динозавр* пришел и *растоптал* всех в кашу. (*Пауза.*)

Защитник. ...Ваша честь...

Судья. Думаю, он пришел из Японии.

Защитник. Существует...

Судья. *Я думаю*, он достиг таких размеров из-за ядерных испытаний.

Защитник. ...возможность принести Мир на Ближний Восток.

Судья. Но не помню, как этот динозавр вообще там появился.

Обвинитель. Он был ящерицей, прошу прощения, ваша честь, из Зоомагазина.

Судья. ...Что он делал в моем сне?

Обвинитель. Это был не сон, это был фильм.

Защитник. ...Ваша честь.

Судья. Это был *фильм*?

Обвинитель. Да, ваша честь.

Судья. Здесь жарко или только мне?

Защитник. Ваша честь, пока мы говорим, два великих Мировых Лидера, пока мы говорим, заседают на этой исторической конференции. Мы верим, они встретились чистосердечно. Чтобы покончить с раздорами на Ближнем Востоке. Мы разработали план, который, полагаем, если будет представлен им, приведет к этому счастливому результату.

Обвинитель. И какой же это план?

Защитник (*Обвиняемому*). Расскажите им. (*Пауза.*)

Обвиняемый что-то мямлит.

Ваша честь, мой клиент полагает и продемонстрировал мне, как простая коррекция того, что вполне может оказаться пятым поясничным позвонком, может ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ СУБДУРАЛЬНОЙ... мффмфф... ВОССТАНОВИТЬ ПСИХИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ У ЛИДЕРОВ И через них у населения Ближнего Востока.

Обвинитель. Ваша честь, суд рассматривает...

Судья. Я знаю, что суд рассматривает. Ты думаешь, я что, Глухой? Я не глухой. (*Приставу.*) Я не глухой, так? Иначе я себя бы не слышал. (*Себе.*) Мууууу... Мууу... Мууу.

Пристав. Ваша честь, я взял на себя смелость позвать врача...

Судья. Вопрос стоит так: был ли Шекспир евреем?

Обвинитель. Ваша честь?..

Судья. Или он был Нормальным Человеческим Существом? (*Бернарду.*) Ей-богу, ты хорошо пахнешь.

Бернард. Спасибо, ваша честь.

Судья. Зови меня Дэнни.

Бернард. Спасибо, Дэнни, вы Хороший человек.

Судья. Тихо, потому что хочу сказать тебе: ты принесешь Мир на Ближний Восток и будешь вспоминать это как один из Счастливейших Дней Своей Жизни.

Защитник. Ваша честь.

Судья. Был ли Шекспир евреем? Кто первый? Что скажешь?

Обвинитель. Ваша честь, внесение Религии в Суд Общего Права...

Судья. Не говори со мной в таком тоне. Черт. Ты не можешь вести себя вежливо даже с твоим *Бойфрендом...* (*Пауза.*) Что он сделал?

Бернард. Из-за него я сжег жаркое.

Судья. СВИНЬЯ. ТЫ. Являешься сюда со своей... своей высокопарной болтовней о Мире, и все — кто? — львы возлягут с агнцами. *Мудня.* Мудня, так я скажу. Сплошная мудня.

Обвинитель. Ваша честь...

Судья. Потому что сраные *агнцы* уже лежат с агнцами.

Обвинитель. Ваша...

Судья. *Ночью.* Что этот сраный агнец скажет? "Зеваю, зеваю, пора на боковую *со львами*"?

Бернард. Нет.

Судья. Ты прав, мать твою... Они возлягут с агнцами. Дальше...

Обвинитель. Ваша честь...

Судья. С другой стороны *львы.* Они ни за что не возлягут с агнцами. ОНИ ИХ СЪЕДЯТ.

Защитник. Ваша честь, завтра они уезжают. Но сейчас, в эти краткие моменты, представители двух религий и враждующих держав...

Судья. Ты веришь, что эти шмули и эти... кхе...
Пристав. Гордые арабы...
Все. Ммм.
Судья. ...когда-нибудь прекратят свою дурацкую свару?
Обвинитель. На фотографии он не был похож на еврея.
Судья. Фотографии обманчивы. Тебе известно, что Теодор Рузвельт был мулатом?
Защитник. Ваша честь, мой клиент...
Судья. Твой клиент. Да, да. Что он сделал? Чем занимался? Инсайдерскими сделками?
Защитник. Ваша...
Судья. Приставал к малолетним? Мы все здесь друзья...
Защитник. Ваша честь, мой клиент заявил о своей невиновности...
Судья. Да ясно. Понял. Я в курсе. Что ему надо сделать? Ладно, не для протокола, просто для... для... для твоего у...
Обвинитель. Ваша честь, велите ему сказать "Я виноват".
Судья. А, как же. Ну-ка.
Бернард. Кто-нибудь поможет мне найти линзу?
Судья. Что бы он ни натворил, ты привел его сюда, чтобы он сказал "Я виноват"... и тогда мы спасем Ближний Восток. (*Пауза.*)

Обвиняемый и Защитник совещаются.

Защитник. Ваша честь. Мой клиент попросил меня передать Высокому Суду его заявление, состоящее всего из двух проникновенных слов: Я ВИНОВАТ.
Обвинитель. Велите ему сказать вслух.
Судья. Скажи, дружок.

Все перешептываются; Обвиняемый выходит вперед.

Бернард. Думаю, он должен это сказать.
Обвиняемый. Я виноват.
Судья. НЕ СЛЫШУ ТЕБЯ.
Защитник. Громче, пожалуйста.
Обвиняемый. Я виноват.
Судья. Ну, вот и всё, что требовалось А теперь...
Бернард. Я знаю этот голос... Я ЗНАЮ ЭТОТ ГОЛОС... ДЖОРДЖ БЕРНСТАЙН? *ЭТО ТЫ?* ЭТО ТЫ, ПОДЛЕЦ?
Обвиняемый. Я, я...
Бернард. КАК ТЫ СМЕЛ ПРИЙТИ СЮДА И ПОКАЗАТЬСЯ ЛЮДЯМ?
Защитник. Кто такой Джордж Бернстайн?

Бернард. После того как бросил меня париться на Гавайях? Сволочь.

Обвинитель. Кто такой Джордж Бернстайн?

Бернард. И дал мне Фальшивое Имя?

Обвиняемый. Кролик. Кро...

Бернард. Ты не кролькай. Я ТРИ ДНЯ просидел в гостиничном номере, дожидаясь, когда ты вернешься со Льдом.

Обвиняемый. Кролик. Жена моя.

Судья. Кролик?..

Бернард. Питался орехами. Вы *представляете себе*, сколько я поглотил углеводов?

Обвиняемый. Кролик, жена моя... я хотел остаться.

Бернард. "Ах, Кролик, позволь мне свозить тебя на Гавайи..."

Обвинитель. ...свозить тебя на Гавайи...

Судья. Кролик. Я *знаю* это имя...

Обвинитель. АХ ТЫ, МАЛЕНЬКАЯ ПРОСТИТУТКА! ОН ОТВЕЗ ТЕБЯ НА ГАВАЙИ? КОГДА?

Бернард. В прошлом ноябре.

Обвиняемый. Кролик, жена моя позвонила, она...

Обвинитель. Ты сказал мне, что едешь в Атлантик-Сити с Моей Матерью.

Бернард. Ну и что, я соврал, я соврал. С тобой такого не случалось?

Защитник. Ваша честь...

Обвинитель. Где ты с ним познакомился?

Бернард. Это важно?

Обвинитель. Я хочу знать.

Бернард. У прилавочка с кожаными изделиями в "Саксе".

Защитник. Ваша честь...

Бернард. Он покупал ежедневник.

Защитник. Ваша честь, день на исходе...

Обвинитель. Ваша честь, этот ежедневник *у меня*...

Защитник. В оставшиеся считаные минуты мы еще можем принести мир на Ближний...

Обвинитель. Ваша честь, я предъявляю этот ежедневник как улику, которая... Погоди, погоди, погоди. *Погоди.* МОЯ МАТЬ ПОМОГАЛА ТЕБЕ МЕНЯ ОБМАНЫВАТЬ...

Входит Доктор.

Доктор. Извините, что задержался.

Судья. А это еще кто?

Доктор (*Приставу.*) Покажите мне пузырек. Сколько таблеток он принял?

Пристав. Ваша честь, я взял на себя смелость обратиться к терапевту...

Доктор. Извините, что задержался, ваша честь. Я опоздал из-за чрезвычайных мер безопасности в связи с окончанием Мирной Конференции по Ближнему Востоку.

Обвинитель. Ты с моей матерью... *Кролик...*

Судья. "Кролик". Его имя было приклеено к Ходатайству.

Доктор. Дайте, пожалуйста, вашу руку...

Судья. Соком Жаркого в Собственном Соку...

Доктор. Мм. Дайте, пожалуйста, вашу руку. (*Вынимает из сумки шприц.*)

Судья. Сейчас не время задвигаться.

Бернард. Мое имя?..

Судья. В записке говорилось, говорилось... (*Поднимает бумажку.*) Вот. "Я хочу Всего Тебя Облизать. Кролик".

Доктор. Пожалуйста, дайте вашу руку.

Судья. Сейчас не могу, я занят — мы устанавливаем мир на Ближнем Востоке.

Доктор. Как вы это сделаете?

Судья. Мы скрутим им шеи.

Обвиняемый. Это упрощенное, но, по сути, верное...

Доктор. Пациент находится в состоянии медикаментозной психодислептической фуги.

Судья. А тебе, дрянь, какое дело?

Доктор (*Приставу.*) Удерживайте его, пожалуйста.

Обвиняемый. Я не думаю, что ему нужен укол...

Доктор. Что вы сказали?

Обвиняемый. Ему не нужна инъекция.

Доктор. В качестве кого вы это заявляете?

Обвиняемый. Я говорю это как Мануальный Терапевт.

Доктор. Нет, серьезно?..

Обвиняемый. Вам неизвестно, что обострение психического стресса можно снять без медикаментов — как практикуется уже пятнадцать миллионов лет — простым выправлением ротационного подвывиха в поясничном отделе?

Доктор. Уссаться.

Обвиняемый. ЧТО ТЫ СКАЗАЛ?

Доктор. Держите, пожалуйста, пациента...

Обвиняемый. Уссаться???

Доктор. О, это так возмутительно, потому что он не учился на медицинском?.. Держите, пожалуйста, пациента.

Обвиняемый. Что ты сказал???.. Что ты сказал??? Что ты сказал??? (*Переползает через скамью и начинает душить Доктора.*) А это тебе как? Как тебе, а? Нравится тебе?..

Доктор. Ой. Ой ой ой... (*И так далее.*)

Обвиняемый. А это тебе как? Так же приятно, как подмахивать страховым компаниям?

Доктор. Помогите...

Обвиняемый. А? А? И продавать душу за пепельницу?

Доктор. Помогите...

Обвиняемый. ...с логотипом фармацевтической компании?..

Судья. Где мой молоток?

Доктор. Помогите, помогите...

Судья. ...где эта сволочь, молоток?..

Обвиняемый. Этому тебя на медицинском *не учили?* (*Пинает Доктора.*)

Доктор. Помогите...

Обвиняемый. ...когда тебе выдали этот дурацкий белый халат... (*Пауза.*)

Бернард. Подождите сссссссс... (*Обращается к Судье.*) Ваша честь...

Судья. Где мой молоток?..

Обвиняемый. *Рак* вылечи, самодовольный паразит!

Бернард (*ударив по столу сковородой*). Подождите секунду, подождите секунду, подождите! (*Пауза.*)

Судья. Что?

Бернард. В записке сказано: “Я хочу всего тебя облизать. Кролик”?

Судья. Да.

Бернард плачет.

Судья. Что такое?

Бернард. Эту записку... эту записку я написал ему после нашего Первого Свидания. (*Обвинителю.*) Ты сохранил ее?

Обвинитель. Я носил ее с собой. Все время. В кармане.

Бернард. Нет...

Обвинитель (*плачет*). Да...

Бернард. *С тех пор?*

Обвинитель. С тех.

Бернард. Ох, КАК я был неправ...

Обвинитель. Кролик...

Бернард. Ты можешь *простить* меня?

Обвинитель. Кролик, это я *у тебя* должен просить прощения за многое...

Бернард. Нет, нет...

Обвинитель. Если бы я был *внимательнее*...

Бернард. Нет, нет, у тебя своя работа. Теперь я это *вижу*.

Обвинитель. Нет, Кролик. Нет, я потерял чувство *равновесия*.

Бернард. Нет, нет нет нет...

Обвинитель. Которое так важно для всяких длительных отношений. (*Плачет. Они обнимаются.*)

Судья. Видите? Вот, вот для чего я живу. Это моя мечта. Это мечта Молодого Юриста. Не "взятки", да, да, мы "берем" их, но для чего мы живем? Для, для а-а...

Обвинитель. Я хочу начать с чистой страницы, Кролик, и начать снова.

Бернард. ...шшшш шшшш шшшшш...

Обвинитель. Но *не могу* с такой ношей на душе. Бернард, скажи мне, и будешь прощен. (*Обвинитель шепчет Бернарду.*)

Бернард. Я *знал*.

Обвинитель. Что?

Бернард. Я ВСЕ ВРЕМЯ знал...

Пристав. *Что?* (*Пауза.*)

Обвинитель. Ах, Кролик, как мне стать достойным тебя? (*Пауза.*)

Доктор. Я хочу признаться... *Я* хочу признаться...

Обвинитель. Ах, Кролик...

Доктор. Однажды, с пациенткой...

Обвиняемый. *Я* хочу признаться... Я *виноват*... *виноват*, ты слышишь?.. Ваша честь, я виноват в том, в чем обвиняюсь.

Бернард. В чем он обвиняется? (*Пауза.*)

Обвиняемый. Я напал на мозольного оператора. (*Общий ропот.*) И... (*Пауза.*)

Обвинитель. Облегчи душу.

Обвиняемый. И я вступил в сношение с гусем. (*Плачет.*)

Защитник. Я жульничал с подоходным налогом...

Обвинитель. Я не сдавал экзамен на юриста.

Судья. *Я еврей.* (*Пауза.*)

Доктор. Этот человек *в шоке*...

Судья. Я еврей. Мне отец сказал. Он сознался.

Обвинитель. ...ах, ваша честь...

Судья. Он приехал из Польши. Всем сказал, что он шотландец. Он был *евреем*... мой отец был евреем... Я еврей... я еврей... (*Плачет.*)

Обвиняемый. Вы не еврей, если ваша мать не еврейка.

Судья. Что?

Обвиняемый. Вы не еврей, если ваша мать не еврейка.

Судья. Я *не* еврей?..

Обвиняемый. Да.

Судья (*пауза*). Слава Богу. Слава тебе, Боже. Ты существуешь. Есть Бог...

Доктор. Подержите его, пока я делаю инъекцию.

Судья. Есть Бог. Это правда. Люди? Люди? Бог *есть*. (*Приставу.*) Ты слышишь? Бог есть!!! (*Идет и обнимает Пристава.*)

Доктор (*воткнув иголку*). Антидот подействует мгновенно.

Судья. Бог есть. Как нам отплатить за его бесконечные милости?

Защитник. Ваша честь, мы можем принести мир на Ближний Восток.

Пристав. Ваша честь, машина подана. Я позвонил заранее, машина ждет, чтобы доставить нас на Мирную Конференцию.

Все устремляются к двери, кроме Судьи. Они оглядываются на него, он продолжает сидеть.

Пристав. Подождите, он должен сказать: "Заседание закрыто".

Судья. Да, я должен... м-м-м. ... (*Звонит телефон.*)

Все озираются, ищут виноватого, не отключившего звонок. Бернард достает телефон из кармана.

Бернард. Алло?..

Обвиняемый. Если ваша честь скажет только: "В иске отказать"...

Бернард. Я извиняюсь. (*Обвинителю.*) Это твоя мама.

Обвинитель. Мне нечего ей сказать.

Бернард. Она спрашивает, смотришь ли ты Мирную Конференцию по телевизору.

Обвинитель. Скажи ей, я не могу сейчас говорить. Я *работаю.*

Бернард. Мама? Мама? Он работает...

Защитник. Если ваша честь скажет только: "В иске отказать"...

Бернард (*повторяет Обвинителю вопрос матери*). "...Ты слышал, как один там назвал другого, на этой Мирной конференции?" Что? Он обозвал того... *кем*... ПО ТЕЛЕВИЗОРУ?..

Обвиняемый. Что, что он сказал?
Бернард. Могу я повторить это в суде?.. Он *сказал*...

Звук сирен. Все прислушиваются.

Судья. Кто-нибудь выключит чайник?..
Пристав. Ваша честь, это сирены.
Защитник. Лидеры покинули Мирную Конференцию. Они отбыли в гневе.
Обвиняемый. Опоздали, опоздали... Почему, Господи, ну почему мы обречены на вечную вражду?
Защитник. Ну, все шло хорошо, пока вы не убили Христа.

Общее одобрение. Обвиняемый в ярости бросается на Защитника.

Судья. Положа руку на сердце, он прав. Но это вопрос для будущего заседания. (*Поднимает молоток.*) В иске отказ...
Пристав. Один момент. (*Обняв одной рукой Судью.*) Да, может, мы и провели отпуск на Ибице, *но не на голубой* половине острова...
Все. Ой, *пожалуйста*...
Судья (*смотрит на Пристава, тот кивает. Судья ударяет молотком*). В иске отказать.

Конец

Хелле Хелле

Примеры из жизни

Рассказы

Перевод с датского и вступление Натальи Кларк

Хелле Хелле — одна из любимейших писательниц современной Дании, лауреат множества литературных премий. Ее новеллы и короткие рассказы переведены на пятнадцать языков мира.

"Примеры из жизни" (1993) — литературный дебют Хелле Хелле. Книга представляет собой сборник коротких прозаических текстов, которые на первый взгляд описывают совершенно банальную жизнь обычных людей. Однако читая эти лаконичные новеллы, ощущаешь, будто наряду с житейскими историями перед глазами читающего разворачиваются истории психических болезней и ментальных расстройств — настолько неадекватными и интровертированными выглядят персонажи книги.

"Примеры из жизни" похожи на обрывки сновидений, а сюрреалистичный стиль произведения сильно напоминает бунюэлевские фильмы. Чтобы понять заложенный в них иронический смысл, эти истории-загадки требуют внимательного прочтения. Необходимо также некоторое усилие и для того, чтобы привыкнуть к минималистическому, примитивному стилю изложения всех этих историй, при написании которых писательница использует нарочито емкие, рубленные фразы и едва уловимый, типично датский юмор с горчинкой.

Сюжет книги — это калейдоскоп историй и мелких житейских ситуаций, описывающих жизнь главной героини Марианны и всех тех, кто про-

© Helle Helle
© Наталья Кларк. Перевод, вступление, 2016

живает с ней по соседству и "в двух кварталах отсюда". Персонажи находятся в некоторой связи между собой, но в то же время каждый из них обособлен в своем изолированном мирке, старается найти в окружающем пространстве хоть какие-то следы живой жизни. Все эти люди пребывают как бы в поиске особых знаков судьбы и пытаются придать хоть какой-нибудь смысл своему существованию.

Любые, даже самые незначительные поступки показаны словно через увеличительное стекло мыслей, фобий и комплексов персонажей. Перед читателем проходит картина внутреннего мира пугливого, задавленного "маленького человека", пытающегося отстоять собственное "я" в холодном рациональном обществе, которое ставит во главу угла соблюдение бесконечного числа правил, предписаний и ограничений, но вместе с тем фрагментирует человеческую личность. Как Диоген со своим фонарем, эти люди бредут по жизни с мысленным криком: "Ищу человека", но окружающее их мертвое безмолвие только усиливает их одиночество и самопогруженность. Безэмоциональность, гипер-рационализм и мировосприятие персонажей вызывает некоторые сомнения в их психической полноценности. Однако, несмотря на свою гротескность и неадекватность, эти люди появились на страницах книги не случайно. Пытаясь понять себя и достучаться друг до друга в одиноком мире, персонажи книги тоже хотят быть услышаны, хотят удостовериться в том, что они еще живы.

В сборнике можно проследить три повторяющиеся сюжетные линии. Первая — это наиболее часто появляющийся рассказ о замкнутой и немного печальной девушке Марианне, ее суждениях, видениях и впечатлениях детства. С первых страниц книги она ищет себя и собственный язык для самовыражения, что символически показано в виде приступа буквенной рвоты. Писательница предоставляет читателю самому трактовать значение поступков и мыслей героини, хотя, возможно, некоторые могут узнать собственные странности в интровертном поведении этой героини и не сочтут ее поведение слишком уж странным.

Некоторые главы книги посвящены и другим людям, проживающим с Марианной в одном городе. Короткими, четкими штрихами Хелле Хелле пишет их одинокие портреты и делает зарисовки их несколько механической личной жизни. Все персонажи соединены между собой исключительно по географическому признаку, многие главы начинаются со вступительных слов: "в двух улицах отсюда", "в квартире по соседству", за которыми следуют фрагменты несколько анекдотических и одновременно трагических личных историй с экзистенциальной подоплекой.

И наконец, третья сюжетная линия состоит из лирико-философских авторских отступлений, рассуждений на тему возраста, семьи, смысла имен. Эта часть книги немного напоминает игру в бисер, как будто писательница раскладывает шарады из нужных слов, чтобы с их помощью описать некоторые, довольно обыденные, явления, но описать так, что их отражения появляются как бы в кривом зеркале. Многие слова намеренно повторяются по многу раз и перекочевывают из одной истории в другую,

а вроде бы несоотносимые между собой сюжеты причудливо переплетаются.

Маленькие экзистенциальные шедевры Хелле Хелле, хотя и в иронической форме, но довольно ярко отражают менталитет, привычки и уклад жизни современных датчан. Именно поэтому они пользуются большой популярностью у себя на родине, где самоирония является одной из главных отличительных черт характера местного населения.

* * *

В двух кварталах отсюда просыпается Марианна от ужасной боли в животе.

Она садится на кровати и сбрасывает одеяло. Ей кажется, что внутри, в самом центре ее тела, что-то шевелится, как будто там сидит огромный зверь и дышит ее диафрагмой.

Поднявшись с кровати, она пытается припомнить, что было на ужин. Может быть, она съела что-то испорченное или в пищу попал яд? Никак не может вспомнить, что вчера пила. Силясь успокоить движения зверя, Марианна сдавливает обеими руками живот.

Первый приступ рвоты извергает из желудка и бросает ей прямо под ноги нечто с запахом мокрых волос. Нет, никакой это не зверь. Марианна снова блюёт. Выскакивает буква. Вначале она думает, что это Å, однако, приглядевшись, она видит, что это Å. Вслед за ней из глотки вылетает K, после которой рвота усиливается, изливая целые потоки букв: O, T, J, P. Иногда они повторяются, их уже больше 28, в четыре раза больше, чем в датском алфавите. С каждой новой буквой боль в животе понемногу стихает, и вот остается только резь в районе пупка, которая тут же исчезает вслед за выскочившей R.

Нужно бы взять в руки ведро и тряпку, но она слишком устала. А еще она не знает, как следует обращаться со всем этим алфавитом, стоит ли его, например, отжать или сбрызнуть спреем? Глядя на плоды своего труда, Марианна ощущает прилив гордости. Все еще потная, она натягивает на себя одеяло и пытается прийти в себя.

Она просто счастлива, что не отравилась морепродуктами и не подхватила инфекцию, которая могла случайно завестись в холодильнике, а затем через пищу проникнуть в организм. И вот сейчас она просто тихо лежит и раскладывает на полу буквы, ее правая рука свешивается с края кровати и трогает O указательным пальцем.

Чтобы снова запустить кишечник, Марианна встает с кровати и съедает яблоко.

* * *

В двух кварталах отсюда старушка закапывает в саду, в промерзлую землю, свои водительские права.

Из приличия сверху она кладет букетик цветов. Так воспитала ее мать, которая и дала ей это имя: Гюритте. Когда ей исполнилось три года, Гюритте научилась говорить. А когда ей исполнилось 74, она с неслыханным упорством стала настаивать, чтобы все ее звали Брёндкарсе[1].

Но сегодня она вдруг поняла, что ей в принципе уже все равно.

Ведь в конце концов она умрет позже всех, и в полном забвении. Кто поставит ей памятник? Кто высечет ее имя на камне, или из чего они там делают нынче могильные плиты?

Сделать это будет некому, ведь она последняя, кто остался в живых. Но если бы даже они и вернулись оттуда, то это ничего не меняет, ведь ни один из них даже не знал ее настоящего имени.

И это пройдет. Жизнь ее мучила и будет продолжать мучить. Она уйдет последней.

Так думает Гюритте, плотно притоптывая ногами землю.

Тяжкая была ночь.

А впереди грядут ночи еще более тяжкие.

* * *

В двух кварталах отсюда мужчина повесил на стену картину.

На картине — два лебедя, их шеи переплелись между собой, вероятно, в результате несчастного случая. Солнце движется к закату, и мужчине вполне понятна их паника. Удастся ли им расцепить шеи в темноте? А если вдруг ночью появится браконьер, то как они смогут от него сбежать?

Мужчина поправляет картину и берет в руки ружье. В стене появляется дырка, пробитая твердым предметом.

* * *

В соседней квартире стоит молодой человек. Он держит в руке пистолет, дуло направлено в висок. Он уверен, что выстрелить пока не успел.

1. Brøndkarse — настурция. (*Прим. перев.*)

Ступни отчетливо прощупывают щель между досками в деревянном полу. В правой руке зажат холодный металлический предмет, во рту запах не крови, но слов.

— Ну давай же, — говорит он себе, — и его рука безвольно падает вдоль тела.

— Возможно, ущерб вашей стене нанес именно я, — гордо произносит сосед.

Соседскую пулю позже нашли в нагрудном кармане кожаной куртки, висевшей в шкафу.

Об этом вдруг заговорили, притворяясь, как будто кому-то есть дело до всей этой истории.

* * *

А в кухне неподалеку девочка собирается налить себе стакан молока.

— Не бери все, оставь мне немного, — кричит ей сестра из гостиной. — Чем я, по-твоему, буду разбавлять кофе?

— Да нет же, — кричит ей в ответ девочка, ставя на стол пакет с молоком. — Здесь уже почти ничего не осталось.

У девочки есть три вещи: стакан молока, ужасная жажда и сестра, которая не может ни дня прожить без кофе с молоком по утрам.

Девочка садится за стол и смотрит на молоко. Налив в стакан воду из-под крана, она ее выпивает и снова продолжает смотреть на молоко. Затем выливает все молоко в раковину, смывает его водой и смотрит на пустой стакан. Сполоснув стакан, она направляется к себе в комнату.

Девочка ложится на кровать и засовывает себе в рот пятерню. Она точно знает, что если она ее оттуда вытащит, то тут же расплачется. Ей тоскливо думать о том, что все люди на земле умрут, но от этих мыслей отделаться нелегко. Пальцы пахнут мылом.

А на другом конце коридора ее сестра в гостиной пробует выключать свет с помощью силы мысли, но свет все равно продолжает гореть. И здесь уже больше ничего не происходит.

* * *

МАРИАННА замечает, что в гостиной творится что-то необычное.

В полу рядом с обеденным столом она замечает дыру радиусом в 14 сантиметров. Она бросает в нее булыжник, отверстие расширяется до четырех метров и оттуда доносится слабый шум воды.

Марианна накрывает дыру томом Большой энциклопедии. Она ненавидит воду. Книга классическая. Теперь все надежно.

В следующий раз, когда ей нечем будет заняться, она всегда сможет полистать Большую энциклопедию.

* * *

— ДОБРО пожаловать в наш клуб, — говорит герр Франк своим четырем сестрам в двух кварталах отсюда.

— В какой еще клуб? — спрашивает Дороти Франк.

— В клуб бездетных холостяков нашей семьи, которые решили отпраздновать вместе Рождество, — отвечает герр Франк и зажигает свечу.

— Вышеназванного клуба не существует, — отвечает Вилли Франк, сплевывая на пальцы.

— Мы решили праздновать Рождество без тебя, — говорит Эрлинг Франк, трогая пальцами стену.

— От тебя одни неприятности, — говорит Бенедикте Франк, отмахиваясь от дыма.

— Какая жалость! — говорит герр Франк. — Какая жалость!

Имена, или Что они называют

ТАК же как и люди, которые распознаются по именам, все предметы, чувства и места имеют свои собственные обозначения. Имя — это способ выделить единицу из множества.

Выбор имени может определяться такими атрибутами, как ум, характер или цвет глаз определенного человека. Однако, несмотря на это, многие люди все же предпочитают называться одинаковыми именами.

Как бы фиксируясь в одной точке, имя сохраняется за человеком на протяжении большей части его жизни.

Никто ведь не будет спорить и доказывать, что он так и остался в теле младенца, десятилетнего ребенка или в любом другом возрасте. Тело меняется и долгое время потом еще тревожит человека воспоминаниями о своем прежнем виде. Выражения лиц тоже меняются в зависимости от количества полученных в жизни удовольствий и времени, уделенному сну; животы могут обвисать или втягиваться, а кожа — складываться в причудливые узоры.

И хотя тело продолжает называться по-старому и откликаться на свое прежнее имя (ведь оно уж точно знает, как его

зовут), каждый раз мы имеем дело уже с новым телом. И это очень важно понимать.

Остается только имя — единственная вещь, которая может заставить тело поверить, что оно никуда не исчезло и его не заменили на новое.

Но существуют тела, которые никак не хотят признавать некоторые виды имен, что часто проявляется в симптомах подавленного гнева, смотри далее главу “Возраст”.

* * *

КОГДА Марианне не было еще десяти лет, она часто представляла себе, как будто кто-то, поставив камеру на передвижную тележку, повсюду следует за ней, чтобы снимать документальный фильм о ее школьной жизни, который когда-нибудь выйдет под названием “Один день из жизни Марианны”. Вот она стоит и дает интервью на фоне своей фотографии в окружении двадцати семи одноклассников, рассказывает о своей домашней работе, о проблемах в изучении иностранных языков, демонстрирует содержимое своего пенала.

Марианна выходит на тротуар и пересекает улицу под прямым углом, оставляя позади себя операторскую тележку.

Как-то раз к ней в гости пришла подруга, которая жила в многоэтажке в конце улицы, и завела разговор о роли внешних данных в отношениях между полами.

— Мы с тобой самые обыкновенные, — сказала подруга. — Но у нас обеих красивые головы.

В тот же вечер, стоя перед зеркалом, Мариана пыталась изобразить умный вид. А на следующий день ей исполнилось десять лет.

* * *

—ЭТО было в то самое лето, когда черные вороны кружили над городом и выклевывали глаза у всех прохожих, — говорит Дороти Франк. — Я сидела на берегу моря и ела морские камешки. Ты проходил мимо и спросил, чем я занимаюсь, и я тебе рассказала все, как было: я ем морские камешки. Ты спросил, а известно ли мне, что это может вызвать катастрофу в желудке. Я спросила тебя, что ты имеешь в виду. Ты объяснил, что катастрофа наступает в тот момент, когда желудок от камней делается таким тяжелым, что после этого человек запросто может упасть в тра-

ву и больше никогда не подняться. И тут прямо перед нами приземлилась черная ворона.

– Мы побежали вместе с тобой к дому, – сказала Эрлинг Франк. – Я не оборачивалась, потому что думала, что черные вороны подобны змеям: если им пристально посмотреть в глаза, то они тут же начнут атаковать. Мы вбежали в дом, пронеслись через гостиную и очутились в спальне. В кармане у тебя были ключи от шкафа, и ты меня в нем запер; и вот я растворилась в темноте между четырнадцатью парами фланелевых брюк, юбок и одной замшевой курткой.

– Моим глазам потребовалось всего несколько минут, чтобы привыкнуть к темноте, – сказала Вилли Франк. – Так всегда бывает со зрачками, ведь они имеют свойство расширяться и сужаться.

– Когда страх немного прошел, я начала прыгать внутри шкафа вверх-вниз, – сказала Бенедикте Франк. – Мне показалось, что мое тело начинает тяжелеть, но все же я была уверена, что в любой момент смогу отсюда сбежать. И вот, наконец, я решила покинуть шкаф.

– Но ты его заперла, – сказала Дороти Франк, – и ничего не отвечала, когда я тебя позвала. Я кричала все громче, понимая, что все бесполезно: снаружи не раздавалось ни звука, и на тебя это было совсем непохоже, ведь ты никогда не могла себя тихо вести.

– Сколько времени, по-твоему, человек может терпеть жажду и сдерживать слезы? – спросила Вилли Франк.

– К счастью, довольно долго, – сказала Эрлинг Франк. – Но, разумеется, тело, в которое не поступает жидкость в течение длительного времени, неминуемо начинает испытывать определенные трудности при подъеме.

– Семь недель – это долго, – сказала Бенедикте Франк. – Несмотря на то, что каждому человеку нужна свобода, тебе все-таки не следовало тогда уходить после обеда на море.

– А тебе когда-нибудь доводилось питаться замшей? – спросила Вилли Франк. – Есть замшу и ожидать, когда наступит конец, чувствуя, как твое тело постепенно ослабевает, и ты уже больше не в состоянии царапать ногтями замок?

– Скорость вырастания одного ногтя составляет приблизительно один миллиметр в день, – промолвила Дороти Франк. – Известно ли тебе, насколько это медленный процесс?

– Каждый раз, когда мои ногти стирались до мяса, я должна была ждать, пока они немного подрастут, чтобы опять начинать все заново, – сказала Эрлинг Франк. – Но когда ногти подрастали, то у меня уже не было сил.

– Так прошло семь недель, сказала Бенедикте Франк. – Наконец, мне удалось продолбить замок, и он выпал с другой стороны шкафа. Когда дверь внезапно открылась и свет ударил мне в глаза, я закричала. Чтобы к нему привыкнуть, мне пришлось закрыть лицо руками, а потом медленно раздвигать пальцы. И вот, наконец, я увидела комнату.

– Черная ворона сидела там, на полу, – сказала Эрлинг Франк.

– И глядела прямо на меня, – сказала Дороти Франк.

* * *

– Из уродливого ребенка все же может вырасти красивый взрослый, – однажды сказала мать Марианны, а Марианна потом пошла и передала ее слова всем своим подругам, у которых были длинные волосы и голубые глаза.

С тех самых пор она играла на заднем дворе в полном одиночестве. Вот так она и начала культивировать свое одиночество, но, когда ей становилось совсем скучно, она удалялась в свою комнату и доставала кассетный магнитофон. Задавая самой себе вопросы, Марианна записывала их на пленку, оставляя паузы, чтобы успеть произнести ответы. Самым любимым ее занятием было найти старую кассету, где были записаны вопросы, которые она уже успела позабыть.

Марианна до сих пор любит всякие неожиданности, например, натолкнуться на старые записки, которые она сама себе когда-то писала. Всегда интересно съесть что-то новенькое, чего ты никогда раньше не пробовала на вкус.

* * *

– В общем, праздную Рождество без нас, – сказала Бенедикте Франк и надела пальто.

– Найди себе другую компанию, – сказала Вилли Франк и застегнула пальто.

– Мы тебе приготовили подарок, – сказала Эрлинг Франк.

– Он находится внутри шкафа, – сказала Дороти и захлопнула дверь.

О *возрасте, или Сколько вам лет*

ВЫ никак не можете контролировать свой возраст, потому что он всегда увеличивается. Но все же, несмотря на это, некоторые люди, впадая в беспамятство, вдруг начинают считать себя моложе своих лет. Однако краткое обследование зубов и проверка прочности костей помогает безошибочно выявить их настоящий возраст, который, впрочем, даже на момент проверки не всегда соответствует действительности, потому что постоянно растет.

Нетерпимость общества к неточным ответам на вопрос о возрасте служит причиной развития беспомощности и стойкого чувства вины, которое несчастные нередко компенсируют, публично признаваясь, что они неудачники или, например, плохие танцоры.

Время встречи двух репродуктивных клеток, которое может произойти в любом месте: в темной комнате, на лугу, в авто или на официальном мероприятии, определяет время зачатия и возраст человека, которые выделяют его из остального мира. Таким образом, получается, что возраст человека указывает на точную дату совершения полового акта. Появление каждого отдельно взятого индивидуума также свидетельствует о наличии двух других, хотя некоторые почему-то отказываются признавать данный факт.

Некоторые недовольны своим возрастом и желают его изменить, хотя и догадываются, что это совершенно невозможно. Поэтому все, что им остается, — это копить устойчивое недовольство теми, кто сократил расстояние между своими телами слишком рано, слишком поздно или совсем уж в неподходящее время.

Именно поэтому многие из этих людей злятся на самих себя и совершенно не могут от этой злости избавиться.

* * *

ПРИСТРОИВШИСЬ под кухонным столом, Марианна красит ногти.

Когда ей было восемь лет, она пробовала отрастить длинные волосы, чтобы закрывать ими лицо каждый раз, когда к ней будут обращаться с вопросами. В доме она нашла тряпку для мытья посуды и, покрыв ею голову, тренировалась, сидя у себя комнате: когда время от времени открывалась дверь, Марианна отвечала первое, что приходило ей в голову.

Спустя время она приучилась даже ходить в таком виде, только изредка кивая или качая головой. Но когда тряпка нечаянно спадала с головы, то Марианна не была способна произнести ни слова. К счастью, к тому времени ее волосы уже значительно подросли, да и сама она порядком повзрослела.

* * *

В двух кварталах отсюда родители смотрят на свою дочь. Ах, сколько же в ней талантов, разве что один небольшой изъян во внешности. Чтобы успешно сдать устный экзамен, ей пришлось придерживаться особой диеты, ежедневно употребляя по 150 граммов белка в день. К своей диете она добавила одну жевательную резинку без сахара.

В результате дочь без малейших проблем смогла надеть наручные часы в четырнадцать карат, приобретенные для нее родителями у местного ювелира. И вот теперь она их надевает в гостиной ровно в 12:03.

* * *

В двух кварталах отсюда, сидя в своей квартире, плачет мужчина. Буря утихла, и он глядит на часы.

Он подсчитывает количество слез, пролитых в минуту, и умножает их на количество минут. Затем прибавляет к этой сумме количество слез, которые он собирается пролить. Наконец, он перестает плакать.

Он глядит на часы.

— Какие старые часы, — говорит он себе, — они показывают неправильное время. — Он хочет заново пересчитать все секунды и исправить полученную сумму. — Одна. Две. Три.

Стрелки часов передвинулись вперед на четыре секунды. Он делит минуту на четыре секунды. Затем делит минуту на три секунды. Он подсчитывает разницу и вычитает ее из проплаканного количества минут.

Теперь он уже забыл количество слез, пролитых в минуту, и снова начинает плакать.

Буря утихла, и он глядит на часы.

* * *

В двух кварталах отсюда, на перекрестке, гражданка в машине замышляет правонарушение. Она хочет пересечь улицу на красный свет, но по старой привыч-

ке смотрит сначала налево, потом направо, а потом опять налево. Поблизости никого.

Светофор зажигается зеленым. Светофор зажигается красным. Фара сигналит левый поворот. Светофор меняет цвет еще два раза, и тут на дороге появляется голубая "мазда". Она приближается настолько близко, что ее водитель уже никак не может не заметить совершаемое гражданкой правонарушение. Гражданка собирается выехать на перекресток. Голубая "мазда" все приближается. За рулем сидит мать гражданки, она едет в город.

Уставившись на красный шарф матери, гражданка не двигается с места. Мать сигналит и, не сбавляя ход, пересекает перекресток, направляясь к центру.

"Мазда" удаляется, но гражданка, замерев в ожидании, так и продолжает стоять на месте. Когда, наконец, она пересекает перекресток, ее правонарушение так и остается никем не замеченным.

* * *

МАРИАННА едет в автобусе и вдруг замечает, что она здесь единственная без очков. Все тридцать четыре пассажира, уставившись на Марианну, качают головами. Марианна смотрит в окно. Все прохожие на улице тоже в очках и, дружно повернув головы, начинают ее разглядывать. Марианна переносит взгляд на зеркало заднего вида и замечает, что водитель тоже глядит на нее сквозь красные стекла своих очков.

Марианна бросает взгляд на сумку и замечает там записку. Развернув ее, она читает:

Кэмпинг для 14-летних: спецпредложение
Полиэтиленовый пакет (опасного содержания)
Губная помада для камуфляжа для приглашенных на ужин
"У каждого есть собака"
Скакалка
Понедельник
Плюйте через почтовый ящик (не заморачивайтесь по поводу кокосовых орехов)
Электрический стул: глаза – первое, что вылезает наружу.

Марианна кладет записку обратно в сумку и оглядывается. Все тридцать четыре пассажира смотрят в окно. Все прохожие на улице, повернувшись к ней спиной, разглядывают витрины магазинов. Марианна глядит на водителя, но он гля-

дит на дорогу через лобовое стекло автобуса. Марианна глядит на свои руки. Ей хочется закрыть ими лицо, чтобы неожиданно перенестись отсюда в большой супермаркет или в какое-нибудь другое место, но по вполне понятной причине этого не происходит. Автобус движется дальше.

* * *

В двух кварталах отсюда перед супермакетом стоит слепой.

Рядом с ним стоит его сестра, держа в каждой руке по полиэтиленовому пакету. Сестра старше его на несколько лет и служит ему поводырем.

Каждый день она ходит с ним вместе по магазинам и наполняет его корзинку покупками. Она помогает ему расплачиваться в кассе. Она открывает перед ним двери.

А в настоящий момент они оба стоят на тротуаре. Он протягивает к ней руку. Он интересуется, хорошая ли сегодня погода.

– Вполне вероятно, – отвечает она. – Небо на востоке выглядит, как подбитый глаз, если бы он был голубого цвета.

* * *

ВЛАДЕЛЕЦ киоска в центре города обслуживает покупателя.

– 20 сигарет, – говорит покупатель и кладет деньги на прилавок.

Владелец выкладывает 50 сигарет.

– Мне нужно только 20, – говорит покупатель, но владелец добавляет еще 50.

Покупатель распределяет сигареты на две кучки, 20 штук в одной и 80 во второй.

– Маленькая – мне, большая – вам, – говорит покупатель и сует в карман 20 сигарет.

– Все понятно, – говорит владелец, – ну а мне с этого что?

– Пробейте на кассовом аппарате, – отвечает покупатель, и владелец пробивает чек на 111 крон.

– Дороговато, – говорит владелец и выплачивает покупателю точную сумму.

– Это уж точно, – отвечает покупатель и выходит из магазина.

* * *

В двух кварталах отсюда люди разводятся.

Мужчина распиливает пианино на две равные части и случайно ранит себя пилой, короткий порез остается на предплечье.

Он делает себе перевязку из вчерашней газеты и репетирует предназначенную для жены прощальную речь. Посреди предложения, начинающегося со слов “В те времена, когда ты еще носила голубую соломенную шляпку”, его взгляд падает на фотографию в газете, на которой изображен остров Борнхольм. Ему вдруг нестерпимо хочется на Борнхольм. И он не может понять почему. Возможно, из-за их местного диалекта и задумчивых глаз.

* * *

В двух кварталах отсюда девушка прибирается в квартире.

Она сбрасывает вещи со столов и упаковывает их в мешки. Она выносит мешки на улицу и подмигивает соседу. Вся потная, она поднимается по лестнице, вытирая лицо тряпкой для пыли. Она надраивает полки, дезинфецирует полы спиртом и, освободив диванные ящики от ненужного хлама, выбрасывает его из окна. Закрывая окно, она разбивает стекло, после чего в доме начинается сквозняк. Она снимает картины, моет стены и вытаскивает из них гвозди.

Теперь остается только мебель.

* * *

А в квартире по соседству женщина записывает свои воспоминания.

В детстве она любила притворяться умственно отсталой.

Гуляя по главной улице под ручку с отцом, она умела вызывать эмоции прохожих, намеренно пуская слюни и вращая в разных направлениях глазами. Из любви к отцу она стремилась к тому, чтобы все прохожие восхищались им за то, что, имея ребенка-инвалида, он совершенно не жалуется. Но отец так до сих пор и не имеет обо всем этом ни малейшего понятия.

А сегодня она трудится.

* * *

В двух улицах отсюда отец садится обедать.

Как-то раз, когда ему было шесть лет, у него в зубах застряла канцелярская кнопка, которую кто-то засунул в пирог с корицей.

Это событие научило его более тщательно пережевывать пищу. Каждый раз, когда он проглатывает очередной кусочек, в воздухе слышится стук вилки о тарелку. В недожаренном ростбифе он обнаруживает идеально симметричную свинцовую дробь.

– Это уже тенденция, – говорит он жене.

Слова, или Что они выражают

ЕСЛИ собрать вместе все слова, которые только существуют в мире, то их можно сравнить с немыми облаками, невидимо парящими над каждым человеком. Слова имеют способность превращаться в звуки.

Как только человек, стоящий под облаком, протягивает к нему руку, слово тут же превращается в звук. Схватив слово, человек кладет его в рот и выплевывает.

Словарные облака бывают разные, и у каждого человека есть свое собственное, это что-то наподобие отпечатков пальцев или личной подписи. Некоторые слова являются врожденными, некоторые – приобретенными, и эти последние складываются в особые облака в зависимости от умственного развития конкретного человека. Словарные облака состоят из косточки и воздушной оболочки. Большинство косточек похожи друг на друга. Некоторые слова, такие, как “солнце”, “ночь”, “вода”, строго зафиксированы и регулярно повторяемы. Оболочки гораздо больше отличаются друг от друга и целиком зависят от характера данного человека. Иногда в них попадаются такие слова, как “бесстрастный”, “миллиметровка” и “спорадически”.

Есть люди, которые употребляют словарные облака с большой тщательностью и придают им разнообразные формы. Они также постоянно производят множество языковых изобретений и строят неслыханные по своей сложности предложения. Другие же в основном используют только косточки, и в данной группе часто встречаются такие варианты слов, как “я”, “ты” и “блевать”. Именно в последней группе можно найти крайне немногословных типов, некоторые из которых, например, даже до конца своих дней так и не сумели произнести слово “любовь”, как бы при этом сильно ни любили, ни страдали и ни тосковали.

Люди с большим словарным запасом привыкли считать, что молчаливые типы менее одарены и вообще лишены всяческих чувств.

Это совершенно не так. Просто такой человек все усваивает гораздо медленнее и не успевает вовремя извлечь нужную фразу, в то время как другой заплевывает его словами.

А еще существуют обыкновенные словесные обжоры.

* * *

САМЫЙ большой кошмар, который может только представить себе Марианна, — это перепутать письма. Поэтому каждый раз, заклеивая конверты, она обязательно должна все тщательно проверить и убедиться, что имя адресата на конверте соответствует имени на первой строчке письма. Но даже несмотря на это, каждый раз собираясь отправить письма, перед выходом из дома Марианна заново открывает все конверты. Уже стоя в прихожей, она их то открывает, то закрывает, а затем снова открывает — и так до тех пор, пока они становятся настолько засаленными, что их невозможно больше никуда отсылать.

В квартире Марианны лежит целая стопка неотправленных писем, и они ей напоминают о записках, которые она сама себе пишет с тех самых пор, когда впервые научилась писать. "Не забудь о том, что ты рассердилась!" — можно прочитать в одной из таких записок, которую в одно прекрасное утро она неожиданно для себя прочтет.

— Это что еще такое? — спросит она свою мать, которая в тот момент стоит и укладывает в стопку кухонные полотенца.

— Наверное, это ты сама себе написала, — ответит мать, а Марианна скомкает в руке записку и снова рассердится. А бывает, что она ни с того ни с сего возьмет да и позабудет как зовут собственную мать, хотя, впрочем, она никогда этим вопросом особо не интересовалась.

* * *

— Я веду себя неприлично, — говорит сам себе Понтус Андерсен, сидя на диване среди двенадцати коробок с шоколадными конфетами, в двух кварталах оттуда.

— Я виду себя неприлично потому, что пытаюсь заполнить пустоту своей жизни, отмечая в блокноте бесконечные даты рождений, свадеб и болезней своих знакомых. Ни разу не забыл я ни одну из них, и все это особенно неприлично, оттого что я прекрасно понимаю свои мотивы. Но и это меня не останавливает.

— Как жалок этот Понтус Андерсен, — говорит муж жене, балансируя на ступенях лестницы с двухкилограммовой коробкой в руках, в двух кварталах оттуда.

— Когда вы с ним в последний раз встречались? Где вы познакомились? Откуда он берет деньги? Почему ты от него сразу не сбежала куда глаза глядят? Может, тебе стоит поменять свое имя? Пусть оно теперь начинается с буквы К, например, Куриная Задница или Круглая Дура, ведь у тебя это на лбу написано.

— Мы не виделись с ним с 4-го класса, — отвечает жена.

— Кто такой этот Понтус Андерсен? — кричит мать своему сыну-иждивенцу, лежащему в кровати с двухдневной простудой.

— Не знаю такого, — отвечает сын, поедая восьмую шоколадную конфету из коробки.

— Может, это портье? — кричит отец из гостиной.

— А может он из банка? — спрашивает новобрачная своего супруга в квартире этажом ниже.

— Не напоминай мне об этом, — отвечает муж. — Ты ведь знаешь, я уже несколько лет там не появлялся. Да, вся эта история началась с того, что всякий раз, приходя в банк за своей зарплатой, я вдруг испытывал какой-то дискомфорт со зрением. Вначале я связал данную проблему с тем, что помещение плохо проветривается, ведь общеизвестно, что сухой воздух может вызвать раздражение радужной оболочки. Но по мере нарастания свиста в правом ухе я стал понемногу догадываться, что мои физические страдания происходят от разглядывания всех этих людей, которые заняты исключительно своими денежными делами.

С каждым днем мне становилось все хуже: когда я входил в здание банка, у меня начинало двоиться в глазах и приходилось щуриться; звуки сжимались в высокие тона и давили на уши, производя в них звон. Чтобы немного отдохнуть, я взял за правило присаживаться в кожаное кресло неподалеку от обменного пункта.

Вскоре все в банке к этому привыкли, посчитав, что у меня больное сердце. А поскольку у меня была репутация хорошего клиента, то ко мне проявили дружелюбие и для моего удобства рядом с кожаным креслом поставили небольшой кофейный столик.

Я все чаще стал появляться на моем новом месте, приходил туда по нескольку раз в неделю просто для того, чтобы посидеть. Сначала мне на столик поставили цветочный горшок, а на диван положили подушку, на которой никому, кроме меня, не позволялось сидеть. Затем в моем новом уголке

установили телевизор, провели телефон и стали регулярно приносить кофе с кусочком пирога. Почувствовав себя дорогим гостем, я полностью позабыл про все свои страдания, испытанные мною ранее каждый раз, когда я приходил в банк.

Так прошло несколько месяцев, но вот однажды у меня на столе зазвонил телефон. Спрашивали не меня, а директора, и я поднялся со своего места, чтобы его позвать. Директор в то время обедал, но по зову явился и занял мое кресло. У них по телефону завязался разговор, и все то время, пока он сидел в моем кресле, я в беспокойстве ходил кругами по банку. Это продолжалось до тех пор, пока я вдруг не почувствовал, что зрение опять начинает отказывать и мне нужно срочно присесть.

Я обратился к секретарше и рассказал ей о своей проблеме, но ее ответ неожиданно прозвучал, как свист в моем правом ухе. "Би-и-и-и, б-и-и-и, – сказала она, продолжая стучать на своей пишущей машинке, – би-и-и-и". Полуслепой, я подошел к директору, однако краем глаза мне все же удалось разглядеть, как он, повесив трубку, подцепил с моей тарелки кусок пирога.

– Ошиблись номером, – сказал он.

– Ошиблись номером? – переспросил я. – Да как же вы смели просидеть здесь так долго?

– Прошло всего пять минут, – сказал директор, кладя в рот очередной кусок пирога.

– Четыре минуты, – уточнил я. – Вы вообще отдаете себе отчет в том, насколько долго могут тянуться четыре минуты для человека, страдающего потерей зрения, который к тому же скоро совсем оглохнет? Запомните, что сегодня вы потеряли клиента.

И я вышел из банка с гордо поднятой головой.

И после этого я там больше уже не появляюсь никогда, никогда!

Новобрачная сидит на диване, медленно пережевывая плитку шоколада.

* * *

В двух кварталах отсюда, стоя у морозильной камеры, гражданка замышляет правонарушение.

– Пожалуйста, ваше имя и домашний адрес, – обращается к ней Понтус Андерсен, доставая оттуда пакет с замороженным лососем.

– Я не сделала ничего плохого, – шепчет гражданка, пряча руки за спину.

— Назовите дату своего рождения, — говорит он и что-то отмечает у себя в блокноте.

* * *

МАРИАННЕ никогда не удавалось быть самой собой — так ей, по крайней мере, сегодня кажется.

Это не совсем нормально, когда человек при первом стуке в дверь бросается к холодильнику, чтобы упрятать туда блюдо с картошкой, политой соусом.

Также не совсем нормально подсовывать продавцу в магазине записку со словами: 2 ЛИТРА МОЛОКА.

Но сегодня Марианна, наконец, знает кто она такая, однако она понятия не имеет, кого ей себе представить. Она также не знает, что должна говорить, если вдруг по дороге встретится иностранец. Первым делом она всегда пытается себе представить, как выглядит каждый новый встреченный ею человек, когда он спит. Сама же она большую часть суток бодрствует, при этом совершенно не зная, чем ей заняться в свободное время. Однако проводить время в мечтаниях она считает крайне глупым — уж лучше найти себе какое-нибудь другое занятие.

* * *

УЛИЦУ переходит мужчина, у которого на руке отсутствуют наручные часы. Пройдя площадь, он подходит к старой школе. Мужчина присаживается на скамейку на школьном дворе и ждет, пока прозвенит звонок. Он смотрит неподвижным взглядом на крайнее окно на втором этаже. Затем, уставившись на свой сапог, он слегка шевелит внутри него пальцами ноги, после чего опять смотрит вверх.

Снег на крыше начинает таять. Превращаясь в воду, он стекает вниз по трубе и расплывается по плиткам тротуара. На дереве посреди двора пробиваются зеленые листочки, через которые проглядывают солнечные лучи. Звенит звонок.

На втором этаже Марианна снимает свой правый указательный палец с кнопки звонка и застегивает сумку. Она выходит из помещения с плащом наперевес и звоном, застрявшим у нее в ушах. Закрыв за собой дверь, она на ходу накидывает на себя плащ.

Тем временем в саду опадают листья с деревьев и начинается снегопад. Марианна проходит через город и пересекает площадь; ее ровное дыхание сливается с белыми хлопьями. Руки мерзнут без перчаток. Народ на улицах пинает снег,

словно собак. Некоторые уже устали и прекращают пинать снег, в том числе и она сама.

* * *

В двух кварталах отсюда двое признаются друг другу в любви.

Каждый, сидя на своем стуле, делает другому свое признание. Никогда раньше они никому об этом не говорили. И между собой тоже никогда ни о чем таком не говорили. Но вот они целых тридцать один раз посмотрели друг на друга через стойку бара. Он выложил деньги. Она их взяла. И теперь они друг друга любят, сидя каждый на своем стуле.

Она предлагает выпить молока из одной чашки. Ему наплевать на молоко.

Она предлагает ему погрызть друг у друга ногти. Он не хочет.

Он предлагает ей поменяться глазами.

Она берет ножницы.

На самом деле это совсем не больно. Любовь все стерпит.

* * *

БЛИЖЕ к вечеру из дома выходит мужчина. Он одет в праздничный костюм, в левой руке — грязная сумка. В сумке лежит секундомер и пластмассовый термос, наполовину заполненный раствором стирального порошка.

Мужчина пересекает парк и пристраивается неподалеку от железнодорожного полотна. Открыв сумку, он останавливает секундомер, и, отвернув крышку термоса, кладет ее рядом с собой.

Ровно через тридцать секунд он запускает секундомер и выпивает первый глоток. Поезд прибывает в 01:10.

* * *

— Я требую объяснений, — говорит Ванте-Ханс своей кузине где-то вдалеке отсюда.

Кузина, размахивая перед лицом журналом, закуривает очередную сигарету.

— Зимой ты любил сморкаться себе в руку, — произносит она, вдыхая дым.

— Я живу в мире людей, у которых нет чувства юмора, — говорит Ханс. — Пусть же вечно длится зима!

* * *

МАРИАННА очень любит свой дом, вот только жить в нем ей бы хотелось в полном одиночестве. Как-то раз к ней комнату переехали две старушки и сразу принялись за ремонт напольной плитки, тревожа ее сон по утрам звуками зубила и молотка.

Чтобы ее не услышали, Марианне постоянно приходится ходить по квартире в носках. Оставленную почтальоном под дверью газету она осмеливается развернуть только уже дойдя до спальни, а затем начинает по два раза перечитывать статьи, совершенно не понимая их содержания.

По ночам она накрывается двумя теплыми одеялами, но и это ей не помогает. Тогда она встает с кровати только лишь для того, чтобы, тихонько прокравшись по спальне, быстро облить плитку белой краской и тут же юркнуть обратно в постель.

Каждое утро она слышит ворчание старушек, смешанное со звуками зубила, запахами спирта и ацетона, а потом все начинается сначала. И тогда Марианна садится на кровати и зажимает уши.

Она уже привыкла терпеть старушечий шум, их голоса и бесконечные хлопоты, когда ей приходится иногда выходить из спальни, чтобы, например, почистить зубы. Однако ее смущает их упорство, в особенности же неприятен тот факт, что она ничем не может им помочь. Ко всему прочему она совсем не хочет им помогать, ей все и так до крайности надоело, к тому же она вообще-то никогда не просила их об одолжении.

* * *

В двух кварталах отсюда женщина помирает от смеха.

Ее выносят, завернув в шерстяное одеяло, периодически останавливаясь, отчасти для того, чтобы собраться с новыми силами, а отчасти — чтобы время от времени прятать лица за белыми шейными платками. Им неловко улыбаться, пока они несут труп, но смех так и витает в воздухе.

А потом кто-то из них неожиданно расплачется, плач запишут на кассетный магнитофон и будут вновь и вновь проигрывать запись. Они нарисуют звездочки на ладонях рук, и эти звездочки будут им напоминать о дне ее смерти, а также о том, что нужно бы не забыть купить новый магнитофон.

— Она теперь в раю, — будут говорить они, устремив свои взгляды в поднебесье.

Семья

ВРЕМЯ от времени, когда люди оказываются в одиночестве, им кажется, будто за ними кто-то следит. О том, кто это такой, они не имеют ни малейшего понятия. Хотя на самом деле там никого нет, это чувство их не оставляет.

Когда сгущается мрак, они сидят в своих гостиных, пытаясь расслабиться, но вдруг ощущают, словно кто-то на них смотрит из темноты. Тогда они поднимаются и задвигают шторы, но и это не помогает. Они обходят комнату, зажигают свет, стучат по столу и прислушиваются. Потом пишут имя карандашом четыре раза. Но сзади, из-за спины, кто-то на них продолжает смотреть. Они резко оборачиваются и выкрикивают свой вопрос. И хотя им не отвечают, там все равно кто-то стоит.

И это их ужасно пугает. Вот почему человеку нужна семья.

* * *

МЕЖДУ двух улиц сидит угодившая каблуком в решетку женщина.

Она не может высвободить ногу, а на улице холодно. На ней всего лишь легкая хлопчатобумажная куртка, и вечером ей кое-что предстоит.

То, что ей предстоит, невозможно сделать без туфель. То, что ей предстоит, также невозможно сделать в решетке с каблуком левой ноги. Вот поэтому она и не двигается с места. Именно поэтому она ничего не может сделать.

Ей нужна помощь.

Но сегодня она получила доказательство теоремы, которая гласит: в городе нет ни одного человека.

И одно это уже освобождает ее от всех и всяческих дел.

* * *

ДВУМЯ этажами выше сидит мужчина и смотрит в окно.

Снег одевает деревья, дома и людей в белые одежды, и все это напоминает ему о другом доме, где он когда-то жил, когда был еще ребенком. Забот тогда было совсем немного: им приходилось следить, чтобы не слишком изнашивалась одежда, одеяла и они сами. Круглый год всю мебель в

доме накрывали простынями, чтобы защитить ее от выгорания на солнце.

А сейчас солнца нигде не видно. Идет снег.

* * *

МАРИАННА не знает, сколько времени эта собака уже живет под ее рукомойником, но, судя по тому как исчерпался запас мясных консервов, вероятно, никак не меньше двух недель.

Каждый вечер, когда стрелка часов приближается к 21:00, собака появляется в ее гостиной, садится неподалеку и, склонив голову, пристально глядит на Марианну. Когда та хлопает в ладоши, собака запрыгивает к ней на диван и засыпает. Собака спит, тяжело дыша, а Марианна глядит перед собой в пространство. Неплохо было бы сменить обои, но сейчас это уже не имеет большого значения. Марианна чувствует, как бьется под шерстью собачье сердце и ей начинает казаться, что она приходит к пониманию сущности любви. А собаке вовсе и не нужно, чтобы Мариана с ней разговаривала.

* * *

В двух кварталах отсюда в ванной сидит девочка, в руках у нее кухонные ножницы. Левой рукой она с силой оттягивает вниз челку и ее выстригает, но, увидев в зеркале результат, тут же заливается слезами.

В ванную входит мать, смотрит на ее отражение и на минуту ей кажется, будто в их дом прокралась какая-то чужая девочка. От дочери не укрывается ее короткий, запоминающийся вопль.

— Ты приняла меня за кого-то другого, — рыдает она, уткнувшись головой в колени матери.

— Нет, конечно же нет, — отвечает мать, но они вдруг обе понимают, что она лжет.

Раздается телефонный звонок.

* * *

— ДА, да, да, да, да, да, да, да, да, да, до свиданья, — говорит женщина в соседней квартире и вешает трубку.

— Известно ли тебе, сколько раз ты сказала “да” по телефону? — спрашивает дочь, помешивая кофе.

— Нет, — отвечает мать.

— Я тоже точно не знаю, — говорит дочь, — но каждый раз, когда ты произносила слово "да", мне в кофе падала полная ложка сахару, и теперь он невыносимо сладкий.

— Дай попробовать, — говорит мать, делает глоток, а затем выплевывает выпитое на пол.

— Ты понимаешь, о чем я? — спрашивает дочь.

— Да, — говорит мать. — Какая гадость.

* * *

А в соседней квартире молодая девушка взяла да и просверлила дыру в стене как раз между гостиной и спальней. Отверстие получилось размером с монетку, расположено оно на высоте глаз.

Девушка хочет выработать привычку глядеть в него как минимум один раз в час. Ведь это так важно — следить за своим одиночеством.

Но в один прекрасный день сюда зайдет молодой человек и присядет к ней на кровать. Вначале она испугается, но затем подойдет к нему, держа в руке нож.

— Вообще-то это моя кровать, — скажет она.

— В таком случае я ошибся, — ответит он и исчезнет.

И тогда она обрадуется, что просверлила когда-то эту дырку в стене. Но потом нужно будет придумать что-то новенькое.

* * *

А в квартире по соседству молодая пара вносит через дверь коробки, на которых написаны слова: СТЕКЛО, ГАРДИНЫ, ЛАМПЫ. Девушка открывает коробку с надписью КУХОННАЯ УТВАРЬ. Там лежат четыре гантели. Девушка открывает коробку с надписью КНИГИ. Там лежит килограмм апельсинов. Тогда она открывает коробку, на которой написано СТЕКЛО. Там лежит мертвая птица.

— Что с нами случилось? — спрашивает она у своего молодого человека.

— Я не знаю, — отвечает он. — У меня ужасно болит голова. — Довольно странное начало.

И они оба приходят к выводу, что для того, чтобы справиться с ситуацией, им необходимо срочно откупорить бутылку вина.

* * *

А на улице снег сыплет на мужчину, который с раскрытым зонтом проходит мимо автовокзала. Его останавливает женщина в белом пальто; в каждой руке она

держит по сумке и распространяет вокруг себя запах модных духов.

— В снежную погоду запрещено раскрывать зонт, — говорит она. — Зонт нужно использовать только от дождя.

Она прячет его под свое пальто. Пока они идут домой, народ на улице на них оборачивается. Всем вдруг начинает казаться, что в городе появились белые медведи.

Сон, сны

ВСЕГО в мире существует 347 снов.

Эти сны превращаются в серые слоистые облака, которые витают где-то далеко в высоте. По ночам они с различной скоростью падают вниз, в темноту, а затем приземляются на спящих, создавая в их головах различные картины.

Всего в мире существует 347 снов.

Научными исследованиями было доказано, что в дождливых краях люди видят больше снов, которые, впрочем, не могут вспомнить на следующий день.

Когда идет снег, сновидение приостанавливается.

Полуденная дрема может вызвать сон исключительно в тех случаях, когда на улице идет дождь.

Всего в мире существует 347 снов.

Спящие в ирландских кварталах видят сны о море. Есть еще сны о том, как открывается дверь.

И так далее.

347 — вовсе не случайная цифра. Всего в мире существует 347 способов встретить смерть.

* * *

Атем временем Марианна решает, что с завтрашнего дня она будет делать все наоборот. Сначала она вынет яйца из сковородки и положит их обратно в миску. Затем пойдет задним ходом в спальню, разденется и ляжет в кровать. Будет спать и видеть сны о том, что никак не может взлететь, а также о том, что у всех людей на земле вдруг выросли огромные головы. Когда наступит вечер, она проснется. Встанет, оденется и пойдет задним ходом в гостиную, зевнет, откроет наугад Большую энциклопедию, прочитает статью, закроет, а потом опять заснет.

Но на следующее утро она продолжает спать. В двух улицах отсюда кто-то кого-то зовет по имени. Этот голос ее бу-

дит, и она встает с кровати. Все происходит совершенно автоматически. В этом мире она не одна.

* * *

ПОХОРОНИВ свой паспорт в саду, Гюритте придет домой с заснеженными волосами. Пока она будет разбавлять молоком чай, снег в ее волосах растает и закапает на кухонный стол.

Напившись чаю, Гюритте станет строить планы следующей церемонии захоронения, от чего ее начнет клонить в сон; в конце концов, она задремлет, уронив голову на стол.

В первый раз она проснется, после того как ей приснится, будто она перепрыгивает через моря и ущелья в далеком безводном кратере.

Во второй раз она проснется от звука собственного дыхания.

В третий раз она проснется совсем ненадолго и как раз в тот момент, когда в кухонное окно влетит подкова и угодит ей в голову. И больше она уже никогда не проснется.

* * *

А немного позже проезжающая по этой самой улице Марианна заметит разбитое кухонное окно. Ни о чем не задумываясь, она направится прямиком туда, и перед ее взором предстанет обездвиженная, склонившаяся над столом Гюритте. Рядом с ножкой стола Марианна увидит лежащую подкову.

Марианна войдет в дом, поднимет с пола подкову и заберет ее с собой. Она повесит подкову над своей дверью концами вверх в форме буквы U и начнет ждать, когда в нее посыплется удача.

Словенские поэты в Триесте: Марко Кравос и Мирослав Кошута

Перевод со словенского и вступление Жанны Перковской

“Покуда длится жест и реет слово...”

“Теперь уж не припомнить — выбирал ли я планету, на которой родиться? И вряд ли мне пришлось размышлять над тем, где именно это должно произойти. Либо я принял решение впопыхах, либо за меня все это решил кто-то другой.

И все же случилось так, что я, едва родившись, оказался в самом средоточии мира сего, да что там мира: местом, где я появился на свет, был — ни много ни мало — сам пуп Вселенной...

Мой ли это был выбор или так сложились обстоятельства, но я вдруг очутился в волшебном краю; здесь было ровно столько простора, чтобы он казался безбрежным, ведь мне, ребенку, было не по силам исходить все вдоль и поперек, и в то же время он был столь мал, что сердце мое вмещало его целиком”...

Так начинается книга воспоминаний “Моряк на козе”. Автор ее — Мирослав Кошута, словенский поэт и писатель, проживающий в окрестностях итальянского города Триест неподалеку от границы Словении. Почему моряк — и вдруг на козе? Это заголовок-символ: в нем открытость всему миру уживается с замкнутым пространством подворья. Более того — интригующий своим лаконизмом заголовок вмещает два образа: здесь сошлись море и карст, создав уникальную местность, где граничат противоположности. Само слово “граница” в словенском языке — однокоренное русскому “межа”. И действительно есть на земле места, где трудно понять — межа или граница разделяет нации. Триест, в пригородах которого родился и другой словенский автор, Марко Кравос, — именно такая территория. Здесь то и дело выдавались “нескучные времена”: город побывал в составе империи Древнего Рима, был захвачен Венецианской Республикой, присягал на верность Габсбургской монархии, затем, в результате Первой мировой войны, отошел к Италии, в период Второй мировой войны под-

© Marko Kravos 1999, 2005
© Miroslav Košuta 2011, 2015
© Жанна Перковская. Перевод, вступление, 2017
Редакция выражает благодарность Марко Кравосу и Мирославу Кошуте за любезное разрешение безвозмездно опубликовать их произведения на страницах журнала.

вергся немецкой оккупации, а после нее управлялся англо-американскими военными властями, под контролем которых, в 1947—1954 годах, именовался Свободной территорией Триеста, после чего был окончательно передан Италии.

На этой земле издревле проживали словенцы — немногочисленный народ, которому каждая эпоха приносила свои испытания. Носителей словенского языка на земле всего два с половиной миллиона, поэтому приверженность ему для них так много значит, ведь не всегда этот народ мог пользоваться им свободно: были времена, когда человека лишали не только права говорить на родном языке, но даже имени, полученного при рождении.

Однако, как ни старается порой история подмять национальную самобытность людей, волею судьбы оказавшихся “на меже”, она пасует перед теми, кто преисполнен любовью к родной земле и готов посвятить ей свой поэтический дар. Ныне оба поэта популярны и в Италии, и в Словении. Что может быть красноречивее двуязычных сборников, находящих своих читателей по обе стороны “межи”, или высоких государственных наград, которых были удостоены авторы? Разве что эта цитата из книги Мирослава Кошуты: “Будь я художником, я бы свои мемуары писал акварелью. По мере удаления от едва различимой границы, где бумага впервые тронута водой, чуть уловимые сперва оттенки загустевают к центру, становясь материей, которая внезапно обретает контуры и даже звук, но это — лишь покуда длится жест и реет слово; и снова тают краски, словно дымка, и контур обрывается, подобно киноленте...”

Марко Кравос

Нескучные времена – Триест глазами лягушонка

Главы из книги

Картинки, высосанные из пальца

Откуда берутся все эти картинки? Кто их нарисовал? Зачем? Что они означают?

На первой – велосипед, прислоненный к дереву. Перед ним – две-три курицы. Та, что поближе, огромна. Она склоняет голову, и ее глаз вперяется в меня. Мне страшно. На заднем плане – берег моря.

В море плещутся люди, и мама тоже. Мама такая маленькая, а море такое большое! Я боюсь за нее. Вдруг вода ее затянет, вдруг все купальщики перельются за линию, отделяющую море от неба!

Меня на картинке нет. Зачем она – эта картинка, если она без меня? Все на ней четко, но – ни звука: ни рокота моря, ни квохтанья кур, ни моего вопля, ни истошного рева.

Я спрашиваю об этом маму, она отвечает: быть такого не может, не припомню, чтобы я плавала в море, а рядом были куры и велосипед. Скорее всего, ты просто выдумал ту картинку – велосипед-куры-мама...

Быть может, она и права. Мир никогда не был настолько нем. И вообще – как могла оказаться в моей памяти сцена, в центре которой – не я. рьяно сосущий собственный палец!

* * *

На другой картинке я вижу отца: вот он, встал посреди дороги, распростер руки, а к нему со всех ног несется девчонка с кудряшками. Отец восклицает: “Йа-ха-ха!”

Девочка — вовсе даже не сестра моя, Аленка. И все же отец заключает ее в объятия. Вот те на! Я бросаюсь к нему, размахивая кулаками. Приходится отцу сгрести в охапку и Аленку, а я уж сижу у него на закорках. Отец поет: “Мы друг друга любим, любим, любим”. Трое детей — две девочки и я — верещим от восторга. Отец напевает “Ринга-рая, ринга-рая”. Потом издает возглас: “Йа-ха-ха!”

Силуэты тех, кто во всем этом участвует, смазаны. Но голоса звучат отчетливо, как если бы я услышал их из прижатой к уху морской раковины. По всему телу у меня разливается блаженство: я увлеченно обсасываю большой палец.

Сорок пять лет спустя я вместе с мамой еду в те же края — Монтекальво-Ирпино, где я родился. Девочка, теперь уже взрослая женщина, еще помнит кое-какие “наши” слова:

— Ну, скажем, “Йа-ха-ха!” Так подзывал меня твой отец. Это что — по-немецки?

— Да нет, по-словенски... In slavo...[1]

— И что же это значило?

— Радость, веселье.

— О, это и так ясно! Bella lingua, la vostra![2]

Значит, все то, что на картинке, — правда.

И чего только я не узнал еще! Навещаю свою крестную, *куму Марию*. Она рассказывает, как собственноручно втащила меня в этот мир, ибо повитухи в тот момент в городе не сыскалось.

— Держу тебя, а ты висишь вверх тормашками и лыбишься! — вспоминает *кума Мария*.

Но самая прелесть — выведать у *кумы Марии* кое-что еще. Оказывается, я родился за день до даты, указанной в моем свидетельстве о рождении. Мама неловко оправдывается, мол, время было военное, комендантский час, а роды затянулись до ночи...

Однако то, что рассказывает мне эта добрая женщина, неопровержимо! Просто родители зарегистрировали меня далеко не сразу. А чтобы городские власти не слишком придирались, мать с отцом решили хотя бы на сутки отсрочить день моего рождения.

1. По-словенски... (*итал.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Красивый у вас язык (*итал.*).

— Я тебя втащила на свет божий вот этими руками! Во второй половине дня, tra le tre e le cinque del quindici maggio[1]. Уж поверь, *кума Мария* врать не станет! — не давая сбить себя с толку, говорит крестная. — Я все помню, как если бы это было вчера!

Так вот почему порой у меня возникает ощущение, будто я старше и крупнее, чем есть на самом деле! И будто *сметливее* других... Потому-то я и люблю общаться с теми, кто взрослей меня! Ха! Мне ли верить маме и метрикам! Да еще сомневаться в истинности картинок, теснящихся в моей голове...

Картинка вторая — моя рука в маминой. Опять берег моря. Мама в модном плаще. Я озираюсь по сторонам — вокруг витки колючей проволоки и противотанковые ежи на обочинах дорог, ведущих в Барколу...

— Следы войны, — поясняет мама.

Ржавое железо таит в себе зло по имени Война, и я ощущаю боль. Мама не разрешает подойти поближе. Ее ладонь передает мне тепло. Море здесь ласковое. Так и хочется пососать палец — жаль, мама крепко держит меня за руку.

Фотограф забирается под черное сукно. Он запечатлевает нас — без предупреждения. Мама соглашается заплатить за фото, самое крохотное, какое только бывает, и диктует адрес: прямо за собором Св. Иоанна — Сан-Джованни.

Эту фотографию и ныне может увидеть всяк, кто пожелает. Она свидетельствует: я и в самом деле когда-то жил на этом свете.

Учительница Амалия

То, что миром правят женщины, мне было ясно еще тогда, когда стол я чаще всего видел снизу, а уж что на нем было — узнавал, потянув за скатерть. Мужчины днем куда-то все деваются, у них дела — в городе, в поле, в мастерских. Мама, разные кумушки и тетушки, соседки, шьоры[2] за прилавками и на улице — вот они-то меня и окружают, то и дело окликают, учат здороваться, корят, если я сижу в пыли или на солнцепеке. Они все время ко мне пристают! И все они — большие и важные.

Самая главная из них — конечно же, наша учительница, господична[3] Амалия. В первый день учебы она сообщает, что целых пять лет будет мостить нам дорогу к знаниям. Так прямо и сказала. А еще сказала, как ее зовут и что ей семьдесят лет.

1. Где-то с трех до пяти, пятнадцатого мая (*итал.*).
2. От искаж. синьоры (*итал.*).
3. Словенское обращение к девушке, незамужней женщине.

Наверное, поэтому она так много знает. Ее седые волосы скреплены длинной шпилькой, глаза темно-карие. Осанка у нее очень прямая, потому что в школе, где она сама когда-то училась, много внимания уделяли правильному развитию организма. Когда она обходит нас, чуть наклоняя каждому голову, чтобы проверить, вымыты ли уши, мы ощущаем мягкость ее рук.

Родилась она еще во времена Австро-Венгрии. Ее отец был потомственным учителем. В старину учительницы замуж, как правило, не выходили. Вот и она тоже не вышла, хотя могла бы. Она говорит: а все потому, что я люблю всех-всех детишек. Так бы вот взял и женился на ней, чтобы любила она меня одного! Раньше она работала в Триесте, в школе Кирилла и Мефодия. Потом Италия упразднила ее школу, а заодно и все другие словенские школы. Так она осталась без работы, а в центральные провинции ехать не захотела: там бы ей пришлось учить одних лишь маленьких итальянцев.

Мы учимся письму, не так уж это и сложно: вниз — нажим, вверх — тонкая линия. Частенько я ставлю кляксы и размазываю их черным нарукавником — для того, наверное, он и черный. Кляксу можно удлинить, и тогда она превращается в дракона. Драконий хвост тянется к скобочке, схватывающей страницы моей тетрадки. Господична Амалия постоянно делает мне замечания: опять ты пишешь носом! Когда она что-нибудь объясняет, я сижу прямо, потому что руки в это время надо держать за спиной. Никак не могу запомнить считалку, приходится разучивать ее вместе с мамой. Читая, я все время запинаюсь: кажется, что слова мне подмигивают, стараясь обворожить своим значением, и я не в силах связать их между собой. Декламируя стишок, я страдаю, оттого что в нем все рифмы "на месте, как дома в Триесте". Они мешают мне пробиться к смыслу. Слова становятся громоздкими, как поленья...

А в общем и целом учусь я неплохо, потому что школу люблю.

Иногда моя мама беседует обо мне с господичной Амалией: дескать, потому я такой хилый, нервный и рассеянный, что родился в то время, когда мои родители были сосланы на поселение. Больше всего я страдаю оттого, что, когда нам делают прививки, никак не могу вспомнить название места рождения: Монтекальво-Ирпино, провинция Авеллино. Я все время твержу это про себя, но до самого конца учебы в начальной школе мне так и не удается воспроизвести это вслух.

Однако же, не без помощи мамы, все налаживается. Что касается прилежания и успехов, я середнячок. По поведению у меня всегда десятка, от физкультуры я освобожден, и оценку мне не ставят.

* * *

Затем на моем пути внезапно оказывается нечто судьбоносное: красный утенок!

Собственно говоря, эта история произошла гораздо раньше — три года назад, а может быть, и все пять. Я тогда ходил в детский сад, и мне страшно хотелось заполучить красного целлулоидного утенка, который красовался в витрине мелочной лавки. И тогда я стырил из маминого кошелька сто лир и купил его! А для того чтобы не пришлось объясняться с домашними, спрятал в кирпичах во дворе. Но — шила в мешке не утаишь. Кто-то выдал меня с головой — или сестра Аленка, или соседка Мария.

Стыд, раскаяние, слезы. Как я уже сказал, все это случилось еще в детсадовские годы.

И вот господична Амалия дает нам домашнее задание: надо описать какой-нибудь свой проступок. Я вспомнил про утенка: пусть эта неудачная покупка на ворованные деньги послужит хоть чему-то на благо.

Мама вытягивает из меня, как клещами, что именно я собираюсь написать в начале, в середине и в конце. История о красном утенке, набросанная мною вчерне, ее совсем не устраивает. Она садится и пишет ее заново, а мне остается переписать ее набело в тетрадку.

На следующий день господична Амалия держит в руке мою тетрадку так, как если бы все ее листы были обмазаны вареньем. Разумеется, меня заставляют прочесть сочинение вслух перед классом. Пунцовый от стыда, я излагаю одноклассникам историю о том, как я похитил деньги, чтобы купить на них утенка, а изнутри точит меня мысль о второй краже: перо-то в тетрадке чужое! И этому-то воровству моя родная мать дала зеленый свет! Ощущения у меня — как у собаки, скачущей на лошади. Но, конечно же, я никому не расскажу о мамином подлоге.

И это еще не конец. Я принужден, угрызаясь муками совести, переписать сочинение на отдельный лист бумаги. Учительница Амалия подставляет парочку запятых, и вот мой красный утенок летит в гимназию первой ступени, где выпускается печатный альманах “Литературные опыты”. Сочинение печатают черным по белому, и — о стыд и ужас! — отец в своем ателье зачитывает его каждому, кто готов выслушать мою воровскую сагу.

Репутация ранимой артистической души прилипает ко мне намертво. Каждый раз, когда нам дают подобное задание, я ловлю на себе взоры, полные ожиданий: интересно, что на этот раз явит миру наш пиит! Приходится попотеть не на шутку — хотя бы для того, чтобы не подвести маму. Да и господичне Амалии хочется угодить — ей так приятно иметь в числе своих учеников

истинного художника слова! Только если пыжишься и вымучиваешь каждое слово, ничего путного на бумагу не ложится. Но, к счастью, люди, привыкшие напряженно искать и ждать, вырабатывают особый дар — им слышно, как растет трава. Это правда!

* * *

Узнал я от господичны учительницы и еще одну вещь: оказывается, люди делятся не на "красных" и "белых", как мы привыкли думать, слушая разговоры дома и на улице, а на словенцев и итальянцев. Те из нас, кто поступает в *тальянские* школы и отказывается от родного языка, — предатели. Итальянские школы — *дерьмовые*, суровым голосом объясняет нам, второклассникам, господична Амалия. В то же самое время какие-то люди — откуда мне знать, что это сторонники Коминформбюро? — упорно называют словенские школы тито-фашистскими. Тот, кто их посещает, — националист. Так вроде бы сказал Сталин. И треть нашего класса родители переводят в итальянскую школу.

Учительница рассказывает: тех, кто любил словенскую школу, словенские песни и родной язык, до войны у нас в округе нещадно били. Мало того что драчуны были все как один фашисты — это были самые отъявленные негодяи. Сколько зла творилось вокруг! Как же можно сделать выбор в пользу языка, на котором говорят те, кто издевался над вашими мамами и папами? Это же все равно что поселить у себя во рту гадюку, которая всю жизнь будет жалить в сердце человека, притворившегося, будто знать не знает родную мать.

Спустя год-другой я узнаю, что именно такой проступок совершил будущий писатель Иван Цанкар, когда был маленьким. Вот я бы никогда не посмел так сделать: уж гадюку-то у себя во рту я точно не поселю.

Я верю господичне Амалии, хотя понимаю далеко не все. Не так уж они и виноваты, эти предатели. Отец моего одноклассника Руди, железнодорожник, лишился бы работы, если бы его сын продолжал ходить в нашу школу и не переименовался в Родольфо. Руди забегает к нам выплакаться, он не хочет ходить в *дерьмовую* школу. Другие дети тоже ее стыдятся, даже не выходят играть на улицу. А одна девочка, Лили, даже заболела и наверняка умерла бы, если бы мама не перевела ее обратно в наш класс.

Что ж, все, что говорит учительница, нужно воспринимать сердцем. Но язык — он-то ведь не может быть *дерьмовым*! Кто-то из окрестных детей говорит на триестинском наречии — ничего не поделаешь, итальянский квартал. Но я не сказал бы, что эти дети какие-то особенные. Быть может, менее опрятны и

беднее одеты. Девчонки — те вроде в порядке, умеют принарядиться. Мне становится неловко: если бы я и в самом деле согласился с тем, что они *дерьмовые*, — как бы я с ними играл? Наши итальянцы — хорошие. А чернявые итальяшки — они водятся только внизу, в Старом городе, они все противные.

Иногда, правда, они возникают и у нас. На улице, в магазине, в трамвае. Сестре Аленке один такой влепил пощечину, когда она ехала на трамвае в школу, что рядом с храмом Святого Иакова. Только за то, что она громко разговаривала по-словенски. Дома ее слезы вызвали бурю негодования.

Поэтому мне и в голову не приходит пожаловаться родителям на чужую тетю, плюнувшую мне в лицо, или на того парня, который дал мне поджопника за мою родную речь. Да, я был оскорблен до глубины души, но при чем тут мама с папой? Когда опять будет война и я вырасту, пойду в партизаны. И разыщу их, этих итальяшек, всех до единого. И взорву все их конторы и Старую площадь! Это будет справедливая месть.

Отец не верит в то, что за правду надо бороться. В последнее время он стал каким-то рохлей. Если бы меня, как в свое время его, посадили в тюрьму, и били, и выслали на поселение, я бы мстил. Уж они бы у меня поплясали! Уж они у меня попляшут, когда я подрасту! Отец рассказывает, что на юге Италии простые люди нам охотно помогали. Простые люди — они добрее. Значит, перебить надо всех непростых!

— Уживаться надо уметь, — говорит мама. Она молится о том, чтобы все, кто не прав, образумились. Но если кого Бог наделил черным сердцем и гадюкой вместо языка, как сказала господична Амалия, то такие не образумятся, и счастья им не видать. Они попадут в ад, туда им и дорога. Отконвоировать их в преисподнюю, держа на мушке! Такова и была бы на то воля Божья.

И вот в Триесте останемся только мы, достойные люди. И тогда в соседней, итальянской, школе зададут сочинение о том, как вкусны словенские штрукли[1]. Скажут и о том, что не надо называть их “струкколо шчаво”[2], раз уж они и тут всем пришлись по вкусу. И, в довершение ко всему, там споют хором какую-нибудь из наших народных песен, например, “Марко скачет”, причем со всеми словами, от начала до конца, а не только припев: “Бум-бум, ай-йя-яй”!

1. Словенское национальное блюдо — отварной рулет с начинкой из молодого сыра или творога.
2. “Словенские штрукли” (*искаж.*) — уничижительное выражение.

Лысина

Нарождается месяц,
скоро и полнолуние
на моей голове.
Каждая горесть
выщипывает волосинку,
сказала мне бабушка
в утешение.
На том свете, на том же месте
вырастет перышко
для ангельского оперения.
На том свете.

Волос так просто не падает —
каждый грех
забирает с собой волосинку,
утешил дед.
На том свете вместо нее
отрастут сатанинские космы.
На том свете.

Значит, быть мне до пояса ангелом,
ниже пояса — чертом.
На том свете.

Здесь же останется лысая голова,
будет светить мне луной,
ох, на том свете.

Поэтический рецепт

Взять полкило достоверности и растереть.
Ввести 300 г эмоций (конечно же, свежих),
щепотку модных словечек,
незатейливых рифм — по вкусу,
добавить льезон из острот
и тушить на умеренной праздности.
Затем залить бешамелью
из политики или секса.
Подавать горячим, иначе будет понос.

В*прочем*

Полжизни сплю,
полжизни вижу сны:
наполовину в цвете,
половина —
как белый силуэт на черном фоне.
Я в них готов наполовину верить,
наполовину им не доверяю.
Но, впрочем, это не беда.
Но, впрочем,
и радости особенной тут нет.
И вот что, впрочем, сильно досаждает:
как знать,
вот эта чернота
внезапная —
лишь смена кадра
или уже finita la?

В*от оно*

Наконец-то я знаю точно,
и все говорит об этом, мой друг:
наша цивилизация
верещит, словно мышь в мышеловке.
Мышь обезумела, с нею — и ты.
Вот он — распад. И снова начало всему.

M*emento*

И не думай — тебе не уйти
и не прийти никуда,
будь у тебя хоть четыре ноги:
табуретка стоит на месте.

С*веча*

Горит —
не для мертвых,
не ради любви.
Жжет одиночество.
Кружит ночной мотылек —
ищет свое тридевятое царство.

Тритон

Из ямки в ямку, по илу
лениво переползаю:
где ж она затаилась,
единственная, дорогая, —

в ручье ли под сенью осинки,
среди валунов ли мшистых...
У нее сверкает на спинке
россыпь звездочек золотистых.

Пролетают века — и пусть!
Мир не стоит на месте...
Старея, по илу влачусь.
Но она-то ведь где-то есть-то!

Послание Богу

Вот видишь, мой милый Боженька,
ты сделал все, как положено,
а я-то уж и не чаял,
что от тебя будет прок.

Я у тебя не вымаливал
ни денег, ни сил, ни воздуха,
ни процветания родины,
ни здоровья, ни новых строк.

Что ни день, я сам неустанно
этих благ, как умел, добивался,
понимая, что миру повсюду
чинят козни из преисподней.

Я б, наверно, еще лет тысячу
проваландался неприкаянным,
но воздал ты душе моей ищущей,
и с тех пор я на круге правильном.

Луна истончается серпиком,
Солнце меркнет застенчиво,
и только твой лик от восторга
рдеет при виде той

чернявой девчонки, крохи,
пигалицы, кузнечика,
нежность к которой не знает
пределов, а сердце — покоя.

Как я ждал ее, милый Боженька,
словно собака — косточку.
Ты послал мне ее в объятия.
Спасибо, дружище Бог!

Ревность

Запеклись твои губы —
жаркая печь.
Где ты была, родная?

Хрипла, отрывиста речь —
отчего это, милая?

Повяжи поясок цветастый,
в руку возьми тамбурин
и лети за цыганским ветром.

Буду ждать я тебя у дверей —
я ли, не я?

Ждать, чтоб вовек
тебя не впустить обратно.

В сердце растет мухомор,
алый, с белыми пятнами.

Самоубийца

Все воды текут к тебе.
Поле не шелохнется,
поле укутал снег.

Наутро придешь к полынье —
прискачу я тебе навстречу
на ледяном коне.

Сохраню ли еще тепло
или буду студеной, как эта глубь?
Все равно — обними, приголубь.

Потом ты уйдешь навсегда.
Обо мне же —
ни памяти, ни молвы.

В устах моих будет вода,
в груди моей будет тишь,
в объятиях — вмятина:
от твоей головы.

С *гулянки*

Стой, Маринка, не пущу, ни за что!
Время — к рассвету, и мамка твоя уже дрыхнет, не
ждет,
ты ведь взрослая! Сядем вот тут, под сосной.
Сухо, росы еще нет. Не пущу! Ну что ты все время
хохочешь?
Да справлюсь я с этой застежкой! Тише, там кто-то
идет.

Не смейся, а то укушу прямо в персик!
Шутка ль, три дня и три ночи я сох по тебе!
Не отстану теперь, хоть убей!
Змейка моя, опутай меня ногами
и останься навеки со мной.

Мирослав Кошута

Стихи

Белье на ветру

Белье на ветру у родимого дома
мне машет приветно.
Мама, лицом юна,
ловит платок и волосы,
словно добрые времена,
когда по двору носились они с отцом,
играя в салочки.
Нет его. Чаще всего он бывал
где-то в других местах:
в партизанах, в тюрьме или на
работе. Брат играет в солдатиков,
но это плохая игра:
половина уже закопана.

Белье на ветру у родимого дома
мне машет приветно.
Гнется лавровый кустик и все же растет.
Он еще мал — не тот,
чем станет потом.
Я погоняю козу, босиком,
с головой непокрытой, —
пастушок,
не тот, кем стану потом.

Вокруг затаились страхи,
я тихо сражаюсь с ними.
Кто-то в порывах ветра
мое выкликает имя.
О, сколько вокруг невзгод
и сколько же, сколько света!

Идет молва

Идет молва о том, что расцветает море
кристаллами цветов, сперва — у дна, в заливах,
где трав морских теченье не колышет;
о том, что реки с гор приносят снег, и в глубине
снежинки эдельвейсов расцветают;
о том, что след копыт затягивает илом...

Идет молва об этом и о том —
предания затопленных баркасов
в тревожной дреме нам щетинят память,
и те из нас, кто с морем в мире жил,
к нему приходят за глотком воды.

Море – линии ладони

Море — линии ладони,
море — раковин прибой,
море — птицы и драконы,
море — бегство в край родной.

Море — пламя из гортани,
море — страхов череда,
море — горечь расставаний,
море — здесь и навсегда.

Лоточница

Лишь глянет искоса — и плод
незрелый покраснеет.
И заиграет натюрморт,
и персиком повеет!

А стоит ей бедром вильнуть —
сам закачаешься и, пьян,
воззришься на тугую грудь,
на безупречный стан.

Душисты дыни, сладкий сок
томится в мандаринах.
Она отводит на лоток,
мадонна, взор невинный...

Лоточница, богачка ты,
Ответь! Смелее, ну же! —
Вкусит ли этой красоты
хоть кто-то, кроме мужа?

Июльский день

Июльский день расстегивает блузу
красотке: ну и зной, невмочь терпеть!
Она — под ручку с парнем, я же — с музой.
Они прилягут, мне бы посидеть...

Что будет с ними — ясная картина.
А я перелистаю книгу: там
написано про Анну, про Марину...
И, может, набросаю что-то сам.

Да только — подберутся ли слова?
Перед глазами — блузки кружева,
а где-то в глубине души щемит:
мне этот день успехов не сулит...

О наважденье! Плакать я готов
от замечательных — чужих — стихов...

День Октябрьской революции

Сегодня — день Октябрьской революции.
Опомнился, скажете — на дворе ведь апрель!
Неважно, какого это свершилось числа.
Главное — произошла.
Октябрь ли, ноябрь — разница невелика.
Под ударом мужицкого кулака
пал режим. Едва уцелел календарь.

Сегодня — день Октябрьской революции.
Праздную, Троцкого и Джона Рида листая.
Белых маршалов — к стенке!
Заводи пролетарские марши!

Залпу “Авроры” даю отмашку,
Учредительное разгоняю.
Свален царь, и Керенского песенка спета.

Сегодня — день Октябрьской революции.
Размышляя про то и про это, я,
верен себе до конца,
вздремну на диване, пожалуй, как встарь,
дремал неразумный мир.
Я, узник совести в полосатой пижаме,
одиночка-бунтарь.

Выключу радио и ТВ,
чтоб не слышать дурацкие комментарии.
Дался им поверженный царь! — и
вместе с Лениным снова и снова
выхожу на площадь Свердлова.

Что это было? Порыв и надежда шальная,
схватка добра и зла...
Поэтому я вспоминаю в апреле и в мае:
Октябрьская революция произошла!

Благоустройство площади Гольдони

Мы с женой, наконец, решили: пора привести в
порядок
площадь Гольдони — сделать ее такой, как была
когда-то.
Натаскали лотков с цветами и фруктами, собрали
окрестных хозяек
в народных костюмах, позвал я и тетушку Пепу —
она-то уж знает, как надо.
Да ты что! — восклицает Марта, ведь ее уж давно нет
в живых!
Ничего, говорю, воскреснет: такие великие замыслы
никому не позволят остаться от дел в стороне!

Завтра, чуть свет, заморские яства прибудут в порт,
стянутся отовсюду молочники, зеленщики,
повеет хрустящим хлебом.
Место найдется и лесорубам —
сгрузят дрова с подвод.

Бабушке Катарине спустя полвека выдастся случай
поторговать своей знаменитой рыбкой...
Нет-нет! Вот только рыбки нам не хватало:
тут же слетятся мухи... Конечно, бабуля когда-то
вскормила той рыбой пять ненасытных ртов,
в том числе моего отца. Но это уже совсем другая
история.

Трамвайные рельсы убраны, и тут возникает
проблема — кони...
Да, не забыть: вот здесь должен реять двуглавый орел
и алебарда на фоне красно-бело-багряного стяга.
Ирредентисты машут петицией против кобыльих
лепешек.
Похоже, мы с Мартой впряглись в неблагодарное
дело.

Стол

Исполать тебе, стол, ибо ты наделен ногами,
но они не ведут тебя прочь от нашего дома,
потому что ты знаешь, где счастье.

Исполать тебе, стол, ибо ты из мореного дуба
сколочен.
За тобой нам не тесно, когда вчетвером мы садимся
вокруг
и каждый приносит с собой свои дни и ночи.
Скатерть твоя — дыханье весеннего ветерка,
ты пропитан насквозь ароматами нашей пищи,
от нее ты растешь и пускаешь побеги,
и с тобой зеленеет весь дом: мы в его нутро
входим за утолением жажды и голода.

Исполать тебе, стол, ибо ты моя книга.
Тебя испещряют отметины — рост моих сыновей.
Высотою твоей
я измеряю скорбь:

ведь настанет тот день, когда на тебя
поставят лишь три тарелки,
а чуть позже — и две, и станина застонет,
как лопнувшая пружина в старинных часах.

Завтрашнее утро в Триесте

Однажды проснусь и скажу невзначай:
– Buongiorno, Кошута! Come stai?[1]
– Неплохо, – отвечу, – с утра как будто здоров.
Потом встрепенусь – показалось мне это?
А ну-ка, еще раз: che cosa hai detto?[2]
E perchè[3] для "почему" не хватает мне слов?

Бродить по земле родной я пока не устал,
Ищу-свищу, но чего? Я не знаю и сам.
Чужое наречие дом обрело в гортани,
и я понимаю: уж скоро тот день настанет,
когда во мне проснутся сразу два "эго".
Ma cosa vuoi – così è la vita! Prego![4]

1. Добрый день... Как дела? (*итал.*)
2. Что вы сказали? (*итал.*)
3. И почему (*итал.*).
4. Но куда денешься – это жизнь. Вот! (*итал.*)

Энтони Бёрджесс

Право на ответ[1]

Перевод Елены Калявиной

Глава 10

— Так что он говорит, что это для него в самый раз. И что там он заработает гораздо больше, чем учительствуя, — сказал отец, сидя на краешке моей измятой постели — он только что вернулся после дежурного ланча у Берил.

— А Берил-то довольна? — спросил я.

В голове моей прояснилось. Я хорошенько пропотел от виски и аспирина.

— Ну, она говорит, что ей всегда нравился Танбридж-Уэллс.

Сверкающий день из огня и льда шел на убыль. С самого утра он время от времени давал о себе знать, солнце, словно котенок лапкой, теребило меня, вытаскивая из дремотного забытья.

— Хотя я не представляю себе (кха-кха-кха!) Генри за прилавком табачной лавки (кха) никаким боком.

— Сколько у него было припадков? — Я имел в виду отца Генри Моргана, которого, кажется, разбил паралич, когда он продавал кому-то двадцать пачек "Голд Флейкс".

— Десять или двенадцать, вроде, — сказал отец. — Двенадцать апоплексических припадков. А он говорил "апокалипсических" — этот старый невежда, ведь Апокалипсис, это же другое, это из Библии, как мне помнится.

— Откровения Иоанна Богослова.

— Да, я помню, было у нас одно довольно солидное издание. Ограниченный тираж, курсивом набирали.

— Как думаешь, они долго будут дом продавать?

Теперь я видел, что отец действительно приходит в себя.

— Не думаю. Такие деревни сейчас пришлись очень по вкусу торговцам автомобилями и прочим. Сам не знаю почему.

1. Окончание. Начало см. в "ИЛ", 2017, № 2.

— А ты что будешь делать?

— Я-то что буду делать? Я буду в порядке. Я уже привык жить сам по себе. — Отец основательно откашлялся, будто в подтверждение своего заявления. — Я у Берил сроду помощи не просил. А что до воскресных обедов — что ж, я всегда могу приготовить себе что-нибудь этакое, чтобы было чуток не похоже на остальные дни недели. В конце концов, могу сделать рисовый пудинг, — прибавил он.

— Но тебе нужен кто-то, кого ты мог бы позвать в случае чего. Не нравится мне этот твой кашель. А я буду в Токио.

— Так, сынок, — перебил он меня, — если ты опять заводишь эту песню, скажу тебе раз и навсегда: я не собираюсь остаток дней мотаться по заграницам, ни ради тебя, ни ради кого-то еще. Я всю свою жизнь прожил в Англии, если не считать Северный Уэльс, в котором практически все английское, кроме народа. В Англии я жил, в Англии и умру.

Замечательный монолог на закате. Свет медленно тускнел на горизонте у отца за спиной. Левой ладонью я комкал учтивую записку от мистера Раджа — тихой ранней пташки, пришпиленную им к его подушке: “И вот дабы не тревожить Вас, мистер Денхэм, и тем более — Вашего высокочтимого отца... оба спали сном... сегодня я сопоставлю мои записи и, подобно Британскому льву, залижу раны, полученные не без чести... завтра явлюсь с ингредиентами для карри и приготовлю обильный цейлонский карри, который так полезен при простуде и заболеваниях дыхательных путей... не могу забыть и оставить безответной Вашу гостеприимную доброту...”

— А знаешь, — сказал я, — я не настолько практичен, насколько должен быть. Весьма возможно, что я умру раньше тебя.

— Ты парень здоровый, — сказал отец. — Хотя и жирноват немного. Я же выкашлял большую часть своего жира. Но ты проживешь долго, как все в нашем роду.

— Я не о смерти в собственной постели, папа, — сказал я. — Мне приходится много летать. Помнишь, как я опоздал на самолет, который потом захватили в Бомбее? На свое счастье, помнишь?

— Ты всегда был везунчиком.

— Не знаю. Все равно каждый раз, когда я уезжаю из дому, есть вероятность, что этот раз — последний.

— Слушай, сынок, это все простуда вгоняет тебя в уныние. Скорее всего, это что-то гриппозное.

— Так вот, я думаю, что имею право попросить тебя кое о чем, прежде чем уеду.

— И о чем же? — Отец выпятил нижнюю губу, заподозрив неладное.

Величественные сливово-яблочные разводы украшали умирающее небо.

— Я прошу тебя пустить квартиранта.

Отец вскочил в отвращении.

— Квартиранта? Мне не нужны никакие квартиранты. Я сам могу себя содержать, благодарю покорно. Квартиранта — в мои-то годы! А теперь слушай меня, сын, сейчас ты ляжешь и чуток поспишь, постарайся пропотеть, чтобы из тебя вышла вся эта болячка. А через часок я угощу тебя горяченьким супом. Томатным супчиком — очень горячим, да с тостами.

— Ты не купишь меня своим томатным супчиком, — сказал я, — даже самым горячим. Это моя комната, не так ли? Так было оговорено, когда ты поселился в этом доме, правда? Моя комната. Так вот, я хочу, чтобы мистер Радж занял мою комнату.

Отец огорченно покачал головой. Притворялся, будто принимает мои речи за бред.

— Если ты имеешь в виду того индийского джентльмена, то я вынужден отказать. Не потому, что он индиец, — спохватился он. — Я не имею ничего против его цвета кожи, хотя я на самом деле уже слишком укоренился в своих взглядах касательно цветных, чтобы начать воспринимать какие-то новые идеи на сей счет. Так уж я устроен, — сказал он, будто оправдываясь. — Просто мне не нужны никакие жильцы, ни черные, ни розовые, ни желтые, ни разноцветные, как бильярдные шары. И утром, когда тебе полегчает, ты поймешь и согласишься со мной. А теперь я пойду вниз, — сказал он, — дам тебе поспать немножко. У них там новая программа на детском канале, каждое воскресенье. Что-то про двенадцать апостолов, кажется. Забавная — двенадцать апостолов, двенадцать Цезарей. А еще я читал, что тот, кто родился с двенадцатью пальцами вместо десяти, добьется больших успехов в арифметике. Интересно, — сказал он, — неужели я действительно слишком стар, чтобы еще чему-то научиться? В любом случае, поговорим обо всем этом завтра, — и он тяжко затопал вниз по лестнице, кашляя в лестничный пролет. — Хрроджерс! — отхаркнул он с пренебрежением, оставив меня одного в подступающем мраке, который должен был подействовать как снотворное.

Наутро болезнетворные бактерии покинули мою голову и принялись колонизировать грудную клетку. Мы с отцом проснулись приблизительно в одно и то же время, оба дохая так, как будто в дом напустили ядовитого газа. Я слышал, как он натягивал штаны, звякая мелочью в карманах и кашлял, а я просто лежал в постели и кашлял в ответ. Его кашель в гостиной внизу казался громче обычного, менее сдавленным, как будто мы наконец-то заговорили на одном языке, и ему хотелось показать,

что он в этом языке больший дока, чем я. Встал я около половины одиннадцатого и, кашляя, в халате спустился в переднюю.

Подобно мощному порыву кашля с Востока, мистер Радж возник в проеме задней двери, едва пробило одиннадцать, улыбаясь, как ясно солнышко, и неся по бумажному пакету в каждой руке.

— Приветствую вас, дорогие кашляльщики, — метко сказал он, — надеюсь, что одному из вас скоро станет получше. Мистеру Денхэму-старшему, — сказал он с неумолимым восточным реализмом, — лучше станет уже, наверное, только в могиле, путь к которой, впрочем, нашими молитвами, будет довольно долгим. Зато наш молодой мистер Денхэм — совсем другой коленкор. Ему еще долгая жизнь предстоит.

Он улыбнулся, а я вдруг явственно представил себе, как выглядит книга, из коей он извлек этот свой "коленкор" — изданный в Индии, флегматичный и неточный учебник английского языка предыдущего поколения, авторства А. А. Сарендрана или доктора П. Гурасами — толстенный, плохо отпечатанный, дурно переплетенный, напичканный примерами из писем к адвокатам и приглашений на чай. Я чуть ли не с нежностью посмотрел на мистера Раджа. Он сказал:

— Как я и обещал, мы сегодня будем кушать цейлонский карри. Никто из вас не шелохнет и пальцем. Я все приготовлю сам.

Отец с интересом посмотрел на мистера Раджа поверх своей "Дейли экспресс".

— Да, — кивнул мистер Радж, — все. Без чьей-либо помощи. В ответ на бесконечную вашу доброту. — Он отнес пакеты в кухню, а потом вернулся и сообщил: — А те юноши уже поправились. Пара синяков под глазами, глядят волком, но ничего более. Я их в городе встретил, неподалеку от гостиницы.

— А другая жертва? — спросил я, кашляя.

— О нем, — ответил мистер Радж, — я ничего не слышал.

Он ретировался на кухню, а отец спросил:

— Что еще за жертвы такие?

— Мистер Радж, — пояснил я, — грозный человек. Мягкий, но грозный. Ты любишь карри?

— Видишь ли, — ответил отец, — не думаю, что мне доводилось когда-нибудь его попробовать. Хотя, погоди, в ресторане "Львы" как-то подавали тосты с бобами карри. Но это, наверное, не одно и то же?

— Нет, — сказал я, — это совсем не одно и то же.

Отец несколько стыдливо, словно внезапно оказался в гостях, пошел наверх, чтобы умыться и побриться. Вернулся он, когда внизу уже вовсю благоухало жареным луком, и слышался стук ножа по разделочной доске.

— Мне бы надо в банк сходить до обеда, — сказал он, — справиться насчет кое-каких акций. Наверное, будет лучше, если я позавтракаю в городе. Стар я уже для всяких новшеств, честное слово. Для этих карри и всего такого.

— Это будет ужасным оскорблением, — сказал я. — Тебе нужно все же кое-чему поучиться, несмотря на твой возраст.

Кажется, я ничего более гадкого отцу за всю жизнь не сказал, но он только охнул в ответ.

— Ты знаешь, о чем я, — сказал я. — Как бы тебе понравилось, если бы кто-то вот так развернулся и ушел от тебя, это же все равно что пощечина.

— Хорошо, — уступил отец, — я вернусь.

Он укашлял прочь, а я пошел на кухню, которая хлопотами мистера Раджа превратилась в прохладный филиал Цейлона, усыпанный куркумой, стручковым перцем, кардамоном, наполненный громким шипением сковороды и густыми жаркими ароматами.

— Могу я помочь? — спросил я, и мистер Радж чуть ли не взашей вытолкал меня вон, размахивая руками, точно ветряк, и вращая дикими очами:

— Нет, нет и нет. Я и только я сам должен это делать, понимаете? Я!

Так что я уполз прочь и укрылся за отцовской "Дейли экспресс", кашляя время от времени. Я даже ни одной сигареты за все утро не выкурил.

Отец, возвратившийся к новостям в час дня, чуть ли не бочком прокрался в дверь. Карри захватил дом, и у отца был виноватый взгляд незваного гостя. А потом, едва радио пропикало час, мистер Радж, хозяин в старом фартуке, найденном им на кухне, белозубый и сверкающий точеным носом, загромыхал салатниками с ломтиками перца, бананов, кокоса, огурцами, томатными кружочками, крутыми яйцами, маринованными пикулями, кольцами лука, корнишонами, чтобы они воссияли на столе, все еще накрытом к завтраку. Потом он принес рис и чапати[1], потом подал блюда с рыбой — жареной и приправленной карри, а следом — сочные мясистые куски баранины под густым и горячим коричнево-красным соусом. И в качестве последнего аккорда он с размаху брякнул на стол громадный горшок с чатни[2], украшенный этикеткой, на коей счастливое темнокожее семейство обли-

1. Хлеб из пшеничной муки, наподобие тонкого лаваша. (*Здесь и далее – прим. Е. Калявиной и Н. Мельникова.*)
2. Традиционные индийские приправы, оттеняющие вкус основного блюда.

зывает пальцы под надписью сингальской вязью. У отца был испуганный вид. Диктор бубнил новости, но никто его не слушал.

— Кушайте! — пригласил мистер Радж. — Налетайте на еду. В благодарность за гостеприимство и доброту.

И мы налетели. Папа зачерпнул карри, и у него перехватило дух. Он сунулся было по привычке в кухню за стаканом холодной воды, но мистер Радж воскликнул:

— Нет-нет! Я принесу. Это моя привилегия, мистеры Денхэмы.

Перед отцом словно открылся новый мир. Он ел, а глаза у него были изумленно распахнуты, как у младенцев с полотен эпохи Возрождения.

— Я понятия не имел, — потрясенно выдохнул он, — никогда даже не думал.

Он напоминал юнца после первого любовного соития. Новости подошли к концу, и кто-то принялся рассказывать о древних реликвиях Нортгемптоншира. А мы всё ели, уляпываясь соусом и отдуваясь, и кашляли уже не так натужно.

— Невероятно, — млел отец.

Мистер Радж сиял, изящными пальцами разрывая чапати. Это был замечательный карри — и потакание чревоугодию, и средство народной медицины. Мы все еще трапезничали, когда приехал викарий Высокой церкви, чтобы забрать отца к девяти лункам. Разомлевший отец пригласил его войти. Викарий напоминал пепельно-седого актера в клетчатом жилете под жестким пасторским воротничком.

— Достопочтенный джентльмен, — сказал мистер Радж, — налетайте тоже, сэр. Здесь на всех хватит. Я никогда не имел возможности должным образом воздать добрым миссионерам за мое великолепное начальное образование.

— Ну, — сказал викарий, — выглядит действительно чертовски аппетитно.

— Это мистер Эр, — сказал отец, который всегда с трудом запоминал фамилии, — а это мой сын.

— Я уже позавтракал, — сказал викарий, — но стряпня моей экономки ни черта не сто́ит рядом с вашими яствами, Богом клянусь.

И он преломил с нами чапати, а затем за обе щеки принялся уплетать истекающую жиром баранину. Чудная это была компания — усердный мистер Радж, коричневый и сияющий в старом фартуке, отец с просветленным взором, забрызганный красно-бурым маслянистым соусом, викарий, демонстрирующий, как здорово он умеет чертыхаться в перерывах между жеванием, и я сам — небритый, в толстом мужском до-

машнем халате. Тем временем по радио зазвучала музыка, а мы будто бы исполняли карри, играя на нем, как на роскошном органе с множеством регистров. Викарий сказал что-то, я попытался ему ответить, но голос у меня почти пропал:

— Хрр, харри, хрош, — сказал я, а викарий рассмеялся по-актерски и заметил:

— Чертовски вам повезло, что вы не наш брат-проповедник, потерявший голос. Мне сегодня вечером еще выступать перед старыми коровами — оплотом "Союза матерей". Я помню, ха-ха, как в Теологическом колледже старина Берти Бодкин должен был читать проповедь на "Я свет миру"[1], и мы его с нашей галерки почти не слышали. Тогда я крикнул: "Подтяни чертов фитиль, Берти!"

Он заржал во все горло, а мистер Радж поинтересовался:

— И что, тот джентльмен исполнил вашу просьбу?

— Он был большой любитель утапливать фитиль, — сказал викарий, — ха-ха!

К концу трапезы на столе мало что осталось.

— Оставшийся рис мы скормим птицам, — сказал отец, — скатерть все равно уже пора стирать, так что лучше всего связать вот это все в узел и отнести в раковину, — а потом он прибавил: — Там у нас в буфете есть капелька бренди, и я предлагаю выпить по чарочке в честь того, кто устроил нам этот праздник.

Мистер Радж сконфузился и просиял.

— Нет-нет, — зарделся он, — мне самому это в удовольствие, не надо тостов, а то я со стыда сгорю.

— Рано или поздно это произойдет, — подмигнул викарий, — все сгорим в пекле, включая меня. Я тоже кандидат. Чертовски хороший кандидат в пекло, — поправился он.

— В христианстве очень много крови, — сказал мистер Радж, — кровь агнца. Зачем человеку омываться в крови ягненка? Кровь — это то, от чего надо отмыться, а никак не то, в чем следует омываться.

— Давайте, — на этот раз смутился викарий, — обойдемся без богохульства, прошу вас. Ах, вот и огненная Иппокрена[2], — произнес он, принимая мерцающий наперсток бренди из рук отца, — спасибо, Денхэм.

— Ну, — сказал отец, — понедельник вроде бы не тот день, когда рассчитываешь на банкет, пир и тому подобное, осо-

1. Евангелие от Иоанна. 8:12.
2. "О Иппокрены огненной струя" — цитата из "Оды соловью" Джона Китса (перевод Г. Кружкова).

бенно понедельник после полудня с бельевой сушилкой у камина. Но наш друг устроил так, что, по крайней мере для меня, этот понедельник станет незабываемым понедельником. И не думаю, что викарий пожалеет о пропущенном сегодня гольфе, поскольку уже стемнело. Так или иначе, наш друг показал мне, что я еще не настолько стар, чтобы чему-то поучиться. Во всяком случае, я благодарен ему за то, что он сделал, и надеюсь, это не в последний раз. Итак, я пью за вас, мистер Эр, как, повторите еще?

— Радж, — сказал мистер Радж.

— Радж Капур вам не родственник? — поинтересовался викарий.

— Истер Адш, — просипел я, поднимая рюмку.

Мистер Радж встал, чтобы ответить.

— Уважаемый председатель, уважаемые джентльмены. Нет смысла долго распространяться, какое для меня неоценимое наслаждение почтительно доставить удовольствие, пусть маленькое и нестоящее, старому господину Денхэму и молодому господину Денхэму, а также, пусть неожиданное, но все равно удовольствие мистеру Чертовски, представляющему здесь англиканскую церковь. — По безмятежному лицу мистера Раджа было видно, что он и не думал кого-нибудь обидеть. — Я прибыл в вашу прекрасную страну... — В окно мистер Радж видел голые угольные ветки на фоне угольно-грязных облаков, растекающихся за контуры друг друга, одиноко клюющих птиц, связку газометров вдалеке. — ...в вашу прекрасную страну, да-да, — повторил он дерзко. — Я приехал сюда, чтобы изучать невыразимые, не поддающиеся определению проблемы расовых взаимоотношений. До сих пор моя деятельность была довольно сумбурной. Драки и оскорбления, полное отсутствие сексуального общения — столь необходимого мужчине в расцвете сил — и невозможность обрести жилье сообразно социальному статусу и научной квалификации. Однако я увидел, как прекрасны ноги ваших женщин в нейлоновых чулках и обрел дружбу двоих мужчин, старшего и младшего, перед которыми я всегда буду преклоняться. Пусть это и станет наиважнейшим уроком, — тряхнул головой мистер Радж. — Это возможно вдвойне, вопреки чрезмерному давлению, осуществляемому без всякой причины демагогами и на Востоке, и на Западе. Сердечнейшие взаимоотношения между расами могут, должны и восторжествуют в мире отчаянного расового противостояния. И с этим, — заключил мистер Радж, — с этим я иду к вам.

Он выпил бренди и сел.

— Вот это правильно! — сказал отец.

Он легко откашлялся, глаза его блестели. Викарий сказал:

— Значит, сегодня гольф отменяется.

— Уже темнеет, — сказал отец, — скоро уже чай пора будет пить.

— Мой гандикап — двенадцать, — сказал скромник мистер Радж.

— Неужели? — сказал отец. — Двенадцать, а? Хорошее среднее значение, очень хорошее.

Викарий сказал, что раз гольф не состоится, то ему лучше пойти навестить больного, и откланялся. Отец вызвался проводить его до моста. Мистер Радж, оставшись наедине со мной, сказал:

— Этот человек не самый лучший образчик христианского священнослужителя. Чертовски то, чертовски это. Зачем он так часто использует это слово, мистер Денхэм?

— Не знаю, в самом деле не знаю, — я был уже совсем безголос.

— Пожалуй, — сказал мистер Радж, — если вы чувствуете себя хорошо, и у вас есть силы, мистер Денхэм, то я оставлю мытье посуды вам. Это отнюдь не лень с моей стороны, и, если пожелаете, можете оставить посуду до утра, а утром я, встретившись с профессором социологии, приду и с готовностью исполню эту работу сам. Впрочем, в таком случае, вам придется помыть пару тарелок сегодняшнего ужина для завтрака утром. Я задействовал все, — сказал он гордо. — Но, мистер Денхэм, у меня были планы на день и на вечер. И в эти планы вы, здоровый или больной, не очень вписываетесь. Я собираюсь сегодня увидеться с миссис Элис, с этой безмужней дамой из клуба и пригласить ее составить мне этим вечером компанию в университетское Общество любителей кино. Это единственная, — сказал он, — единственная возможность. Необходимо установить настоящий контакт, мистер Денхэм, ради будущего моих исследований и, — прибавил он, чуждый всякого ханжества, — ради прочих надобностей. Упомянутый мной фильм, кстати, как ни странно, индийского производства — про двух братьев-близнецов, влюбленных в двух сестер-близнецов, и путанице, которая возникает в связи с этим.

— Она может отказаться, — сказал я.

— Она может, мистер Денхэм, но она не сможет отказываться вечно. Ни одна женщина не может вечно отказывать, как вы и сами знаете, мистер Денхэм. Я очень много, — улыбнулся мистер Радж, — могу ей дать.

Я не сомневался в этом ни минуты. После пышного отбытия мистера Раджа я принялся за мытье посуды. Я не домыл

еще три-четыре тарелки и пару кастрюль, когда вернулся отец. Он не кашлял.

— Милейший паренек, ей-богу. Так чудесно готовит, так здорово говорит и такой добрый. У него большое будущее. Я столько нового узнал сегодня, — сказал отец, облокотившись на кухонную плиту. — Волшебная штука, этот карри. Мне надо бы получше приглядеться к Востоку. Полагаю, если он поселится здесь, то будет каждый день так куховарить?

— Ему, конечно, надо заниматься своими исследованиями. Но он может.

— Отличная штука, ей-богу. Ты знаешь, что я весь день не кашлял?

Глава 11

Только от меня зависело, когда я улечу или отплыву в Токио. Фирма заказала мне билет с предварительной датой на начало третьей недели отпуска в феврале — Лондонский аэропорт, четверг, 7:00, Токио 9:15 — но, еще не избыв привкус Коломбо во рту и не рассчитавшись с невероятной простудой, которая дышала всей сырой капустной сутью зимней Англии, я решил убраться, как только смогу. Это и не был отпуск в прямом смысле слова. Тем более, чем скорее я отсюда уберусь, тем скорее мистер Радж сможет вселиться. Я хотел помочь и отцу, и мистеру Раджу: за отцом будет кому присмотреть, мистер Радж будет лишен возможности умолять Элис Уинтерботтом принять постояльца. Мистер Радж просто не мог понять, что так нельзя вести себя в провинциальной Англии, и я не хотел, чтобы у него были неприятности. Но мистер Радж обладал выдающимися, поразительными способностями попадать в неприятности, ни одному гению такое и не снилось, причем в неприятности, необоримые никакими добрыми намерениями.

Я позвонил Райсу в Лондон и попросил его как можно скорее зарезервировать для меня морской рейс. К концу недели у меня уже был билет, багажные наклейки, план корабля с отметкой моей каюты в первом классе и инструкции на разных языках — посадка в Саутгемптоне через неделю. Корабль был голландский и назывался “Koekoek” (“кукушка” по-голландски). Он заходил как в обычные места, так и в неслыханные и сомнительно звучащие порты Индонезии, и должен был доставить меня в Токио в начале последней недели февраля, что мне почти подходило.

Эта неделя с простудой оказалась неделей достижений, но не для кашляющего и пялящегося в телевизор меня.

— Карри, вот что тебе надо, — сказал отец, кивая на мою трубную носоглотку, весь вечер страдальчески извергающую содержимое в носовой платок. — Ничто не устоит против карри.

В то же время мастер по приготовлению карри мостырил новое искусство — а именно познания белой женщины. Он навестил меня утром в среду, взгляд его тающих глаз горел новым благочестивым светом.

— Это крайне новый опыт для леди, мистер Денхэм, общаться с культурным и просвещенным человеком, — поведал он мне. — Правда, несведущие студенты бросали всякое в киноэкран, и пришлось три раза остановить показ, но я представил ее профессору А. Р. Флаксману, чья жена эскимоска, и профессору Дулфакиру, пришедшему с англичанкой, с которой он обручен, леди намного старше его, но он не очень приятный человек, и, полагаю, я убедил ее в том, что новый подход к расовым отношениям вполне возможен. Потом мы выпили с ней кофе и побеседовали с аспирантами всех рас, потом я проводил ее домой и снова молил принять меня на поселение за плату, но она была, мистер Денхэм, так же очаровательна, как и непоколебима, отказывая мне.

Я сообщил, мистеру Раджу, что не исключаю согласия отца на его вселение в мою комнату после моего возвращения в Японию. Оплата будет не чрезмерна — валютой карри. Мистер Радж только что на колени не упал.

— Где он? — вскричал он. — Где этот добрый человек, ваш отец? У него будет карри на завтрак, раз он так желает, и к послеполуденному чаю тоже. Где он, чтобы я мог заключить его в объятия?

Я сообщил мистеру Раджу, что отец отправился на выставку садового инвентаря в Муниципалитете. Еще я сказал, что, учитывая возраст и кашель отца, ему будет вредно подвергаться напору ветра восточной благодарности. Я передам сдержанную признательность мистера Раджа, а мистер Радж может начать коллекционировать ингредиенты для карри. Мистер Радж сказал:

— Уже, мистер Денхэм, я начинаю чувствовать, что принят. Я чувствую в самом деле, что недалек от абсорбции. Но, мистер Денхэм, я должен сохранить, и любой ценой, научный дух непредвзятости. Моя работа, мистер Денхэм, моя работа должна быть на первом месте.

Мистер Радж попытался подпустить в глаза лихорадочной дымки интеллектуального фанатика, но ничего не получилось. То, что очевидно вздымалось внутри мистера Раджа, было чем-то более земным — он гладил и гладил гладкую руч-

ку отцовского кресла, он трогал вазу, он застенчиво поглядывал на красоток с календаря над каминной полкой ("С уважением от Фреда Тарра и сына — радио- и телемастеров. Починяем электричество и производим любые подключения"). Именно тогда мне следовало унюхать беду, но насморк убил обоняние.

Второе достижение настигло меня в пятницу, и случилось это с Уинтерботтомом. Я получил от него письмо без обратного адреса, на случай если попадет не в те руки, — писал он, — и касалось оно конкретно его зимнего пальто. Дела его не так уж плохи, он обо всем позаботился. Он заплатил первый взнос, купил подержанный пресс и установил его в том самом месте, о котором рассказывал, и Имогена начала чуть-чуть зарабатывать, в основном работая по вечерам. Они живут на новом месте, поначалу сыроватом, но в остальном вполне подходящем, пока что всего два дня, и, конечно, он еще не начал работать в полную силу, но, может, меня заинтересует приложенное. И он искренне мой. Приложение оказалось оранжевого цвета листком бумаги дурного качества, на которой не очень искусно было отпечатано следующее:

ТИПОГРАФИЯ УИНТЕРБОТТОМА
ГИЛЛИНГХАМ-СТРИТ, 19, У-14
Печать Высокого Качества. Шапки на Фирменных Бланках, Визитные Карточки, Газеты, Меню, Брошюры и т. д.
Попробуйте — и Вы Найдете Наши Цены Вполне Приемлемыми.

Чертов дурак, не хочет, чтобы его адрес попал не по адресу, но, тем не менее, ему нужно зимнее пальто. И вот он, адрес, жирным шрифтом типа "Модерн 1884", неуклюже выставленный напоказ для всего мира дрожащим бородатым Уинтерботтомом, оранжевый листопад на лондонских мокрых осквернённых улицах. Но, думал я, они с Имогеной не так расторопны в начинаниях, как следовало бы. Я ожидал, что они используют подаренный мною чек, как предлог, чтобы подольше оттягивать вступление во взрослую жизнь — долгие ленивые утра с шоколадом под подушкой и множество шиллингов за газ ("У нас все еще осталось десять фунтов, и мы запросто продержимся еще неделю или даже, может быть, две"). Стало быть, им пришлось начать в ту же субботу, когда я уехал в Мидлендс. Но подозрительная "вечерняя работа" Имогены мне не нравилась, поскорее бы Уинтерботтом нашел что-нибудь получше для обоих. Мистера Раджа, без сомнения, можно подбить на несколько тысяч визиток, и, возможно, викарий-богохульник уговорит свой приход

воспользоваться услугами лондонского наборщика. И Эверетт поможет своей заблудшей дочери, производя страницы стихов. И Тед Арден мог бы раздавать друзьям экземпляры книги "Что тори сделали для рабочих" — уж эта-то типографская работа явно не истощила бы ресурсы Уинтерботтома. Селвин может подумать о брошюре с пророчествами сивиллы. В самом деле, возможностей для "Типографии Уинтерботтома" было хоть отбавляй.

А вот пальто — дело другое. Я мог бы послать Уинтерботтому пять фунтов на подержанное пальто. Я определенно сэкономил пять фунтов, по крайней мере, за эту неделю, не пьянствуя. Мне было слишком стыдно идти в дом Элис Уинтерботтом, ведь существовал определенный риск, что она швырнет мне целый гардероб. Даже если бы я не костерил прелюбодейство однажды пьяным вечером, оказаться на стороне двух серьезных прелюбодеев против одной легкомысленной мне никак не хотелось. Я уважаемый бизнесмен, и уважаемые гейши дожидаются меня в краю звенящих цветущих вишен сказочной Державы Чипанго.

К воскресенью я чувствовал себе значительно лучше, но еще недостаточно хорошо, чтобы пойти к Берил на последний и, вероятно, церемониальный ланч, может даже с напыщенными фальшивыми тостами и отдающим квасцами вином. Когда мистер Радж предложил приготовить большой и разнообразный второй завтрак — в благодарность за его решение, внушающее благоговение, — отец боролся с сильным потоком слюны и заколебался, бедняга. Но долг победил, и он отправился к Берил за очередной порцией диспепсии. Однако никаких иных событий не ожидалось, следующий месяц отправит Морганов в Танбридж-Уэллс, дом их, если не продастся до отъезда, останется в руках агента по недвижимости. Так что, уже почти сидя на чемоданах, я ощущал, что оставляю за собой что-то вроде стабильности, хоть и редко достигаемой. Голову сломишь, подсчитывая элементы, составлявшие эту стабильность (карри, прелюбодеяния, тромбоз, борода, куча старых шрифтов), но все это время я сохранял строгий макиавеллиевский взгляд на порядок — я все еще не слишком хорошо усвоил уроки Востока.

В понедельник я послал чек Уинтерботтому; в среду я получил ответ от Имогены — неожиданно милым испуганным почерком на линованной бумаге, смягчившим ее свирепые слова:

Ах, ты, дрочила недобитый (если хочешь сделать что-нибудь эдакое, то ты можешь). Типично для тебя, не так ли, искать путь

полегче? Ты не станешь добывать для Билли его сраное пальто, и бедный шельмец сдохнет от желания его заполучить, ведь у него сентиментальные чувства к этому пальто, потому что это было первое, что он сам себе купил, но тебе насрать на это. И все что ты делаешь, это стараешься сдрыснуть, засунув руку — и не слишком глубоко, заметим вскользь, о нет, и никогда в твоей сучьей жизни — в свой жирный карман, послав еще один клочок презренного подаяния. У тебя вроде даже не хватает клепки сообразить, что эти пять фунтов просто сраное оскорбление. Хочешь помочь — помоги. Если хочешь сделать то, о чем тебя просят, делай. Но никогда не позволяй себе эти сраные, ничтожные, мелочные оскорбления, которые ни два, ни полтора. Да, если хочешь знать, я могу заработать вдвойне, вообще палец о палец не ударив, я не ленюсь выходить по вечерам. И я не шалава, как ты подумал своими задроченными мозгами, в которых одни только расплющенноносые яванские и японские девки или кто там еще, — мне это честно пофигу. Я просто беру то, что мне причитается, за то, что эти кобели созерцают мои ноги, вскипая. И поделом им, оставленным там с высунутыми языками, и недоумевающим, куда все делось? И это не мошенничество, что бы вы там ни думали, но возмездие — за дела их. Если хочешь помочь, помогай. Но ты же явно не хочешь, будучи тем, кто ты есть. Я напишу папочке и попрошу его выдрать сраное пальто Билли. Он, по крайней мере, мужик.

Ни “здравствуйте” тебе, ни “до свиданья”. Я полагаю, в какой-то степени Имогена была права, но я не понимал ее ярости. И оспаривал в душе этическую сторону того, что несомненно совершала Имогена. Оставь в стороне сексуальную мораль и увидишь надушенное циничное правонарушение, разорванный контракт. Но Уинтерботтом, который явно знал, что она делает, сказав: “Будь осторожна, дорогая!”, несомненно мог прибавить: “Пусть все эти развратники будут наказаны”. Он видел, как его жена регулярно отдается Джеку Браунлоу субботними вечерами, и что он, Уинтерботтом, хоть когда получил с того? Да дырку от бублика. Ах, отвратительная, растленная, преследуемая телевидением Англия.

Которую теперь я с облегчением начал покидать. Я зарезервировал билет первого класса в Саутгемптон у “Дина и Доусона”, и тамошний клерк по каким-то причинам обеспокоился, что я не беру обратный билет. Мой чемодан, отмеченный наклейкой с большим красным “Д” для грузового трюма, агентство по перевозкам заранее отправило в Саутгемптон, саквояжи были почти собраны. За день до отъезда поднялся искупительный ветер, прошел дождь с градом, и появился мистер Радж с передовым отрядом своего багажа и продуктами для прощаль-

ного карри, потрепанный, но все еще восхваляющий Англию мистер Радж. Карри был подобен исполнению Девятой симфонии Бетховена, которую мне довелось однажды слышать из усилителя, созданного персоналом Королевского общества инженеров-электриков и механиков, особенно последней части ее, где все кричит и бабахает — "К радости". И это потрясало, заставляло страшиться великого искусства. Отцовскому кашлю нечего было высказать после трапезы. Отец сидел в кресле, скорее опустошенный, чем наполненный, и трепетно раскуривал свою трубку, напоминая престарелого заслуженного литератора, которого не воспринимают, как слабоумного, несмотря на заикание и пустое выражение лица, — ведь в конце концов все читали прекрасные труды его зрелости. Отец мой, фигурально выражаясь, обессилел от еды.

Мистер Радж, согревая в длинных ладонях купленный мною бренди, произнес длинную речь. Он превозносил Денхэмов, старшего и младшего, их прошлое, настоящее и будущее, Британское Содружество, "План Коломбо", безымянный пригород, чьим обитателем он станет уже завтра, город, городской университет, красные городские автобусы, несозревших девочек и зрелых женщин, нейлоновые чулки, белокурые волосы. Уютный предвечерний сумрак сгущался, приближая его финальное слово (а что это за слово, можно было только гадать — Денхэм? Англия? Содружество? Раса? Красота? Дом? Шекспир?)

— Итак, — сказал мистер Радж, — я несу вам любовь. Да, любовь,

Он самодовольно ухмыльнулся в полумраке, над отзвучавшим оркестром блюд.

— Мир еще существует, потому что есть Любовь. Нам не нужно бояться, никогда, если мы в наших сердцах, если мы даем и обоюдно получаем величайшее человеческое сокровище. *Любовь.*

И потом нам пришлось выпить, сконфуженно бормоча "Любовь". Мистер Радж настоял, что сам вымоет посуду, Нет, сказал он, это ваш последний день в Англии, и он не может быть осквернен такими низкими делами, и не будить же ради этого доброго старика, вашего храпящего отца, измотанного и спящего у камина, одурманенного фенхелем, стручковым красным перцем и куркумой, тарагоном, шафраном, и тертыми базиликом и лавровым листом.

И когда он закончил мыть посуду, то серьезным тоном попросил меня пойти в гостиную для разговора.

Сев перед камином, он сказал:

— Я понимаю всецело, мистер Денхэм, всю природу ответственности, возложенной на меня. Я буду оберегать старого

храпуна, уверяю вас, до последнего вздоха плоти моей. Когда вы вернетесь, я представлю его вам целым и невредимым. В болезни он будет присмотрен мной и растущим сообществом индийских студентов-медиков, искусных в медицине и науках. Он будет накормлен, я обещаю вам. Я буду лично оберегать его сон. Да не убоитесь, мистер Денхэм, ибо силы мои велики. И, мистер Денхэм, я обладаю оружием.

Мистер Радж вытащил из кармана маленький автоматический, отделанный жемчугом изящный дамский пистолет — тот самый "сердцеед".

— Откуда он у вас? — удивился я. — Это же пистолет Теда Ардена.

— Да, — засмеялся мистер Радж, — правильно, недели две назад, когда подтиральщик в баре притворился, что целится в меня, я отобрал пистолет и забыл вернуть вашему другу, хозяину паба. Но никто и не просил. У него много оружия, он и не заметит. А у меня, мистер Денхэм, много врагов. Мистер Браунлоу и молодчики с тонкими галстуками в башмаках на толстых подошвах. И, несомненно, все остальные. Человеку из Азии здесь приходится нелегко. Но, мистер Денхэм, у меня никогда не будет причины применить его. У меня пока что и патронов нет.

Он приятно рассмеялся, обнажив крепкую пару двойных вееров цвета слоновой кости — все в большом красном азиатском рту, непревзойденные линии от резцов до коренных зубов. Он спрятал пистолет, невинно гордясь им, в карман пиджака.

— Защита, мистер Денхэм, для вашего отца и для меня.

— Вы бы лучше вернули его, — сказал я, — тем более что у вас нет разрешения.

— Я не краду его, мистер Денхэм. Только одалживаю. Только чтобы напугать, в чем, надеюсь, никогда не возникнет надобности. Вечерами мне придется много гулять и, надеюсь, с дамой. Черный мужчина, гуляющий с белой женщиной, должен быть вооружен, мистер Денхэм. В городе много глупцов. Я вижу, что моя диссертация "Распространенные концепции расовых отличий" будет объемной работой.

Глава 12

Беспредельное английское небо горько лило слезы на многочисленные суда Саутгемптона. Я взошел на "Koekoek" и обнаружил, что тот проголландился насквозь — этакая кошмарно-

веселая пародия на Англию. Я вошел через "DEK C"[1] и, у каюты с подсвеченной натрием вывеской "Hofmeester"[2], был встречен красивыми сдобными людьми в голубом, так хорошо говорившими по-английски, что, когда они между собой вдруг переходили на голландский, становилось не по себе, будто наяву видишь хитроумных марсиан Рэя Брэдбери в человечьих обличьях. Ибо голландский, хоть и похож на разумный язык, на слух таковым не кажется или, как заметил Гулливер, это самый подходящий язык для говорящих лошадей. Ведомый к моей kajuit, я перешагивал через сидевших на корточках бронзовых мальчиков — опивки индонезийских портов, и мне был выделен собственный мальчик — горбатый, одноглазый. Коварно ухмыляясь, он сообщил мне свое имя — Tjoetjoe. Звучало это, как Чучу. Каюта оказалась просторной, в форме буквы "г".

— Boenga, — сказал Чучу с хитрым смехом, указывая на букет на койке.

Да, цветы были от мистера Раджа, белые и желтые нарциссы из Сицилии. И прощальная записка, выведенная паутинным почерком — bon voyage, и в каждом порту меня будет ждать открытка.

— Boenga, — сказал Чучу, подразумевая цветы, — o, boenga, boenga.

Я дал ему нарцисс на его плисовый картуз, и он ушел, крайне удивленный. Потом я услышал отчетливые звуки индонезийской драки за обладание состоянием, краткий собачий рык. Голландский стюард в очках немецкого студента прошел мимо, с торопливым ржанием раздавая оплеухи. Я закрыл дверь каюты и распаковался.

Корабль оказался не так уж плох, пусть ему и не хватало величественной эксцентричности некоторых британских судов, на которых мне доводилось плавать. Не хватало пьяного дирижера оркестра, оравшего танцующим: "Нет, мы играем последний собачий вальс, и проваливайте к чертовой матери". Не хватало буфетчика, чтобы сказать: "Вы что, ни хрена не ели вчера вечером? Только наклюкались?". Не было лабиринта амурных интриг среди пароходной команды, выдававшей себя на палубе томными улыбками и ревниво насупленными бровями, не было истопников, надевавших смокинги в полночь. Только крысиная жизнь индонезийцев, доносившаяся через люки и кричащая из канализационных труб — ра-

1. Палубу "С" (*голл.*).
2. "Старший стюард" (*голл.*).

порт о поножовщине, кипяток, вылитый на нелюбимого палубного стюарда, дикие, еще доисламские обряды с жертвоприношениями животных.

Два бармена с марсианскими именами — Туун и Маас — были чересчур усердны, знали любой существующий на земле напиток и даже умели приготовить ужасные чай и кофе. Ни разу не видел, чтобы они трудились без души. Потягивая перед ланчем "буравчик"[1], я ностальгически вспоминал барменов с других судов европейских линий — жирного Билла Пэйджа, всасывавшего по два ящика крепкого портера каждое утро, Дика Карстерса, который всегда вываливался из катера в Адене, Боба Как-Там-Его, который удавил кого-то в Порт-Саиде после бренди и темного пива. А голландцы эти были слишком натасканы, слишком педантичны.

Пассажиры оправдали ожидания — возвращающиеся плантаторы и государственные чиновники с утомленными солнцем женами, стеснительные мальчики, плывущие работать в банках, храбрые медсестры, новые люди после раздела, узники Бомбея, пившие по-черному, памятуя об ожидавшем их в Индии "сухом законе", пара молодоженов, познакомившихся благодаря звучной должности "по водоснабжению Востока", — для них это путешествие было медовым месяцем. На третьем "буравчике" громкоговорители рявкнули, что мы должны выстроиться на палубе "А", где с тевтонской педантичностью между нами распределили места в столовой. Меня усадили напротив молодоженов, а старый щетинистый моноглот швед оказался рядом. Паре хотелось хихикать и ласкать друг друга, так что, поедая пересоленный суп, я обратился к шведу:

— Hur står det till?[2]

Он ответил, что хорошо, спасибо. Он передал мне перец и я сказал:

— Tack[3].

— Ingen orsak[4], — ответил швед.

А больше я по-шведски почти ничего не знал, кроме "Vad är klockan?"[5] — вопроса чрезмерного, как громадные часы из фильма Фрица Ланга[6], которые набрасывались на каждого,

1. Коктейль, состоящий из джина и сока лайма (иногда с добавлением сахара).
2. Как дела? (*шведск.*)
3. Спасибо (*шведск.*).
4. Не за что (*шведск.*).
5. "Который час?" (*шведск.*)
6. Фриц Ланг (1890–1976) — немецкий кинорежиссер, с 1934 г. живший и работавший в США. Один из величайших представителей немецкого экспрессионизма.

кто входил в двустворчатые двери. Пара разрумянилась и глупо усмехалась, глядя друг на друга, вспоминая что-то недозволенное; они оба были такими худыми, словно их источила чистая любовь. Я подумал о Чарли Уиттиере, потом об Имогене и Уинтерботтоме, а потом о мистере Радже, вот интересно, много ли он узнал от Элис о расах и расизме? Все они казались уже далекими, хотя мы еще стояли в дождливом Саутгемптоне.

Но от мистера Раджа надолго не удалишься. Его голос жил в голове, словно черные свистящие драконьи хвосты, хлеставшие нас в Бискайском заливе. Мне показалось, что я слышу его утешительное: “Скоро, мистер Денхэм, вы уйдете в более чистые моря и к более спокойному желудку”.

Под пяткой Франции появилось квадратное лицо Португалии, и я вообразил, как мистер Радж говорит: “Лиссабон — это нос Португалии, мистер Денхэм. Репутация Португалии удушливо смердит на Цейлоне. Расовая нетерпимость и навязывание христианства, мистер Денхэм”.

Мы доплыли до Средиземного моря, разлученных губ Африки и Испании, а почту взяли на борт в Гибралтаре. Там была открытка от мистера Раджа — глянцевая картинка с изображением дома, где родился Шекспир, и вопрос от неутомимого вопрошателя: “Как вы полагаете, разве любовь исключает вожделение плоти у мужчины и у женщины? Я был бы признателен за быстрый ответ. Ваш отец кушает хорошо”.

Я послал короткое сообщение на обороте картинки с видами кораблей, адресуя отцу мой горячий привет, а мистеру Раджу — осторожное мнение, что все это зависит от обстоятельств и что отвечу подробнее из Порт-Саида.

Однажды на пути к Порт-Саиду я гулял на прогулочной палубе и встретил моего шведского сотрапезника. К моему удовольствию он спросил:

— Vad är klockan?

Я взглянул на часы, они показывали без двадцати четыре, но я помнил по-шведски только “без четверти пять”.

— Klockan är en kvart i fern, — ответил я, и он умчался, поскуливая по чуть не упущенному чаю.

Для меня жизнь протекала почти так же блекло, как в отпуске, но стала гораздо теплее. Хотя не было и проблеска для начала корабельного романа, а в библиотеке присутствовали в основном Нэвил Шют[1] и А. Д. Кронин, бармены полагали,

1. Нэвил Шют Норвей (1899—1960) — английский писатель и авиаинженер; наиболее известное его произведение — постапокалиптический роман “На берегу” (1957), экранизированный в 1959 г. американским кинорежиссером Стэнли Крамером.

что беседы с посетителями нарушают субординацию, а палубных игр я не переношу. Но в Порт-Саиде меня ждала фотография креста на рыночной площади в Банбери, а на обороте краткая и срочная депеша от мистера Раджа: "Крайне важный вопрос. Необходимо узнать, возможна ли любовь без чувственного желания. Ответьте обстоятельно".

Обозревая мрачный горизонт Порт-Саида я заметил, что статуя де Лесепса[1] исчезла, и почувствовал черную враждебность к жирным кольчатым египтянам, которые штамповали паспорта в баре второго класса. На берегу вечером ко мне пристал драгоман, египетский бочонок в пальто шоколадного цвета. Карточка представляла его, как Мохамеда Камала Абула Хера, но он попросил: "Называй меня Джок". Не было языка, которого он не знал бы, и вдобавок он владел семью прилежными английскими диалектами. Куда бы мы ни шли, везде висели портреты Старшего Брата — Президента, а в витрине с фотографиями школьной гимнастики я прочел: "Современный Египет. У нас никогда не унывают". Настроение мое слегка приподнялось.

Я пил пиво "Стелла", а Джок, соответственно, скотч в ночном клубе — отюрбаненные официанты, сирийские сводники в американских костюмах, две луноликие хозяйки по имени Паллада и Афродита, разлагающийся французский оркестр. Пассажиры мужского пола материализовались там же, внезапно обретя говяже-красный цвет лица и чавкая. Под аплодисменты и барабанную дробь закружился и заколыхался живот плясуньи-гречанки — охровый, складчатый, дендросоматический. С неподвижной казеозной улыбкой она потрясла телесами в такт музыке и принялась взгромождаться на столы. Мне стало страшно, я совсем не хотел, чтобы она взгромоздилась и ко мне.

— Бумагу, — попросил я Джока, — бумагу, скорей. Мне надо написать кое-кому.

— Кертас! — крикнул Джок официанту (ну или что-то подобное).

Принесли блокнот с листами в линейку, и я начал писать мистеру Раджу. Я писал в бешеной сосредоточенности, прислушиваясь, словно к шторму, к надвигающемуся танцу живота: "Вы подразумеваете платоническую любовь. Я не думаю, что это возможно между мужчиной и женщиной, если у них

1. Статуя Фердинанда де Лесепса (1805—1894), французского инженера, руководившего строительством Суэцкого канала, стояла у входа в канал; в 1956 г. была убрана по приказу египетского президента Гамаля Насера, что символизировало национализацию канала Египтом.

не огромная разница в возрасте, препятствующая сексуальному влечению, — и то сомнительно, или в том случае, когда кто-то из них обладает прекрасным умом, но уродливым телом. — Плясунья извивалась уже за два стола от нас. — Я полагаю, что вы задаете этот вопрос не из абстрактного любопытства, а на самом деле испытываете то, что кажется вам любовью. И скажу вам вот что — берегитесь. Не входите в слишком тесные отношения ни с кем. Я думаю, что женщина, о которой...” — И вот эта долбаная гастротерпсихора уже взобралась на мой стол и жирной голой ногой трепала меня под подбородком. Я поднял глаза, слыша вокруг говяже-красный смех. За милю надо мной возвышалась мясистая гора ее пуза, еще милей выше — пара выщипанных подмышек. Я был застигнут на воздевании взора в процессе нечаянного поклонения. Потом эта женщина сбила ногой мой наполовину полный бокал с пивом “Стелла”, залив письмо мистеру Раджу и окатив мои колени мокрым холодом. Все это было весело и должно было приниматься с благодушием, как настаивал говяже-красный смех, как требовал улыбчивый портрет Насера. “У нас никогда не унывают”.

Так или иначе, письмо мистеру Раджу не было отправлено из Порт-Саида. Я отплатил Джоку множеством полукрон и пиастров, и он с чувством облобызал мне руки. Британец, прошептал он, всегда будет ему другом. Потом я вернулся на корабль, готовый к Суэцу и Красному морю. На верхней ступеньке сходней я встретил лохматого старину шведа, он пытался провести на борт пожилую арабскую проститутку, звенящую браслетами, и рыжебородый ночной вахтенный в ортопедическом ботинке сказал ему, что это невозможно.

— Omöjlig, — сказал я, что означало “невозможно”, и швед решил, что это шутливый намек на его почтенный возраст.

С тем я их покинул, ушел в каюту, поспал, и Чучу принес утренний чай, когда корабль тащился сквозь пейзаж, означавший, что мы уже в Канале.

— Роемпёт, — сказал Чучу, указывая на траву, — дьям — сказал он, когда мы прошли в дюйме от башни с часами. Жизнь казалась ему чудом.

В Красном море, с его громовыми холмами Яхве и с его чертовыми каменными скрижалями тяжко грохочущего закона, я поближе познакомился с миссис Торп — половинкой медовомесячной пары. Другая половинка болела в каюте, съев в Порт-Саиде что-то несъедобное. Престарелый швед только что не рычал на меня, даже не говорил “Tack”, когда я передавал ему уксус. Так что меня прибило к миссис Торп. Сначала во время трапез, а потом и на палубе, и в холлах. Ее,

сказала она, зовут Линдой. Несмотря на худобу, Линду нельзя было назвать неаппетитной. В своем вечернем платье пламенной окраски она и извивалась, как пламя.

За обедом я спросил ее:

— Как он, получше?

Старший корабельный состав надел обеденные кители, на галерее играло трио, после обеда ожидались танцы.

— Доктор, — ответила она, — полагает, что его следует поместить в изолятор на пару дней. Его все время рвет. Я совсем не сплю.

— А раньше вы спали больше?

— О да, — откликнулась она. — Как бревно. Ой, я поняла, что вы имеете в виду, — хихикнула она.

Престарелый швед с кислой миной изучал меню сверху донизу, словно расписание поездов.

— Ну нельзя же такое говорить, — смутилась она.

Будь у нее веер, она бы игриво хлопнула меня им по руке. Трио играло Роджерса и Хаммерстайна[1]. Миссис Торп усердно поглощала каждую перемену блюд, снаружи мрачный и беспощадный скалистый библейский край сверкал и пророчествовал. Я заказал еще вина. Бесплатный напиток на древесном спирте, поданный после обеда, пить было невозможно, так что для себя и миссис Торп я попросил “Гран Марнье”. Мы успешно продолжали обживать приятный вечер, и во время танца у спасательных шлюпок (ну почему всегда эти шлюпки?) я поцеловал ее.

В основном именно краткий спазм интереса к миссис Торп помешал мне написать еще одно письмо, на этот раз не подмоченное пивом из-за пузатой плясуньи, чтобы потом отослать его мистеру Раджу из Адена.

Мистер Торп все еще усердно выздоравливал в изоляторе, когда корабль приплыл в Аденский залив, и мы с миссис Торп провели последний уютный день вместе, делая покупки в аденских лавчонках, выпивая в аденских барах. На берегу я получил письма. Отец сообщал, что ест как лошадь, кашель лучше, мистер Радж хозяйствует прекрасно, но не ложится допоздна. Мистер Радж писал пространно и обличительно, на этот раз без глянцевой мишуры открыточных видов: “Ни разу, мистер Денхэм, вы не ответили на мои запросы о люб-

1. Композитор Ричард Роджерс (1902–1979) и поэт-песенник Оскар Хаммерстайн II (1895–1960) (часто их вместе называли просто Роджерс и Хаммерстайн) составляли знаменитый авторский тандем 1940–1950-х гг., специализировавшийся в жанре мюзикла. Это партнерство считается наиболее успешным в истории Бродвейского музыкального театра.

ви, преступающей пределы требований тела. Я думал сначала, что вы слишком заняты, чтобы написать мне, но потом я вспомнил, что у вас на корабле полно свободного времени. Потом я подумал, что трудно отправлять письма, но и это не правда. И, наконец, я решил, что вы разозлились на то, что большинство белых людей сочтут наглостью цветного, рассуждающего о любви, позвольте высказать догадку, к женщине, но вы лишены расовых предрассудков. Так что мне остается думать, мистер Денхэм, что вы разленились и из-за лени не пишете вашим добрым друзьям. Ибо считаю себя хорошим другом Вам и этому почтенному старику. Мистер Денхэм-старший кушает очень хорошо. В прошлое воскресенье мы с ним играли в гольф, клюшки я одолжил. О, мистер Денхэм, я полагаю, что вся жизнь моя изменилась. Да, я полагаю, что влюблен. Но, следовательно, именно поэтому необходимо получить экспертное заключение, например, от Вас. У меня нет желания настаивать на плотском. Все что я прошу — это позволения быть рядом и благоговеть. И после того киносеанса в университете я не был способен пугать миссис Элис подобными домогательствами, в основном потому, что она сама не желает их принимать. Более того, она говорит: "А что скажут люди?" Пусть говорят, скажу я, ибо любовь скрывать нельзя. Все что я делаю, это хожу в "Гиппогриф", где она работает теперь до закрытия, нуждаясь в деньгах, хотя у нее теперь есть адрес мужа, и, конечно, это Ваш отец ей его дал, найдя его в рекламных объявлениях, Вам же и посланных, и она написала ему с просьбой вернуться и, прибегая к ее собственным словам, 'прекратить эти чертовы дурачества'.

Но скоро я наберусь мужества и попрошу ее забыть об этом никчемном человеке и, когда она обретет свободу после судебных отлагательств, выйти замуж за меня. Есть огромное множество прецедентов, я видел много мужчин чернее меня, даже негров, и, более того, даже представителей низших рас, сопровождавших прекрасных белых женщин и даже женившихся на них.

Мне пришлось снова побить мистера Браунлоу, на этот раз в туалете только для мужчин во дворе 'Черного лебедя'. Он сильно приболел после избиения, но, надеюсь, больше не создаст неприятностей. Погода все еще холодная. Пожалуйста, не ленитесь и напишите мне, скажите, что это настоящая любовь".

Я напишу, обязательно напишу, но сначала надо было решить вопрос билетов на катер и потом собственно взойти на борт его с миссис Торп, а потом мы с ней в Адене напились — я не на шутку, она шутя. Когда мы вернулись на судно, она

охотно пошла в мою каюту, но Чучу — темная совесть моя — спас меня от прелюбодеяния. У него были собственные ключи от каюты, и он вошел, неся мой вычищенный смокинг, чтобы увидеть миссис Торп и мистера Денхэма, спрыгнувших с койки в некотором смятении.

— Джигаджиг, — удивленно произнес Чучу, используя скромный интернациональный словарь, который, надо полагать, был ему путеводителем при увольнении на берег Роттердама, Саутгемптона и всех портов западнее Кутараджи.

И вот со стоном тяжеленного якоря корабль стал удаляться от берега, рулевой, которого мы встретили пьющим в Адене, пьяно рулил. В эту ночь он, вероятно, был вызван в *Kajuit 101* на пытки — протаскивание под килем вышло из моды.

Мистер Торп через несколько дней набрал жирку, ел энергично — изголодался по любви, а я постарался подружиться с престарелым шведом. Но мой шведский ограничивался приветствиями, прощаниями, вопросами-ответами о времени — отчасти — и словом "omöjlig", означавшим "невозможно". Но скоро стало omöjlig разговаривать за едой, да и во все остальное время. Потому что бомбейский контингент все надирался, и надирался, и горланил безбоязненные песни, вроде той, которая о христианах, брошенных к львам.

Вскоре я нашел сей контингент конгениальным и сам принялся шумно квасить с ними в баре и в разных каютах после закрытия. Утро, когда корабль причалил в Бомбее, было пьяным вдрызг — много шампанского без завтрака, — и в каюте, куда меня пригласили (бар закрыт, его содержимое запечатано), пробки летели в потолок фейерверком, и мир стал похож на выжженную по дереву картинку моей сестрицы — той, на которой пена и пузыри. В эту каюту и доставили почтительно открытку от мистера Раджа. Сообщение гласило: "Хорошо, не отвечайте. Но, может, вы больны или мертвы, в таком случае я вас не виню. Но знаю, что такая любовь возможна, так я ей и сказал. Ваш отец в порядке. Погода сырая и холодная".

На открытке был изображен Бленхеймский дворец. Кто-то рядом увидел это и сказал:

— Дом семьи Черчилля. Старина Винни. Славные были времена — девятьсот сороковые. Я был из немногих первых.

Теперь он был лыс, толст, как регбист, и глаза его наполнились слезами, когда в воображении своем он увидел потерянных однокашников.

— Славные времена, — повторил он, — а теперь взгляните на меня. Продаю слабительное узкоглазым и черномазым. О Боже, Боже, Боже.

Он заплакал. А свирепый мужик с шевелящимися бровями, несколько раз перечитав письмо мистера Раджа, свирепо зыркнул на меня с койки и спросил:

– Почему не ответить ему? Хоть это вы можете сделать, черт побери? И что он хочет узнать?

– О платонической любви, – ответил я. – Возможна ли она.

– Она невозможна. Все знают, что невозможна. Кто-то это доказал.

– И я должен ему это сказать?

– Да, скажите, черт возьми. Нет такой. Совершенно невозможно.

– Omöjlig.

Пробка выстрелила, взлетела, пена выплеснулась на ковер.

– Скажите ему это. То, что сказали. Если он хочет женщину, то есть один-единственный способ ее иметь.

– Вот тут я не соглашусь, – сказал честный малый вида ученого, светловолосый продавец фанерной обшивки. – Есть много способов. Как минимум триста шестьдесят пять, согласно некоторым индийским экспертам.

– Да-да-да-да-да-да, все знают об этом, мы были в Индии и все читали эти чертовы книги, но на самом деле способ один, в том смысле, если разобраться. Я хочу сказать, что вся эта болтовня и треп, что духовно и как быть, сводится к застенчивости или чему-то в этом роде, или нам просто боязно, как в детстве. – Свирепые брови выплясывали, что твои усы. – Скажите ему, – сказал он, – пусть оприходует ее.

– Я пошлю ему телеграмму, – уверил я. – Так и напишу.

– Да, так и сделайте. Звоните во все колокола. Возьмите телеграфный бланк и пошлите, так ему и скажите.

Часом позже разгоряченные люди, шатаясь, шли с песнями по сходням, хватаясь то за один поручень, то за другой. Замыкали шествие две монахини – черная укоризна всем нам. И всех проглотил мрачный Бомбей, а следом – мрачная Индия, лежащая за мрачными таможенными навесами и складами. И криптограмма, которая показалась мне наиболее уместной на сей раз, летела к мистеру Раджу: *Кто Однажды Познал Ужас Любовной Истомы Разве УЙмет Тоску Естества?*

Проснувшись в сушняке после полудня, я пожалел о содеянном, однако уповал на то, что мистер Радж извлечет какой-нибудь смысл из этой чепухи – все-таки цейлонская культура слишком серьезна для ребусов. Но, может, мистер Радж покажет телеграмму кому-нибудь, может – отцу, который привык предаваться раздумьям над типографскими строками. И я,

старый, добрый, безответственный Денхэм, бизнесмен средних лет, застонал, радуясь собственной шутке.

Сначала к судовому агенту в Коломбо, а уж потом ко мне пришла открытка с видом Коломбо — круг замкнулся.

Мистер Радж писал: "Я, после первой озадаченности, расшифровал скрытое значение. Хотя и не без огромной помощи индийского аспиранта по английской литературе, кстати, он полагает, что Шекспир — это другой человек с другим именем. Вы мудры, как всегда, мистер Денхэм. Западная культура учит нас, что важны и тело, и душа.

(Дальше места на открытке осталось мало, почерк измельчился). Последую совету, но мне нельзя спешить".

Мы уже продвигались к Восточным Индиям, и я, снова заскучав, сцепился с весьма безобидным голландским бизнесменом по поводу ужасов нидерландского правления на Востоке и, конкретно, Амбонской резни[1] семнадцатого столетия, в ходе которой были убиты британцы.

И вот мы сидим под вентиляторами в салоне, ржа и гавкая друг на друга, заказывая выпивку строго по очереди и по-братски ненавидя друг друга. История, подобно снегу, покрывает камни, которыми мы швырялись друг в друга, а тем временем великие восточные острова ползут мимо, и народ отправляется, кто домой, кто в ссылку, сойдя в маленьких портах, названий которых я теперь не вспомню. И вот нагрянул Сингапур. На этот раз по какой-то причине открытки от мистера Раджа не было, но объявился человек, которого я встретил в Коломбо, когда устраивал Уикера, и принес новости из дома. Новости эти касались любви, но лишь опосредованно.

Глава 13

Я никогда до конца не понимал, как я отношусь к Сингапуру. ("Koekoek" выделил мне день, чтобы снова прийти к такому же заключению.) *Сингапура* означает "город льва", поскольку допотопные, близорукие, говорящие на санскрите визитеры видели шелудивого тигра или даже двух в мангровых зарослях. Коварные малайцы называют его "Синга пураура", что означает "притворившийся львом". И это, полагаю, правильно. Это

1. Так в английской традиции называется инцидент между представителями Голландской и Британской Ост-Индийскими компаниями, произошедший на острове Амбон в 1623 г.: двадцать человек (половина из них — англичане, служащие Британской Ост-Индской компании) были казнены по подозрению в заговоре против голландского губернатора острова.

невероятно провинциальный город, притворившийся столицей. Город просто кишит притворством. Новые китайские властители притворяются, что их предки-кули — не безработные иммигранты в синих штанах, которые были рады-радехоньки копать и строить для добрых британцев, а прежние хозяева этой земли, потерпевшие поражение и порабощенные рыжеволосыми пришельцами. Запрещая американскую порнографию, мелодии из музыкальных автоматов, сомнительные фильмы, Сингапур притворяется высокоморальным. Его гостиницы притворяются, что предлагают haute cuisine[1], строения притворяются архитектурой, его белые женщины притворяются шикарными. Только на захудалых улицах, населенных богатой жизнью низших слоев, не притворяются. Там — среди бандитов и шлюх, среди акульих плавников и опиума — можно расслабиться, оказавшись наконец в подлинном городе. Но город притворяется, что это — не город.

В гриль-баре гостинцы, обожаемой Сомерсетом Моэмом, я заказал на завтрак — бифштекс "шатобриан", дважды отослав его назад, сначала потому, что отбивная была холодная, потом, потому что была пережарена. Я был несдержан с метрдотелем по этому поводу и отказался платить. За столом позади меня группа белых — нахальных коммивояжеров, запоздало притворяющихся правящим классом, укоризненно зацокала языками, а одна цветочно-шляпная женщина сказала:

— Где он дмает, он нходится?

Что ж, я и сам коммивояжер, но я не притворяюсь. Все что я хотел, это отбивную прожаренную и горячую. Я обратился к этой женщине.

— Он дмает, он в зоорестранте в Белвью Манчистере, миссис. Но пища тама лучше, тама и у животных манеры тоже лучше.

Глупость конечно, и малодостойная. Потом я ушел. И пошел в кино, чтобы посмотреть индийский фильм. Фильм рассказывал историю двух соперничающих персидских царств, и в каждом был правитель, убивший своего близнеца, и правители тоже казались близнецами — ситуация невозможная, если это не был просто результат плохого освещения. Так что я заснул, а проснувшись, обнаружил, что сюжет обогатился еще и сестрами-двойняшками, которые как раз появились, каждая по отдельности, не узнавая друг друга, чтобы влюбиться в близнеца-узурпатора или в узурпаторов, ибо отличить их было трудно. Через два часа сюжет стал устаканиваться и сгущаться,

1. Изысканная кухня (*франц.*).

и я ушел. Какое-то время я пил в гостинице “Адельфи”, а потом пошел искать вечернюю трапезу на Багис-стрит. И там, уже не удивляясь, я опять встретил Лена.

Китайский ресторанчик оказался грязноват, но кормили там вкусно. Я с удовольствием поорудовал палочками за бутылкой ледяного “Карлсберга”, а потом заметил другого белого, уединившегося за соседним столом, который постился пустым рисом с яичницей из одного яйца. Человек мрачно кивнул и сказал:

— Коломбо, вот где это было, гостиница “Маунт Лавиния”.

— Правильно, — откликнулся я, — как раз перед Рождеством, Лен, — прибавил я, чтобы показать, что и в самом деле помню.

Лен перенес на мой стол рис с истекающей на него глазуньей, и попросил еще один стакан воды, на этот раз действительно холодной. “Лицо святого у Эль Греко”, — подумал я, но на этот раз я смог быть точнее, да, персонаж Эль Греко, вне всякого сомнения, но именно тот, кто раболепно склонился под хлыстом Христа на картине “Изгнание торгующих из храма” в Национальной галерее. Все там выглядят добрыми людьми, — худыми и работящими, бородатыми и мудрыми — и никто не видит ни денег, ни товара. Так или иначе, у Христа не было никого права там оказаться, потому что за аркой на заднем плане видны дворцы Гранд-канала Венеции. На этой картине тощий человек поднял взор к небесам, водрузив на голову пустую корзину, и у Лена такое же лицо.

— Как дела? — спросил я, терзая жареную свинину.

— Они следят еще пристальнее, — сказал он. — Я видел пару в аэропорту в Лондоне, крупный мужчина в пальто. Но мы еще повоюем. Еще годик, скажем, и уйду на пенсию.

— На пенсию?

— Да ничего в этом такого, как мне видится. Мы все заслужили немного отдыха. Мы исполняем свой долг, так или иначе предоставляя людям то, что они хотят, в сущности, это суть профессии нашей, или искусства, или религии, как мне видится. Как и вам.

Он зачерпнул полную ложку риса и хвостик глазуньи и мрачно залил все водой. За окном радостный гомонливый мир жил как ни в чем не бывало.

— И чем же вы на самом деле хотите заняться?

— Как вам сказать, я подумываю об изучении религии и всякого такого. У меня никогда не было времени для этого, и к тому же именно религия, как ни смешно, привела меня к этой работе, до определенной степени конечно.

— Вы имеете в виду опиум для народа? — спросил я.

Лен скукожился, еще сильнее сгорбился, и сказал, прищептывая со свистом и выпучив глаза:

— Не так громко. Мы же не знаем, кто нас слушает. Вон тот, например.

Он повел плечом в сторону китайчонка лет семи, шумного, капризного мальчика в полосатой пижаме, который смеялся, открывая пеньки зубов и ни в какую не соглашался идти спать.

— Они вокруг нас. Они повсюду.

— Извините, — сказал я.

— Я всегда говорил, что вы человек искренний, — кивнул Лен.

Мы оба скосили глаза на это "всегда", что пришлось на мою тарелочку с жареной солью, но решили оставить как есть.

— Но нельзя же быть вполне искренним с теми, кого не понимаешь. Нет, — сказал он, — это была религия, но иная. Вы слышали о писателе Грэме Грине?

— Я даже обедал с ним, — сказал я, — в "Кафе Рояль". Дело было в пятницу, и мы оба заказали рыбу...

— Интересно, — сказал Лен без интереса. — Очень интересно. Но я подумал о его книгах, а не о нем самом. Это то же самое, как с Шекспиром или Байроном, если вы меня понимаете. Так вот, я читал его книги по мере выхода, и все еще читаю, и кажется мне, он говорит, что можно подняться к Богу, только если по-настоящему опуститься в настоящую грязь, фигурально выражаясь. Не то чтобы, — сказал Лен, — я согласен с тем, как Бог создал мир или разрушает его, коли на то пошло, но меня поразило, что Он вездесущ, и тогда Он заслуживает пристального изучения, фигурально выражаясь. Так или иначе, я раньше занимался страхованием и вполне сносно. Но эти книги заставили меня увидеть, что этого недостаточно. Это не ведет ни к чему из того, что на самом деле важно — ну вы понимаете, грех и наказание, и абсолютная реальность, и прочая дуристика. Это ведет тебя к тому, чтобы прожить всю жизнь в недорогом доме и посиделкам в саду по субботам, и к холодному мясу на ужин после выпивки вечером в воскресенье. И уводит от всего стоящего. Так что я вышел из бизнеса. Жена рассвирепела поначалу, но теперь она думает, что я посредничаю для фирмы зубных щеток. Чуть туманно, но женщинам нельзя открывать тайны.

— Не хотите ли сигарету? — спросил я, доев.

— Это подмена, — сказал Лен, покачав головой, — подмена, уводящая от реальности.

— А что такое реальность?

— Вот это я и хочу понять, — сказал Лен, — но думаю, что это нечто, связанное с правосудием. Я не подразумеваю правильные поступки, знаете ли, быть справедливым, и всякое такое, но вроде как бы одно уравновешивает другое? — Его лицо выражало глубокое страдание, словно над холодным месивом риса и яйца он пытался быть понятным. — Но если вы ничего не делаете, никакого равновесия не будет. Как если бы нам дали весы, и мы должны взвешивать. И вот если вы ничего не положите на одну чашу, то нечем уравновешивать другую. Все равно как вернуться домой из страховой компании и сразу пойти в сад. Но если люди творят зло, то на одной чаше нечто тяжелое, и тогда вас наказывают, тогда от весов есть польза, для этого мы здесь и пребываем, вот так я все это понимаю.

— Значит, люди предназначены творить зло?

— Как я понимаю. Если они ничего не делают, то зачем они? Если они творят добро, тогда, что ж, это им вознаграждение.

— А как насчет рая и ада?

Лен покачал головой в сомнении.

— Я еще не знаю. Но надеюсь понять, когда выйду на пенсию. Но кажется мне, что невозможно взвешивать, когда одна чаша весов в одном мире, а вторая — в другом. И тут я покидаю компанию Бога. Ну не на самом деле, вот что я хочу сказать, потому что мало про Него знаю, кроме того, как его представляют в церкви или в воскресных школах и в этих фильмах Сесила Б. Милля[1], и прочая дуристика. Нет, людей надо учить, вот как я это вижу, учить и учить, здесь и сейчас. Тогда каждый из нас — немного Бог. Вот что такое Бог, возможно. Просто — все мы.

Конечно, что уж такого необычного в том, чтобы слушать рэкетира, рассуждающего о теологии в грязной китайской столовке на Багис-стрит в Сингапуре? Любимый писатель Лена явил нам чудесный образ, однако извращенный или непонятый образ, который можно увидеть на картонке под пивной кружкой, образ скрытый, словно ребус в календаре с обнаженкой, образ этот мог оказаться липким пятном на пивном бокале, просвечивать красным в раненой бутылке.

Его рассуждения о Боге возбудили во мне алчбу по стране шлюх, по кораблю, который не отчалит до рассвета. Я предло-

1. Сесиль Блаунт Де Милль (1881–1959) — американский режиссер, продюсер, драматург. Эстетика викторианского театра пронизывает все его работы. Один из создателей Голливуда.

жил пойти в одно знакомое мне кабаре и посидеть там с китайскими хозяюшками под приглушенным светом разукрашенных ламп. Покусывая мундштук, я подумал, как несносны китаянки, плоскогрудые и тонкорукие, с кукольными челками и фарфоровыми улыбками, якобы предлагавшими нечто отличное от — от чего? От англичанок? Но я никогда не спал с англичанкой. К тому же англичанка, думал я, должна быть точно такой же, потому что все они одинаковы. И потом я с неприязнью подумал о девушке, с которой я однажды спал, предположительно — судя по ее энкликтикам — отсюда же или северней, которая сказал мне: "Мистер Денхэм, вы кончили слишком быстро-ла. Вы очень тяжелый-ла". К черту женщин.

— Я так не думаю, — сказал Лен. — Может и есть иной мир для мужчин, но не думаю, что он может быть для женщин.

Вздрогнув, я сообразил, что проклял их слишком громко.

— Послушайте, это смешно, но вы, вероятно, помните, как рассказывали, когда мы встретились в Коломбо, — сказал Лен, — рассказывали о том, что случилось с вами в Лондоне. Я много об этом думал, как ни странно, хотя это не мое дело, правда же, но мы выпивали вместе, и это сделало вас моим товарищем, и в любом случае это вопрос справедливости.

— Да? — откликнулся я.

— Вы заплатили аванс, а она просто ушла, через ванную или еще как. Я забыл, как именно это случилось. Кажется, там была спальня с другой стороны. Так вот, правильно ли было хотеть такую женщину и платить ей за это? Это ни то ни се, это не вопрос добра и зла. Этика, — сказал Лен горестно, — возможно тут ни при чем. Это я приберегу для жизни, когда уйду на пенсию. Но то же самое случилось с одним из наших.

— Наших?

— Да, да, — нетерпеливо продолжил Лен. — об этом немного сложно говорить, правда же. Просто поверьте, что это был один из наших, и дело с концом. Итак, он встретил ее на углу Хэмпстед-роуд и Роберт-стрит, или Уильям-роуд, или где-то, впрочем, один Бог знает, почему она там оказалась, хотя возможно Он и не знает, и это тоже запас для жизни на пенсии — и казалось, что она в порядке, только говорила немного хлестко, как он выразился, и они пошли в гостиницу недалеко от Юстонского вокзала. И вот она попросила пять фунтов аванса и ушла в ванную подготовиться, как он подумал, ну почему всякая женщина должна готовиться в ванной или где там, опять же один Бог знает. Ну ладно, он был там, совершенно голый, как он выразился, и ждал, а потом слез с кровати и обнаружил, что ванная заперта. Она сбежала, пять фунтов — тю-тю, и этому из наших это не понравилось. Он

потом упоминал о случившемся со смехом, хотя, как вы понимаете, ему было не до смеха. Пять никеров это все-таки пять никеров, как он выразился, на только ему понятном языке, фигурально выражаясь. Я все время думал об этом, не ожидая, что встречу вас снова, и мне казалось, что неправильно, если бы ей это сошло. Может, это была та же самая женщина, что и ваша. Хотя в наши дни вроде бы все ищут халяву, никакого чувства справедливости.

Лен попросил еще воды. Не задумываясь, я сказал:

— За мой счет.

— Хорошо, — согласился Лен, — но только воду, и все. Ну так вот, мы караулили втроем, включая того, кто готов был заплатить пять фунтов напрасно. Мы ждали четыре вечера, напарники предложили сдаться, потому что теряем время, но речь шла о правосудии. Я прибегнул к крепким выражениям, как вы можете догадаться, и они согласились еще на один вечер. Мы действительно продежурили еще вечер и увидели ее где-то вблизи Драммонд-стрит. Я могу даже точно сказать, когда это произошло. За две ночи до того, как я вылетел сюда. Это как раз неделю назад.

— И что вы сделали?

— Что мы сделали? Ну, один из наших сказал, что ему достаточно получить назад свои пять фунтов. Но я сказал, это будет неправильно. Это просто будет отрицанием отрицания. А здесь проблема наказания. Так что мы посадили ее в машину и отвезли в офис.

— Какой офис?

— Это не совсем офис, но мы так его называем. Как-то надо же назвать, ясное дело. Мы добрались туда и рассказали ей, что собираемся сделать. Она заплакала и сказала, что делает то, что делает, из-за своего сожителя. Если бы он с самого начала все сделал правильно, говорит, ничего бы этого не случилось. Мы спросили ее, чем он занимается, она ответила, что он наборщик, но мы ей, конечно же, не поверили. Если бы я до него добрался, то и он бы понес наказание, потому что, я думаю, нет большего преступления, чем жить за счет женщины. Так что я рассказал ей, что мы с ней сделаем, сделаем без какого-либо пристрастия к кому-либо, и что это только вопрос правосудия. Тогда она сменила тон, надо отдать ей должное. Я никогда не слышал подобной брани ни от одной из женщин, и, что еще хуже, брань ее была изысканна. И тогда мы ее наказали.

— Как?

— Вряд ли вам интересно. Ничего серьезного. Я хочу сказать, это было бы неправильно. Долговременные повреждения

нужны только для серьезных случаев. И вам не следует задавать этот вопрос, в любом случае, потому что тут дело в правосудии, и все тут, а не как оно было отправлено. Это дело требовало чего-то деликатного и сурового, такого, чтобы на всю жизнь запомнилось, но такого, чтобы зажило до смерти. Достаточно долгое, тем не менее, чтобы держать их подальше от проделок, хоть чуть-чуть. Так что, поскольку, каким-то образом, вы мой товарищ, можно сказать, что мы тоже получили немного личного удовлетворения от совершенного правосудия.

— Да, да, довольно ваших чертовых теорий.

Казалось, Лен был уязвлен.

— И что вы сделали потом? — спросил я. — Куда вы ее дели? Как сильно вы ее избили? Вы, самодовольный подсвинок, — сказал я, — возомнивший себя Богом.

— Нет необходимости выражаться таким образом, — ответил Лен с достоинством, но вспыхнув угрожающе, как улица за окном. — Вам бы надо сдерживать эмоции в случае подобных вещей. И вы сказали "довольно теорий". Но только теория что-нибудь да значит.

— Я думаю, что знаю эту женщину, — сказал я. — Совершенно уверен, что знаю.

— Я бы удивился, если бы не знали, — заметил Лен. — Это могла быть та самая женщина, которая сыграла с вами ту шутку. И если правда хотите знать, добавил он — мы дали ей бренди, и один из наших посадил ее в машину и довез почти по адресу, который она указала. Где-то недалеко от Баронс-Корт или Эрлс-Корт. Я забыл, где конкретно. И у нее немного шла кровь изо рта. Пара зубов — такое же наказание, как любое другое. Она плакала всю дорогу домой, сказал один из наших.

— А как, — спросил я, Денхэм, пухлый бизнесмен среднего возраста, ставший опасным, — вы отнесетесь к тому, что вам самому выбьют пару зубов?

Лен удивленно покачал головой.

— Не понимаю, почему вы хотите это сделать, — сказал он. — Я ведь не сделал ничего плохого. Я просто восстановил равновесие, и все тут. А если вы выбьете мне зубы, то я должен буду что-то подобное сделать с вами. А потом — вы, и так будет продолжаться долго. Но я не позволю. И вам надо бы поучиться правосудию. Насколько я понимаю вы все еще приятель мне. И неправильно говорить со мной в таком тоне, как вы сейчас, вот. Так что давайте просто все забудем, я думаю, это будет лучше всего. Мне все равно пора уходить, но не подумайте, что я ухожу, потому что вы меня гоните. То, что вы сказали, это не слова товарища, но я пожму вам руку, чтобы показать, что не держу на вас зла.

— Идите, уже идите, — сказал я. — Убирайтесь. С глаз моих долой.

— Не следовало вам этого говорить, — сказал Лен. — Я подожду пару минут только для того, чтобы показать вам, что не подчиняюсь приказам.

Он выждал пару минут, в глазах его горел огонь правосудия, а я просто сидел там, отвечая таким же огненным взглядом. Потом он кивнул, встал, заплатил у кассы, постоял минуту в дверях, за которыми шумела жаркая Багис-стрит. Теперь он был похож на того, кто у Эль Греко размахивал хлыстом, а не на того с корзиной на голове, кого карал этот хлыст. Очевидно, думал я, что корзина пуста, вес просто не ощущался. Потом Лен, этот бич заблудшего человечества, еще раз кивнул и ушел. И больше я его никогда не видел.

Глава 14

"Такое впечатление, что эта нежестокая история о жестокости потрясла Англию, заставив ее умолкнуть, и так она и молчит до сих пор", — думал я. По прибытии в Гонконг я не получил никаких вестей ни от мистера Раджа, ни от отца, ничего не пришло и в Йокогаму. Между Китаем и Японией я написал короткое послание Уинтерботтому, где спрашивал, все ли у него в порядке. Лондон — большой город, где, возможно, есть еще изысканно матерящиеся проститутки, живущие с наборщиками, только начавшими дело. Я забыл адрес Уинтерботтома, так что вложил запечатанный конверт с этим кратким вопросом в письмо, адресованное мистеру Раджу, прося его наклеить марку и отправить, и тоже вкратце поинтересовался у него состоянием дел.

Когда я сошел в Иокогаме, Япония встретила меня безоблачной и холодной погодой, воздух был студен и резок, однако сулил скорое цветение вишни. Я проехал двадцать одну милю поездом, и на великолепном Токийском вокзале меня встретил Арчи Шелли, предоставивший мне автомобиль с шофером и удалившийся восвояси — у него была еще куча деловых обедов до ухода в отпуск. У фирмы имелся свой офис и выставочный зал в Маруноути, но мой дом находился в Дененчофу — деревянный дом на сваях, бумага и стекло, окруженный прелестными карликовыми сосенками и мостиками. Меня поприветствовали две служанки: "Ёку ирассяимасита, кангэй", — и Митико-сан, которая служанкой не была. Подобно своей тезке, впоследствии ставшей императрицей, она была девушка из народа, получившая образование в школе при миссии, игравшая в теннис и уме-

ло носившая западную одежду. Насколько далеки были наши отношения от того, что мистер Радж называл любовью, я не знаю — она была тем, что мне было нужно, вот и все, что я могу сказать. Ее уже нет, и я не хочу проявлять сентиментальность, я все еще встречаю таких, как она, в Ёсиваре, к северу от Асакусы, и в других местах — нежные, покладистые женщины, будто принадлежащие совершенно иной расе, чем мужчины, женщины, избаловавшие мужчин, спасая их от докучливых имоген и элис. Но эта история не касается моей личной жизни. Могу сказать одно: целуя Митико, я вдруг заметил с ужасом, что очертание ее щеки не похоже на очертание щеки моей сестры Берил — все больше и больше этот унылый среднеанглийский город с пригородами грозил погубить весь мир.

Мы пообедали вечером в "Ханабаше", рано вернулись домой и рано легли. На следующий день снова началась приятная рутина моей общественной жизни: офис в Маруноути с моими мелкими сошками, весьма деятельными; встречи с друзьями по бизнесу; ощущение пульса чистого современного города рядом со мной; потом путь домой — к деревянному домишке с раздвижными бумажными стенами, снятая обувь, чтобы не осквернить этот изысканно чистый пол, холодное японское пиво, спокойная беседа и ласки Митико. Но скоро Англия снова взревела посредством авиапочты. Сначала пришло письмо от Уинтерботтома:

...С Имогеной случилось ужасное. Она пришла домой вся в крови, избитая какими-то людьми, и плакала безостановочно. Она не сделала ничего плохого, поверьте, — она подцепила их или они ее, вернее, — это ведь они хотели совершить непристойность, и мы оба считаем, что справедливо было присвоить их деньги. Такие вещи случаются вопреки нашим ожиданиям. Она легла в постель и плакала, и плакала, и не хотела вставать и есть несколько дней. Я был в смятении, как вы можете догадаться, и вся эта история, думаю, в конце концов пробудила во мне жалость. Как вы знаете, тут случилась забастовка газетчиков, так что мне пришло в голову слушать новости по Би-би-си и печатать что-то вроде газеты на одной странице. То же самое люди слышат по радио, но, кажется, они больше верят напечатанному на бумаге. Но я понял некоторые новости неверно, не успев застенографировать, и напечатал, что скоро начнется война, и этому поверили. Я роздал листки по окрестным пабам и магазинам для продажи, и теперь я лучше известен.

Но она ушла. Имогена вернулась к отцу. И вот я один в Лондоне, а причиной тому, почему я здесь, с самого начала был побег с Имогеной. Так что оставаться мне нет никаких резонов, если не считать, что я только начинаю, и она оставила мне деньги. Вдобавок Элис пишет мне и просит вернуться к ней, но как я могу? Фир-

ма не возьмет меня назад. Меня, сбежавшего вот так, а без рекомендаций мне не светит там никакая другая работа.

Так что я остаюсь. Я все еще не получил свое зимнее пальто, но весна вроде наступит в этом году раньше, в последние дни потеплело, что необычно для этого времени года. Я надеюсь, что у вас в Японии все в порядке. Я скучаю по Имогене, оставшись один, и все еще ее люблю, хотя она ушла от меня. Но она, правда, ужасно выглядела без четырех зубов, бедняжка, она прикрывалась шарфом, когда уезжала к отцу.

Я закончил читать письмо, написанное кошмарным почерком, изобретенным Уинтерботтомом, словно некто безграмотный, высунув язык, царапал бумагу, глядя в прописи. Вероятно, Уинтерботтом хотел показать, что, даже если он пишет ручкой, он все равно остается печатником. Потом я взглянул на деловой Маруноути, на нежный снег лепестков падающих с неба, выкованного из нежного металла. Все эти уинтерботтомовские дела казались комическим кукольным театром, бесконечно далеким от стука печатных машинок с иероглифами за соседней дверью и от настоящей Митико, женщины из плоти и крови, ждущей меня дома. А потом, открыв другое письмо, я услышал голос мистера Раджа, заполнивший весь мой кабинет, и понял: что бы о нем ни говорили, мистер Радж — реальный человек. Он послал не тощее авиаписьмо на голубом бланке, но толстенный конверт с маркой в полкроны на нем, и с обильной начинкой, как в его карри:

Дорогой мистер Денхэм!

Да, все еще дорогой мистер Денхэм, несмотря на Вашу неординарную лень, которую невозможно победить дорогостоящими телеграммами. Я не ослушался Вашего повеления и переслал письмо тому джентльмену, которому оно предназначалось. Реклама с его адресом все еще покоится в огромной куче писем. Копуляция, предложенная Вами, пока еще мной не достигнута, но я очень надеюсь, что она отложена ненадолго, ибо леди которую я уже имею смелость называть попросту Элис, уже выказывает небольшие признаки любви ко мне и даже пригласила меня и Вашего отца, который по-прежнему все так же добр, на чаепитие в ее доме. В ответ я предложил Вашему отцу пригласить ее отведать настоящего карри, обильнее и усладительнее всех, что я готовил досель, и он полагает, что это замечательное предложение.

Так что это предложение будет осуществлено, возможно, в ближайшее воскресенье. Благодаря тому, что я живу у Вашего отца, люди принимают меня более доброжелательно, чем раньше, и все-

го два вечера тому я сидел с Вашим отцом в "Гадком селезне", как теперь я смею его называть, вместе с его друзьями, с которыми я уже играл в гольф, и они обсуждали иностранцев, обзывая их "черными выродками" в моем присутствии, хотя сам я не сильно черный, и даже интересовались моим мнением относительно черных иностранцев. Когда я пью с Элис в "Гадком селезне" (перо мое почти краснеет чернилами, когда я пишу это имя столь откровенно), уже никто не смеет сказать "Глядите, вон там черный с белой женщиной". Они уже считают все это само собой разумеющимся, мистер Денхэм. И я Вам крайне благодарен за это. В конце концов, Вы человек, побывавший во многих странах как очевидец, теперь в далекой Японии, и как же у Вас идут дела, мистер Денхэм? Вы — тот человек, который с уважением и по-братски относится к другому человеку, даже если цвет его кожи отличен от Вашего.

И вот наша дружба позволяет мне признаться, что я солгал Вам однажды, хотя и во благо. Вы помните, что не так давно, хотя, кажется, что прошли века, мистер Денхэм, мы впервые встретились в Коломбо. Я тогда сказал Вам, что подумал о Вас, как о мистере Денхэме, моем давнем учителе в Тринкомали. Так вот, в Тринкомали никогда не было такого человека! Нет, моего учителя, американца, звали мистер Сасскинд. Я воспользовался простым приемом безобидной лжи, чтобы познакомиться с Вами, особенно когда узнал из письма, Вам адресованного, что Вы живете в Англии, а я туда собираюсь. Я действительно увидел Вас и подумал: вот — человек, и воистину настоящий человек, и он может быть мне другом. И эта ложь сработала, мистер Денхэм.

Моя работа продолжается, и в анкете, которую я предлагаю людям, я задаю много важных вопросов — что они думают о расах, и насколько важно наличие рас на земле, и так далее. Некоторые из тех, кого я просил заполнить анкеты, оскорблялись, но я теперь защищен от оскорблений, мистер Денхэм, обычно проводя опросы в спокойных местах, таких, например, как общественные туалеты, где с оскорблениями можно быстро и безболезненно рассчитаться, пусть и проявляя некоторую враждебность.

Недавно я обнаружил, что пистолет, одолженный однажды, тоже может быть полезен, и под незаряженным пистолетом некоторые люди, будучи спрошены в туалетах или в освещенных подворотнях, вынуждены давать честные ответы на мои вопросы. Так что мой научный труд продвигается, и препятствия устраняются наилучшим образом. Погода теперь немного теплее, чем предполагалось, и есть надежда, что весна наступит раньше, не то чтобы, конечно, я уже претерпевал английскую весну, но стихи, читанные мной в Тринкомали, были полны нарциссами, и другими похожими цветами, и резвящимися барашками, которых вряд ли, я думаю, мы увидим на улицах.

И вполне уместно, что я влюблен, мистер Денхэм, ибо весна в Англии, и об этом я тоже читал, это время, когда каждый считает своим долгом влюбиться, так что я исполняю мой долг. Любовь, следовательно, должна идти своим чередом вместе с моими трудами. Ваш отец сказал, что писать он не будет, поскольку ему нечего сказать, помимо того, что он передает вам привет, но он доверяет мне написать это. Уверяю Вас, что если его здоровье когда-либо обнаружит признаки ухудшения, то у меня есть индийские и цейлонские друзья-медики, которые будут более чем счастливы оказать ему помощь, так что беспокоиться Вам не о чем. Кроме того, я пополнил небольшие, честно говоря, запасы бренди в буфете, так что теперь его хватит на все случаи жизни.

Что ж, я заканчиваю просьбой поскорее ответить, и не вкратце, зная, что Вы — мой друг, а я Ваш друг и всегда таковым пребуду. Аминь, как друг Вашего отца, чертовский христианин, мог бы сказать! И который не друг мне более, ибо я ему не нравлюсь, но мне нет до того дела (он не ответил на мою анкету благоразумно), и ноги его в этом доме больше не бывало.

Искреннейше, искреннейше Ваш, мистер Денхэм,

Р. Ф. Радж.

Меня должно было, теперь-то я понимаю, насторожить странное молчание отца. Совсем не похоже на него — не послать хотя бы кратенькую писульку “воскресного папы”, пахуче выкашливая себя из старческой затрудненной каллиграфии. Но спустя несколько недель после письма мистера Раджа у меня у самого начались проблемы в Токио, и это не было связано с моей работой. Проблемы касались Митико-сан.

Клянусь богом, я не держу зла ни на Америку, ни на американцев. В рассуждении восточного побережья, тринадцати колоний, я думаю, что Америка — прекрасная, смышленая страна, пусть нагловатая, но, как я понимаю, имеющая право на получение полного статуса доминиона. Я хочу сказать, что не принимаю Декларацию независимости. Естественно, я никогда не говорил американцам ничего подобного, но, работая и просто общаясь с этими прекрасными, слишком упитанными людьми, я всегда предполагал, что мы с ними похожи, и обращался с ними соответственно. Когда с Митико-сан случилась беда, я, к сожалению, находился на вершине дипломатического “живи-сам-и-давай-жить-другим” договора о цветном телевидении с американской фирмой. Но в Токио существует что-то вроде маленькой Америки под названием Вашингтон-Хайтс, где живут семьи двух с лишним тысяч служащих американских ВВС, и район этот, цитируя “Тайм”,

"пользуется дурной славой". Люди, жившие там, да и поныне живущие, — тоже прекрасные, слишком упитанные, привлекательные по большей части, но чересчур кичащиеся своей привлекательностью. Они уже были и до полковника Джонстона, совершенно безответственные, с провоцирующими ягодицами, принуждающие тебя застонать и сжать кулаки — этот вечный джинный перегар, эти вечно заброшенные дети. Молодежь отвечала на их пренебрежение по большей части эффектно, но не слишком злобно — плохие, плохие мальчишки. Школьники просто переворачивали автобусы, открыто дымили, как печные трубы, плевались персиковыми косточками в прохожих, и только. Однако некоторые из подросших недорослей вообразили себя мужчинами расы творцов не совсем успешной карательной атомной бомбы и изобретали наказания более отрадные. И, к несчастью, Митико-сан подвернулась под руку этим палачам.

Я отправился в Йокогаму на регби, дабы присутствовать на одном из последних матчей сезона, не по своей охоте — просто моя фирма спонсировала кубок, и, поскольку возвращаться в Токио после всех кутежей было уже поздно, я провел ночь в Туннеле (очень чистом, почти стерильном, прямотаки хирургический зал). Когда я вернулся домой (уже на выходные), то застал Митико в постели — в смятении и слезах. Служанки летали по дому на цыпочках и беспомощно шушукались. Митико в отчаянии почти забыла английский, и мне нескоро удалось выяснить, что с ней случилось. Накануне вечером она безрассудно пошла повидать друзей, прошла куда-то откуда-то в темноте, и на нее напали подростки из Вашингтонских Высот (О, Высота! О, Вашингтон! О, Свобода!), и, насколько я понял, они почти изнасиловали ее. И, как всегда в таких случаях, странным образом это стало началом конца наших отношений, какими бы они ни были. И ни ее, ни моей вины тут не было. Американских подростков, с их непостижимой точки зрения, тоже вряд ли можно было обвинить — шоколадный эль (в огромных кружках) и трубы музыкальных автоматов оглушают и ослепляют мораль. (*Онижедети*! В чужой стране! Их отцы исполняют долг во имя демократии! — и все такое прочее.) То, что случилось, должно было случиться рано или поздно, и хорошо, что причины оказались внутренними. Это означало, что она меня не хочет, и я не хотел касаться ее, хотя и злился, и сострадал, и жалел ее, и испытывал все остальные подобные чувства. И в поисках тех, у кого я требовал хоть какого-то правосудия, и выпуская пар при встречах с американцами, я потратил слишком много сил, не написал ни одного письма домой, и к тому же не распечатал ни

одного письма с английской маркой, если на конверте не было печатного шрифта. И я стал непопулярен в определенных кругах, да и кем была мне Митико с официальной точки зрения? В каком-то смысле мой гневный ропот в поисках справедливости, мое напоенное виски ворчание ни к чему хорошему не привели. И конечно же, однажды я вернулся домой, чтобы, едва разувшись у дверей, почуять неладное — цветной телевизор молчал. Митико исчезла. Я объехал весь район, обшарил весь Токио, постепенно теряя надежду, и вернулся к накрытому в молчании ужину, уже потеряв Митико навсегда. И тут пришла телеграмма.

Вы проявили достаточно терпения к неумелому повествователю, больше, чем этот неумелый повествователь мог бы рассчитывать. Никакого развития сюжета, просто Дж. У. Денхэм в отпуске, едящий, пьющий, непозволительно склонный к осуждению, встречающий многих, особенно мистера Раджа, отмечающий краешком глаза, почти вне пределов слышимости, прелюбодеяния малоинтересных людишек. И вот с помощью божьей, вот вам развитие сюжета — все, что вам было нужно. Телеграмма, конечно, сообщила что отец при смерти. И она пришла не от мистера Раджа, и не была послана моей сестрой из Танбридж-Уэллса. Она пришла от великого потомка великого Шекспира, способного унюхать и жизнь, и смерть, — Теда Ардена. Телеграмма сообщала с удивительной простотой: "Отец отходит. Приезжайте безотложно". Аллитерационно, как видите, поэтично, но, тем не менее, настоятельно.

Телеграфировать Райсу в Лондон? Бессмысленно. Я украдкой взглянул (руки мои подрагивали на гладком столе) на Мисиму, моего помощника. Он был умный, компетентный, лишенный сомнений, с близорукими пытливыми глазами, безотрывно читавшими наидлиннейшие английские слова, когда он студентом возвращался домой на поезде. "*Флоксиносинигилипилификация*, — мог бы он сказать, — не что иное, как *антиотделенчество*". Можно ли ему доверять? Ему можно доверять. Но законы фирмы высились, что твои вбитые в голову чертовы заповеди с Красного моря — "Не возымей в наместниках фирмы никого, кроме европейца, ни на день". Я обратился к Мисиме:

— Мне надо вернуться в Англию, немедленно. Купите мне билет на самолет, на вечер, если есть, но уж точно на утро.

— Беда, сэр?

— Мой отец умирает.

— О, я понимаю. — Он как-то рассказывал, хотя я и не поверил, что его отец умер вместе с матерью и тремя тетками в Нагасаки. — Сию минуту, сэр, будет сделано.

— Вы будете замещать меня в мое отсутствие.

— О, я понимаю.

— Самое большее — неделю.

— О, я понимаю.

Он вернулся после телефонного разговора, как будто за сигаретами сбегал, обычных авиарейсов не было, ни "БОАК", ни "КВАНТАС", ни "КЛМ", ни...

— Да, да, да. А что есть?

Он назвал новую скандинавскую компанию, где были места в первом классе. Это годится.

— *Tack*, — сказал я в смятении.

Глава 15

В тот же вечер перед отлетом я телеграфировал Теду Ардену: "Прилетаю Лондон 18.00 воскресенье. Изменениях сообщите". Я знал, что он достаточно сметлив, чтобы догадаться, как оставить мне весточку в лондонском аэропорту. Я взял с собой стопку невскрытых личных писем из Англии, собираясь прочесть их в самолете. Все они, как я теперь видел, были от мистера Раджа. Проворный, прыткий, расторопный Мисима с учтивым поклоном принял от меня связку ключей, не выказав, впрочем, ни малейших признаков довольства.

Меня ждал прекрасный новенький DC-8[1], стюардессы на его борту были слишком белокурые, рослые и нордические, чтобы быть настоящими. Я удивился, оказавшись в почти пустом салоне первого класса.

— Почему? — осведомился я у богини по имени мисс Бьёрнсен.

— В Сингапуре, — сказала она, светясь от радости, — узнаете. Огромный сюрприз.

До Сингапура было девять часов лету. Я упивался вином и объедался громадными порциями, ощущая себя викингом, оглашающим икотой гулкие своды. Морепродукты в рассоле из морской рапы драли глотку, и я жаждал еще вина, удивляясь своему могучему аппетиту в то самое время, когда мой бедный отец при смерти. Но он, конечно же, пребывал в ином мире, и у меня не все дома, пока я не вернусь домой, не почую дух Англии, пока не пощупаю ее и не удостоверюсь, что она, хотя бы на какое-то время, действитель существу-

1. "Дуглас DC-8" — американский реактивный авиалайнер компании "МакДоннел Дуглас", производился с 1958 по 1972 гг.

ет. Я рассеянно пробежал по диагонали письма от мистера Раджа. Он сообщал, что отец мой в добром здравии, но мне не следует волноваться и в том случае, если он заболеет; мистер Радж робко поцеловал Элис Уинтерботтом у ее дверей, и не был ею отвергнут; весна успешно продвигается вместе с его диссертацией, а также анализом ответов в анкетах. Проспав от самого Гонконга, я пробудился от щелчков ремней безопасности, и белокурая улыбчивая Фрейя или Фригг[1] склонилась ко мне, чтобы сообщить, что мы приземлились в Сингапуре — час на заправку самолета, и мы тоже сможем подзаправиться легкими закусками. И тут нагрянул "огромный сюрприз", обещанный мисс Бьёрнсен. В аэропорту теснились охапки орхидей и игрушечных мишек, мельтешили вспышки побитых шашелем китайских фотографов, улыбки снующих туда-сюда тошнотворно красивых мужчин, а в центре внимания — лицо и тело, которое я видел раз или два на киноэкране — волосы цвета кукурузного сиропа, всклокоченные за немалые деньги, ни пятнышка помады на губах, бог знает сколько раз целованных публично, искусно выставленный напоказ высокий бюст и отсутствие чулок.

— Как ее имя? — спросил я у пожилой дамы, своей попутчицы.

— Вы хотите сказать, что не знаете, кто это?

— Нет, вовсе нет, — стушевался я, видя, как ее губы каменеют от моей бесцеремонности. — Простите, на меня так много навалилось.

— Это Моник Гюго.

— О, француженка.

— Да, француженка.

И, словно желая доказать сингапурским зевакам, что Франция — именно такая, как им всегда рассказывали, мадемуазель Гюго упала в объятия патлатого юнца и смачно поцеловала его жадно раскрытый рот. Вспышки замигали, словно крошечные оргазмы, кто-то в толпе зааплодировал, пробки от шампанского взвились под потолок.

— Она здесь снимается в фильме, — сообщила моя осведомительница. — Вернее, здесь идут натурные съемки. А заканчивать его будут в Лондоне. Она играет роль французской шпионки, работающей на американцев в Японии.

— Почему?

1. Фрейя — в германо-скандинавской мифологии богиня любви и войны, жительница Асгарда. Фригг — в германо-скандинавской мифологии жена Одина, верховная богиня. Она покровительствует любви, браку, домашнему очагу, деторождению.

— Откуда я знаю, — раздраженно ответила дама. — Так пишут в газетах.

Мадемуазель Гюго тем временем липко расцеловалась с другими мужчинами, вспышки засверкали еще яростнее, а потом отчетливый китайский голос "громкоуговорил" нас всех проследовать на посадку в самолет.

Нежась в лучах славы мадемуазель Гюго, прошествовали мы в самолет сквозь цветы, огни и поцелуи, пространство раскочегарилось, как печь, улыбки и улыбки, похожие на меренги. Улыбчивые скандинавские богини у трапа, приветствуя улыбками мадемуазель Гюго и ее галдяще-красивый антураж, внезапно как будто съежились, передав всю свою божественность этой вульгарной кокеточке без помады на губах.

Салон первого класса превратился в будуар, нежный, благоуханный, однако пронизанный стальными взглядами администраторов, говоривших на повелительном американском английском, извлекших из плоских кейсов на молнии пачки машинописных листов и готовых, пока их звезда почивает, нежа мягкую ладонь в мозолистых от гитарных струн пальцах длинноволосого юноши (я видел, как он положил гитару в багажный отсек), начать плодотворное совещание. Похоже, мое присутствие их возмущало. Сидящий рядом обратился ко мне:

— Я вас попрошу пересесть вперед, нам нужно кое-что обсудить, если вы не возражаете.

— Возражаю. Я заплатил за это место.

— Да ладно вам, надо быть отзывчивым. У нас много работы. — И, Бог свидетель, он попытался вытащить меня из кресла!

— Не прикасайтесь ко мне, здесь вам не Вашингтон-Хайтс!

— Что вы, что вы, никто к вам не прикасается, о'кей, не хотите — не надо.

Так что я остался на своем месте, посреди мрачного фотогеничного анклава в его священной епархии. Потом у меня сложилось впечатление, что меня обдуманно травят. Гитарист достал гитару, долго и шумно настраивал ее, а потом запел французскую песню, которая, наверное, при всей ее банальной слащавости, в другое время мне бы даже понравилась этакой галльской протяжностью:

Tu es mon
Violon
D'Ingres[1].

1. Ты моя скрипка Энгра (*франц.*).

Читателей, заинтересованных в личной жизни больших звезд может заинтересовать свидетельство, что мадемуазель Гюго похрапывает во сне, тайком ковыряет в носу, почесывает голову. В Бангкоке состоялась шумная встреча, хотя уже наступила полночь, и потом на долгом участке пути до Индии мадемуазель Гюго сыграла Селену для моего рассерженного Эндимиона. Она села рядом со мной, держа пальчик во рту — ни дать ни взять милое невинное дитя.

— Прривет.

— И вам привет.

— Далеко летите?

— В Лондон.

— О. Я тоже.

— Лондон будет счастлив.

— Comment?[1]

— Да бросьте, — сказал я. — Вы достаточно хорошо знаете английский. Оставьте этот наивный девичник для ваших почитателей.

— Comment?

Администратор, который в перерывах между беготней по салону, сидел рядом со мной, возвратился из туалета, благоухая лосьоном после бритья.

— Держись подальше от него, милочка, — сказал он. — Он кусается.

— А вы бы не кусались, если бы вашу девушку изнасиловали американские подростки и вы только что получили телеграмму, в которой сказано, что ваш отец при смерти?

Мне не следовало этого говорить, мне следовало сохранять спокойствие, оставаться по-английски холодным. А теперь я напросился на сострадание, и придется следить за слезными протоками.

— Ну вот! Что же вы сразу не сказали. Боже! Какая жалость. Можем ли мы чем-нибудь помочь?

— Ваш папá, — сказала мадемуазель Гюго. — Ваш папа умирааает? Мой папá умир тоже. В Résistance[2]. Застрелен немцами.

И она позволила своим выразительным глазам увлажниться ("изобрази нам печаль"), а потом ("теперь пусти слезу") всплакнуть.

— Ой, да ладно тебе, Мониик, — сказал свежевыбритый администратор. — Не верю! Это какая-то сборная солянка из твоих последних фильмов.

1. Что? (*франц.*)
2. Сопротивление (*франц.*).

Тем не менее мадемуазель Гюго, как и подобает склонным к капризам великим женщинам, решила, что она заинтересовалась мистером Дж. У. Денхэмом, жирным бизнесменом, потерявшим японскую любовницу и собирающимся стать сиротой. Молодой гитарист зыркнул угрюмо и забренчал похоронные аккорды, так что этот другой администратор, оказавшись между двух потрясающих спектаклей, сказал:

— Бога ради.

Полюбуйтесь, Бога ради, Денхэмом в Калькутте, Дели и Карачи под руку с мадемуазель Гюго в приветственных вспышках фотоаппаратов. Может статься, мы неправы, глумясь над сливочно-взбитыми, засахаренными, хрустяще-хрупкими продуктами сияющих мифотворческих машин нашего века? Любая темнокожая девушка, куда более красивая, чем это олицетворенное божество аэропортов, девушка, поклоняясь этому божеству, открывает истинное лицо голода по объединяющему мифу, пока в муниципальных советах ученые мужи сражаются за разобщение.

Моник, как я отныне мог называть ее, вернулась к мозолистому юноше на время полета над Ближним Востоком. Его заскорузлые пальцы отламывали для нее кусочки тоста на подлете к Каиру, и она пила кофе из большой чашки, обхватив ее обеими руками, а ее большие дымчатые глаза наблюдали за мной поверх ободка. Мы то засыпали, то просыпались; мужчины входили в туалет побриться и возвращались с лоснящимися от крема подбородками. В полдень, на подлете к Риму, нам подали шнапс и накрыли шведский стол, и Рим приветствовали полупьяные улыбки. "Денхэм по пути к своему умирающему отцу", — как написали итальянские газеты (улыбающийся и делающий фотографам ручкой, словно некий великий триумфатор). И так до самого Лондона, и в лондонском аэропорту — последняя слава в телекамерах, подвезенных прямо к трапу, крики поклонников в отдалении, и приближение молодого человека с микрофоном, который сказал:

— Мисс Гюго, добро пожаловать в Лондон и на первое интервью для программы канала Эй-ти-эй "Встречайте звезд". Скажите, мисс Гюго, как прошел перелет?

— О, о-оочень, прия-аааатно.

И всю дорогу, ради Бога и во имя Христа, эта витая карамелька без губной помады держала под руку мистера Денхэма.

— А как вам Сингапур?

— О, о-оочень, прия-аааатный.

— А вы, сэр, я думаю (это он мне), мистер Нуссбаум?

— Я, — сказал я, — мистер Дж. У. Денхэм, бизнесмен из Токио, чью японскую любовницу чуть не изнасиловали детишки из Ва-

шингтон-Хайтс и который прибыл в Англию, чтобы присутствовать при смерти отца.

И тут чертовы вспышки погасли. Да простит меня Бог, но я, по крайней мере, был честен, и я, по крайней мере, краснел, выкладывая все это. Вдруг началась быстрая перегруппировка, ловко срежиссированная кем-то, умевшим ставить массовку, и я понял, что уже сброшен с постамента, который я, простой смертный, делил с богиней. Сладкоголосая, ладно скроенная земная стюардесса вела меня вместе с другими простыми людьми к залу ожидания для прибывших, а потом другая, стоящая у стойки, похожей на кафедру, выкликнула мое имя. Я подошел, и она, улыбаясь, протянула мне сообщение в конверте. Я выудил клочок бумаги и прочел: "Отца нет. Тед". В записке снова присутствовал шекспировский дух, поздний лаконический стиль "Антония и Клеопатры". Я опустился на стул. Мой отец умер.

Я уговаривал себя до поры не винить мистера Раджа. Мистер Радж был единственным, кто присматривал за отцом. Отец мог бы умереть и месяцем, и неделей раньше, если бы мистера Раджа при нем не было. Отец уже был немолод, он намного пережил Маккарти и Блэка — моих друзей, убитых на войне. Семьдесят лет — самое время, чтобы умереть. Но я чувствовал себя подлецом оттого, что не присутствовал при немногих его последних словах, не слышал обычных благословений, предсмертного хрипа, не видел застывший рот. И не создал подобия семьи у смертного ложа. Была ли там Берил? Сомневаюсь. Но скоро узнаю. Скоро я узнаю все.

Мой приезд пришелся на воскресенье. Можно было бы, подумал я, успеть на полночный поезд, но я чувствовал, что мне необходимо поспать. Поеду завтра утром. Я задремал в автобусе по пути на вокзал Виктория. Рядом ехал американский джентльмен, он и его дочка, сидевшая через проход, отчаянно пытались скрасить скучное путешествие, высматривая в окно исторические виды. Моя дремлющая голова склонилась на его плечо, и я проснулся.

— Всё в порядке, сынок, — сказал он, улыбнувшись, — вы всё проспали.

У вокзала я сел в такси и поехал в Блумсбери — в маленькую гостиницу моей итальянской вдовушки. Она была на месте — все те же очки для чтения на носу, вода "Огги" в комнате для завтраков. В клетке теперь жил волнистый попугайчик, птичка дымчатого цвета. И чирикал немилосердно. И, конечно, я ничуть не удивился, увидев Уинтерботтома.

— Buona sera, signora, — сказал я. — Есть ли у вас комната, и простите, что не смог дать знать о моем приезде. Мне сообщили, что отец умирает, а теперь — что уже умер.

Я взглянул на потасканного Уинтерботтома. Выглядел он плохо. Борода сильно отросла, но теперь ему надо было достичь безумного христоподобного выражения лица, которое уроженцы Новой Мексики отмечали у Д. Г. Лоуренса.

— Вы уже сообщили, что он умирает, — ответила вдова, — причем всему миру — в televisione.

— И я видел, — встрял Уинтерботтом. — Я видел в пабе. Пару часов назад. Я понял, что вы сюда отправитесь, и сам сюда пришел.

— Я совершенно разбит, — сказал я, садясь. — Перелет был ужасно утомителен.

— Я понимаю. Да, наверняка.

И Уинтерботтом в грязном плаще принялся грызть ногти. Вдова сказала:

— Numero otto[1]. Две спальни. Остальное занято.

— Мне вполне подходит, — поблагодарил я. — А как дела у вас? — спросил я Уинтерботтома.

— Они его забрали, — ответил тот. — Приятель забрал, я хочу сказать. Я не мог оплатить аренду, а он не хотел ждать. Печатный пресс, я хочу сказать.

— И где вы теперь, боже, как я устал.

Казалось, мир заполнен чирикающими попугаями.

— Не могли бы вы послать за бутылочкой бренди, — попросил я вдову.

— Судя по televisione, вы уже достаточно набрендились.

— О Боже, это так ужасно выглядело?

— Я схожу и принесу чего-нибудь, — сказал Уинтерботтом, — если дадите денег.

Я взглянул на Уинтерботттома и внезапно подумал об огромной бутылке холодного английского светлого эля, который устроил бы меня лучше всего на сон грядущий. И это было странно, я редко пил английское пиво.

— Пошли, — пригласил я. — Сходим, тут недалеко. Господи, как же я устал.

Паб неподалеку назывался “Якорь”. Он был полон потных мужиков и вест-индийских девок, плюс дрожащий преподаватель из университета, который пил дрожащий томатный сок. На стенах красовались фотографии королевской семьи.

— По одной, — заказал я. — Я правда думаю, что не смогу заснуть от усталости.

1. Номер восемь (*итал.*).

— Я бы заплатил, — сказал Уинтерботтом, — честно, заплатил бы, но не могу. Мне стыдно, но ведь хотел как лучше. Честно. Просто я не создан для успеха.

— Как там Имогена?

— Честно, не знаю. Ничего не слышал. С другой стороны, так даже лучше, и хорошо, что она не пишет. И это объясняет все, абсолютно все. Это ревность.

— Какая? Вы о чем? Не забывайте, что я был в Японии.

— К Дженнифер, — сказал Уинтерботтом, склонив голову в глубоком унынии. Потом он попытался проглотить имя, как таблетку, запив его своей полупинтой светлого пива. — Это одна, ну, с которой я живу сейчас. Даже не помню, как это началось. Это случилось, когда Имогена ушла. Дженнифер была в баре, а потом пошла ко мне. Она сказала, что сварит сосиски. Ну и вот вам. Очень ревнивая, — повторил он. — И говорит, знаете ли, изысканно, как Имогена прежде.

— Вы что, совсем дурак? — спросил я.

Светлый эль, теплый и поддельный, вставлял плохо, он-то меня и попутал. Я заказал бренди с газировкой. Боже, как я устал.

— Ну да, — глупо ухмыльнулся Уинтерботтом. — И, послушайте, я очень, очень сожалею о вашем отце. Только ради этого я пришел сюда. Вы знаете, что я делал вечером? — Гордость распирала его. — Мы были вместе в пабе, и потом это в телевизоре. Тогда я сказал, что знаком с вами, и она мне не поверила. И тогда я сказал, что пойду в сортир. Сортир там во дворе, знаете ли. Ну и я помчался, как угорелый, — вроде отлить. Я не думаю, что она поняла, куда я. Но когда вернусь, скандал будет грандиозный.

Он хихикнул.

— На что вы живете?

— На что я могу жить. За ее счет, я думаю. У нее небольшая пенсия, видите ли. И еще у нее алименты.

— Сколько же ей лет, Господи помилуй?

— Сколько? Старше меня. Гораздо. Но, о-оо, нет же, нет, ну что вы. И она очень умна. Но очень ревнива.

— Вы, — сказал я, — немедленно возвращаетесь к Элис.

— Знаете, — сказал он изумленно, — как раз об этом я и подумывал. Я подумал, что вы там поглядите, как карты легли, и дадите мне знать.

— Лучше бы вам вернуться, — сказал я, — пока не слишком поздно. Пока Элис не связалась с кем-нибудь еще.

— Но этот Джек Браунлоу уже женат. И никогда не получит развод.

— Я не Джека Браунлоу имел в виду, — сказал я. — Неважно кого. Вам бы не следовало все это начинать, вы не созданы для этого.

— Это она все начала, она и Джек Браунлоу.

— Да какая разница, кто заварил кашу. Вы сильно согрешили против стабильности и сами видите, в какое чертово месиво можно попасть, вытворяя такое, — сказал я. — Но пойду-ка я посплю немного. Я просто с ног валюсь.

— Слушайте, — сглотнул Уинтерботтом, — если я вернусь, то обратно уже не выберусь. Уж она постарается. Когда вы отправляетесь?

— Утром.

— Если бы, — сглотнул Уинтерботтом, — вы дали мне взаймы на билет...

— Взаймы, взаймы, взаймы, — сказал я, — дам, дам, дам. Что, черт возьми, вы бы без меня делали?

— Если бы я мог остаться у вас на ночь...

— Да, — согласился я. Глаза у меня слипались. — И я дам вам бритву и чистую рубашку.

— Вы все получите обратно, получите, честное слово. Наверно, не очень сложно будет вернуться на старую работу, ну в самом-то деле. Я хочу сказать, что не совершил ничего плохого, ведь правда же? Ну, ладно, — гордо продолжил Уинтерботтом, — я признаю, что свалял дурака, черт меня побери. Так ведь?

Я чуть не упал.

— Эй, эй, — подключилась недовольная барменша. — Вечно берегов не знаете, и вот что случается с некоторыми из вас, ребята. А ну домой, пока еще можете ходить.

— Я за ним присмотрю, — угодливо заверил ее Уинтерботтом. — Не беспокойтесь, я прослежу, чтобы он попал домой.

И нетвердой походкой он повел меня к выходу. Люди пялились на меня — на меня, побывавшего сегодня в объятиях богини.

Глава 16

Ибо, думал я на следующее утро, направляясь в Мидлендс сквозь английскую весну, хаоса было уже предостаточно. Пусть смерть моего отца уравновесится возрождением брака. Уинтерботтом сидел напротив — нервный новобрачный, чисто выбритый, в чистой сорочке. Он полночи проторчал в ванной, избавляясь от бороды с помощью моих ножниц и моей же бритвы. Я же тем временем спал мертвым сном, как мой отец.

Теперь я ломал голову над тем, что именно я должен сделать в связи с этой смертью. Похороны, некролог в местной газете, официальная регистрация события? Не должен ли кто-то взять на себя организацию чего-то вроде поминального банкета — ветчина, язык, крепкий чай, смелые шуточки распорядителя в черном, предлагающего выпить по глоточку виски? А еще завещание, его утверждение, судьба Холмана Ханта и Розы Бонёр, и маленькой библиотеки, настоящего музея печатного дела. Все его галстуки, все его рубашки, все его пальто. Я окинул взглядом вытянувшегося напротив Уинтерботтома, смотревшегося оборванцем в углу купе первого класса. Надо будет обязательно отдать ему какое-нибудь из отцовских пальто.

Сойдя с поезда, мы какое-то время медлили в нерешительности на платформе, сунув руки в карманы. Мой багаж стоял рядом, Уинтерботтом был налегке.

— А что, — спросил я, — вам так и не вернули ваше зимнее пальто?

— Нет. Оно все еще здесь, полагаю. Холодновато, правда?

Да, подумал я, если все дожидаются меня, то хорошо, что сейчас холодно. Как скоро после смерти начинается разложение? Когда он умер?

Я представил тело, еще не поддавшееся воздействию простых химических реакций, холод, почти как душа, сдерживал их, позволив телу чуть дольше оставаться самим собой. Представил мистера Раджа, совершенно беспомощного, наверное, поскольку он несведущ в похоронах (интересно, индусы по-прежнему кремируют покойников?), и одинокий колокол, в который звонит, конечно же, безглазый Селвин. Я предполагал, что увижу мистера Раджа на платформе, встречающего поезд, но его не было, и я понял, что это и к лучшему, учитывая все обстоятельства. А то, неровен час, панегирик "упокоившемуся доброму старцу", плавно перейдет в прославление весьма живой особы, ее красоты и, наконец, сговорчивости. Нет, не надо нам этого. Уинтерботтом сказал:

— Не стоило мне приезжать вот так. Надо было дать вам возможность прощупать почву, так сказать, выяснить, как она к этому отнесется.

— Она прекрасно к этому отнесется, только дождитесь вечера. После обеда будет достаточно времени для того, чтобы сломать лед, а утром вам лучше посетить своего прежнего начальника.

— У меня духу не хватит, просто не хватит духу.

— Хватит, не сомневайтесь. Как долго вы проработали на прежнем месте?

— Шесть лет.

— И за шесть лет ни одного худого слова?

— Ну, один раз, может — дважды.

— Они примут вас назад. Черт побери, вы отсутствовали всего-то с Рождества. Повинитесь смиренно, скажите, мол, свалял дурака.

— Так оно и было.

— Вот именно. Скажите, что в Лондоне не теряли квалификацию и даже, наоборот, приобрели немалый опыт.

— Приобрел, конечно, но не в этом смысле.

— Неважно, все равно они возьмут вас назад.

Уинтерботтом неуверенно кивнул. Снова и снова он неуверенно трогал свой чистый гладкий подбородок. Отважный лондонский Уинтерботтом, продержавшийся так недолго, исчез навсегда. Мы поднялись по лестнице. Уинтерботтом доверил мне самому нести оба моих саквояжа, и мы покинули станцию. Его, без конца ощупывающего свой голый подбородок, заглотил занятой понедельничный город, а я подозвал такси. Водитель, крепкий бородавчатый дядька лет шестидесяти, оказался словоохотлив и любопытен не в меру. Произношение выдавало в нем выходца из Северного Уэльса. Приезжий ли я? В гости или так? А есть ли тут у меня родня? Отец? Умер, неужто? Вот горе-то. Он вздохнул и кивнул, словно удовлетворенный тем, что умер кто-то другой, а не он. Женат ли я? А подумываю ли когда-нибудь жениться? Мужчине в моем возрасте пора бы. За газовым заводом, крикетным полем и неоготическими городскими банями, купающимися в квелом весеннем солнце, явился унылый пригород, который то же самое солнце сплющило, словно картонку, — даже не некрополь, а просто нечто, никогда и не жившее.

— Это здесь? — спросил таксист, останавливаясь. — Ни одна ставня не опущена. Ни одна. Вот он, современный мир — ни капли уважения. Шторы не заменят ставен, с какой стороны ни глянь, не так ли?

Он выгрузил обе мои сумки, получил свои деньги, весело развернулся на Клаттербак-авеню и умчал прочь из безжизненного городка — навстречу жизни. Первобытная мертвенность пригорода этим утром особенно бросалась в глаза: дряблые рубашки и ночные сорочки, никогда никем не надеванные, вяло лупцевали друг друга на бельевой веревке. Ни собаки, ни кошки не видно было на чистых, как столы в морге, тротуарах, и птиц не было слышно. Стоя позади все еще отцовского дома, я осознал вдруг, что ключей-то у меня нет (удивительно, что все мои ключи сейчас в карманах у азиатов), и придется постучать. Я постучал, никто не ответил. Где же мистер Радж? На работе, видимо, трудится над расовыми взаимоотношениями. А

может, на раннем ланче. Я не чувствовал, что передо мной дом мертвеца, и постучался снова — Роза Бонёр, книги, домашние тапочки еще хранили остатки папиной жизни, табачный дым в складках одежды... Я постучал еще раз и вдруг испугался, что труп, который уже перестал быть моим отцом, устало встанет и спустится вниз, и отопрет дверь, кашляя бесшумно и гостеприимно. Улица будто вымерла. В страхе я подхватил свои вещи и чуть ли не кубарем скатился с обмелевшго каменного крыльца. Держа по сумке в каждой руке, я стал, тяжко отдуваясь, взбираться по Клаттербак-авеню, чтобы искать приюта в "Черном лебеде", "Гадком селезне", "Флаверовом козыре".

Я вошел в общий бар, где два древних старика неспешно потягивали свои пинты. У одного из них, в костюме и галстуке-бабочке, был пасмурный безразличный взгляд давнего пенсионера, другой был укутан в грязный саван, который дополняли парусиновые гамаши, вонявшие конским навозом. За стойкой бара стояла Вероника — завитая, в свободной кофте и обтягивающих коротких брючках. Она посмотрела на меня выпученными базедовыми глазами, узнала и отошла, чтобы крикнуть наверх в лестничный пролет:

— Эдвард, он пришел. Он сегодня не жарит рыбу, — сказала она уже мне, — он готовит ее в горшочке в духовке.

— Бренди, пожалуйста, — попросил я. — Расскажите, что случилось.

— "Мартель"? — Она посмотрела на меня без теплоты. А потом сказала, наливая мне бренди: — Мы все так переживали. Вы не представляете.

— Когда он умер?

— Вчера утром. В церкви как раз звонили колокола.

— Мне очень жаль. Но я не мог не поехать в Японию.

Она протянула мне бокал и глянула на меня так, словно считала, что все-то я мог. Затем будто табун лошадей проскакал галопом — это Тед грохотал вниз по ступенькам. Он появился, вытирая руки полотенцем, и сказал:

— Привет, голубчик мой. Рад свидеться! — он склонил голову в дружеском соболезновании.

— Я не мог не поехать в Японию. Кто-то же должен работать там, в конце-то концов.

— Японцы, — возразила Вероника.

— И я очень благодарен вам. Вы это знаете, — сказал я.

— Не за что, — ответил Тед. — Ваш отец был завсегдатай. А хозяин имеет ответственность перед своими завсегдатаями.

— Я не могу попасть в дом, — сказал я. — Я его еще не видел. Я вообще никого не видел. Даже не представляю, что произошло.

— Э... понимаете, — Тед поскреб еще небритый подбородок. Звук был такой, словно чиркали спичкой о коробок. Потом он налил себе маленькую. — Хорошо, — сказал он, выпив, — выдержано, как надо.

— Раз ты пришел, — сказала Вероника, — то я пойду прилягу ненадолго.

— Иди, голубонька, — сказал он, с нежностью глядя на нее. Нос у него дергался. — Моя бедная старушечка. Давняя хворь, — пояснил он мне, провожая ее взглядом. А потом сказал: — Ваш папа не появлялся тут несколько вечеров, и кто-то из его закадычных спросил, где он. Так что я спросил у того черномазого, который у вашего папы прижился, а тот говорит, что ему нездоровится и он несколько дней провел в постели, но волноваться не о чем. Я спросил, а в чем дело-то, а этот говорит, что, мол, папа ваш чуток переел — и все, и волноваться не о чем. Но мы все равно, я и еще двое ребят, те, с кем ваш папа выпивал туточки, пошли туда, а этот черномазый очень растревожился и не желал нас пускать, как говорится. Но нас-то не шибко остановишь, так что мы пошли наверх, а там ваш папа вот-вот богу душу отдаст, а у кровати крутятся еще двое черномазых, только черномазее того, который с вашим папой жил, и говорят, что они по медицинской части доктора, и все будет путем. Ну, мне это все сильно не понравилось, и я звякнул доктору Форсайту, который жену посещает, и попросил прийти и взглянуть. Он пришел и взглянул. Он пришел и сказал, что это вопиющий недогляд, он много чего сказал и ругался на чем свет стоит. Он и вас крыл, что не позаботились как надо о своем отце, и еще кое-что, — сказал Тед. — А что там за дикости вы кричали по телеку вчера вечером? Сам-то я не смотрел, дел было полно. Будто вы там кого-то снасильничали или что?

— Кто-нибудь пытался связаться с моей сестрой? — спросил я, покрывшись пятнами стыда, меня начал бить озноб.

— Да как же, голубчик? Никто не нашел ни единого письмеца от ней в доме у вашего папы, да никто, вроде, и не знает, где она живет, кроме вашего папы, а он вообще никому никаких адресов не давал, кроме своего.

— Вы могли бы обратиться в полицию, чтобы они по радио объявили SOS, — сказал я. — Прошу вас, не поймите превратно, я не придираюсь. Я очень вам признателен, вы же знаете.

Он очень печально покачал головой.

— Никто нынче не слушает радио, голубчик. Одни телеки кругом. Хотя, неужто они не видели и не слышали вас по телеку? Тут каждая собака, кажись, вас видела. Ты видал его по телеку, а, Арнольд?

— Ага, — закивал старикан в замызганном саване.

— Ну, без разницы, — сказал Тед, — мы порешили на том, что быстрее до вас весточку дослать, в наше время расстояния ничего не значат уже. Я поразился, что ваша сестрица, видать, вообще вашему папе не писала.

— И от чего он умер?

— Сердце сплоховало, — сказал Тед. — Хотя теперь от этого все помирают. Но так написано в свидетельстве о смерти. Док Форсайт говорит, что папа ваш перегрузил желудок. Не надо было так-то, говорит. Слишком много людей, и черномазые те, что ничего не петрят в этом, хотели ему подсобить. Ну и подсобили, уж как подсобили! — зло сказал Тед. — Прямо под руки в чертов гроб и свели. Ведь именно там он теперь и будет. Я отдал ключ старине Джеки Старбруку. Он по похоронной части. А то с чего бы его прозвали Гробовщиком? — размышлял Тед вслух. — Смешно, я раньше об этом и не думал. А миссис Киу обмыла там, одела, все сделала.

— Я ваш должник.

— У меня тут списочек, сколько вы задолжали, — сказал как всегда практичный Тед. — Никогда бы не подумал, что эти телеграммы такие дорогущие, а еще телефонный звонок в аэропорт. Молодцом, что дали мне адрес, когда уезжали, этот черномазый верзила ни за что не дал бы. Он и не хотел, чтобы вы вернулись. Ой, говорит, он меня прикончит.

— Где он теперь?

— Где-то тут, наверно, — туманно ответил Тед, — он обхаживает, ну или пытается обхаживать женушку парняги, который с другой укатил. Он, кажись, сильно в нее втрескался, как я заметил, когда они тут были в позапрошлую субботу. Все кивал на то, что многие негры из Вест-Индии чуть ли не встречаются с белыми женщинами. И никому до этого дела нет в наше время. Мне его чуточку жаль все-таки. Они как дети малые, ей-богу.

— Я лучше пойду, — сказал я. — Надо бы подумать насчет похорон и поминального обеда или что там еще положено. Столько всего надо сделать.

— Мы можем устроить поминки здесь, — сказал Тед. — Почему бы и нет? У нас имеется ресторанная лицензия. По моим прикидкам, вам это обойдется по три и шесть на нос. Не могу обещать вам столько жареной рыбы, сколько мне хотелось бы, потому что ее потом не выветришь из дому. Но зато ветчинку — пожалуйста. Ветчинка, язычок, пирожки всякие. Бисквитики с кремом, если пожелаете. Ну и виски к чаю отдельно, конечно. Можете купить здесь несколько бутылочек.

— Но, — спросил я озадаченно, — кого мне позвать?

— Как кого? — удивился Тед. — Его приятелей. Мы же все были его приятелями, честное слово. И все это оценят. Ничто так не объединяет людей, как хорошие поминки.

Глава 17

В темно-бурой трапезной викарского жилища викарий возобновил обильный ланч, состоявший из холодного непрожаренного мяса с кровью и картофельного пюре с кровоточащими кусочками свеклы. Он со вздохом отпил пива, налитого из кувшина цвета бычьей крови. Предложил пива и мне. В углу скорчилась сумка с клюшками в ожидании послеобеденного гольфа. Он сказал:

— Нет нужды рассказывать вам, Денхэм, как я, черт побери, опечален новостью о вашем отце. Мне не дали повидаться с ним перед его смертью. Я даже и не знал о его чертовой смерти. Он наколол на вилку кровянистый свекольный ломтик, и глотнул его целиком, как устрицу. — Я перестал заезжать за ним перед гольфом, потому что индиец, которого вы поселили у своего отца, повел себя чертовски оскорбительно. А в церковь ваш отец никогда не ходил, будучи допотопным рационалистом, как вы знаете. Это все тот же суррогат веры. Но все равно он был чертовски хорошим человеком, — викарий решительно отрезал кусок мяса и вонзил в него свои крепкие, несмотря на пожилой возраст, зубы.

— Что значит "оскорбительно"? — спросил я.

На стене напротив меня, залитой елейным светом из окна, висела гравюра восемнадцатого века, изображавшая ухмыляющегося пастора, тискающего пухлых, грудастых шлюх. А у этого прожорливого горе-викария было чистое лицо праведника. Даже его аппетит напоминал акт отчаяния. Он тоже был жертвой современной Англии. Жадно сглотнув, викарий сказал:

— Он насмехался над христианской верой и доказывал якобы преимущества индуизма, представляете? Христианство, мол, не способно охватить мир растений и животных. Утверждал, что Церкви неведом смысл любви.

— Понимаю.

— Как бы там ни было, среда — подходящее время для погребальной церемонии. Благо у меня выдалась легкая неделя. Чертовски легкая неделя, — уточнил викарий.

— Я просто в толк не возьму, — сказал я. — Никогда бы не подумал, что мистер Радж способен на оскорбления. И он, насколько мне известно, не слишком-то ревностный приверженец индуизма.

— Он как-то слишком ревностно вел себя в отношении вашего отца, будто присвоил его. Я замечал это, когда заходил к ним, — последние два или три раза. Как будто он хотел, чтобы ваш отец всецело принадлежал ему одному. Но почему? У него что, своего отца нет?

Последняя крохотная кучка мяса, свеклы, пюре, окропленная остатками горчицы, исчезла. Викарий звякнул в колокольчик, стоявший возле кувшина с пивом.

— Его всю жизнь отечески направляли британцы, — сказал я, — очень долго. А теперь он хочет отплатить. Не отомстить, нет, а отплатить добром. Он просто хочет быть отцом. А вы стали у него на пути, поскольку вы для его спутанного сознания — тот, к кому обращаются Отче, что и делает вас отцом-соперником. Сойдет это за объяснение? Наверное, нет.

— Да я знаю все об этих чертовых эдиповых заморочках, — сказал викарий, подавляя отрыжку. — Чтобы занять место отца, надо сперва убить отца. А не превратить отца в сына. Это какая-то чертова бессмыслица. Просто мы с ним не сошлись, вот и все.

Вошла сдобная девица с открытым ртом, щеки у нее были пухлые, на голове кучерявился свежий перманент. Девица подала викарию пудинг и унесла дочиста вылизанную тарелку из-под мяса. "С полпудика груди и пудинг потом" — кто это написал, процитировал или сказал? Конечно же, Эверетт. И вот с ним-то я должен был увидеться днем. Викарий припорошил пудинг сахаром.

— Ну, значит, до среды, — сказал я. Спасибо вам большое. С кем вы теперь играете в гольф?

Викарий посмотрел на меня, не донеся до рта ложку с пудингом, и, к моему великому ужасу, глаза его наполнились слезами.

— Я один как перст почти все время, — сказал он. — И никого за все это время, ни души! Мы не нужны им в воскресенье, не нужны в понедельник. Мы им нужны только в дни их чертового рождения и чертовой смерти.

Он положил ложку на тарелку и отодвинул тарелку. Затем, передумав, снова притянул тарелку к себе и продолжил с аппетитом отчаяния поглощать пудинг.

— Они утверждают, что шпиль церкви мешает их проклятому телевизионному сигналу, — сказал он. И вытер глаза свободной рукой.

— До среды, — повторил я. — До свидания, — я поспешил убраться оттуда, услышав вдогонку:

— Мы вообще не нужны им, этим чертовым людишкам!

Эти викариевы слова нужно было срочно запить большим бокалом бренди, и я подался в паб при автостанции. Второй бренди я допить не успел — хозяин объявил отбой, я увидел, что прибывает автобус и выбежал на остановку.

Во хмелю, но не до головокружения, я восстанавливал в памяти обрывки моей прежней жизни с отцом, пока автобус ехал по Коркоран-стрит. За Коркоран-стрит следовала Маркхам-стрит. На Маркхам-стрит обреталась редакция "Вечернего Гермеса". У жвачной девицы я осведомился об Эверетте. Вскоре вышел мистер Эверетт.

— Слушаю вас, — произнес он так, словно я был ему незнаком, не приглашая войти.

— Я только хотел получить, — сказал я, — некоторую информацию. Адрес моей сестры в Танбридж-Уэллсе.

— О, это вы?

К нотному стану, приклеенному к лысине Эверетта, прибавилась загогулина на лбу, напоминающая нахмуренный альтовый ключ.

— У меня есть все основания недолюбливать вас, но сейчас я не могу об этом даже думать.

— Как Имогена?

— Вы имеете к этому какое-то отношение, да? Да? Постойте-ка. Вас здесь быть не должно. Вы должны быть в Японии. Япония, — сказал Эверетт и, к моему удивлению, принялся декламировать не то из самого себя, не то из Альфреда, Гарольда или Джона:

> Страна бумаги рисовой, где лотосы нежны,
> Где крошечные корни у крошечной сосны,
> Звенят бутоны сакуры — над озером цветение,
> И древней Фудзиямы вздохи и трясение.

— О, господи, нет! — сказал я. — Ничего подобного. Над моей девушкой надругались подростки из Вашингтон-Хайтс. Вот такую картину привез я с собой. И мой отец умер.

— Да, — спокойно сказал Эверетт, — что-то было об этом в передаче на коммерческом канале. Об этих обоих происшествиях. Имогена поправится. Она потеряла четыре зуба. Сейчас она выглядит, как в те времена, когда у нее начали выпадать первые молочные зубки. Но тогда это было естественно, конечно. В основном. А эти ей выбили, — он завздыхал и затрясся.

— Будет вам, — сказал я, — пойдемте в "Гиппогриф". Я взял его под руку. — Мне все равно нужно увидеться с Элис, — и тут я спохватился: не стоило говорить, что мне нужно увидеть

Элис. И Уинтерботтому лучше пока держаться подальше от Эверетта.

— Все со мной в порядке, — сказал Эверетт, вытрясываясь из моих рук. — Я схожу с вами. Труди! — попросил он жвачную девушку. — Принеси мне шляпу, будь умницей. Мне же не нужно надевать пальто, правда? — спросил он меня. — Отличный на вас костюм, — заметил он, щупая материю, — вы, кажется, богач, верно?

— Если вы имеете в виду "Избранные стихотворения", — сказал я, — то я весьма склонен...

— Ох, бес с ним, с "Избранным"! — вскричал Эверетт. — Спасибо, дружочек, — сказал он девушке, принесшей ему шляпу, — огромное спасибо!

Он чуть успокоился, пока мы шли в "Гиппогриф" и сказал:

— Я действительно очень рад, что вы пришли со мной повидаться. Я знал вашего отца. Мне кажется, вашей сестре будет приятно, если я напишу о нем, как вы думаете? Когда похороны?

— В среду пополудни.

— Я приду. Жаль, что придется встретиться с Берил и Генри в таких печальных обстоятельствах. Но мне будет приятно. Уверен, что у них все в порядке, просто они очень заняты. Я писал им, знаете ли, но они пока не ответили.

— Так какой у них адрес? Похоже, никто так и не сообщил им о случившемся.

Эверетт мгновенно остановился и вытащил из кармана набитый бумажник. Он неуклюже рылся в куче визиток и каких-то мятых клочков бумаги, угрюмо ворча себе под нос "Туу-туу-туу", словно доктор Джонсон[1]. Наконец, он нашел то, что мне было нужно.

— Вот он.

Я заглянул в почтовое отделение, которое оказалось поблизости от "Гиппогрифа", и, пока Эверетт в ожидании бесцельно разглядывал потолок, отправил телеграмму. У отца не осталось в живых других родственников, кроме нашей тетки в Редруте, но она была слишком стара, чтобы осилить поездку. Берил позднее даст ей телеграмму. Остальных оповестит Тед (по три и шесть на нос, не так ли?), так что нет необходимости

1. Сэмюэль Джонсон (1709—1784) — английский критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения, составитель толкового словаря английского языка, не устаревшего до сих пор. Ему посвящена восторженная книга Джеймса Босуэлла (1740—1795) "Жизнь Сэмюэля Джонсона", откуда и цитируется "Туу-туу-туу".

печатать некролог в газете, рассудил я, поскольку все они — завсегдатаи "Черного лебедя" или "Гадкого селезня".

Мы спустились в подвальчик "Гиппогрифа", постучались, были пристально изучены новым лицом в окошке и допущены. За стойкой стоял Мэннинг.

— А где же Элис? — спросил я Эверетта.

— А где же Элис? — повторил Эверетт, как попугай.

И удивительно к месту, в ответ на эту его реплику, брыластый дядька на высоком стульчике у барной стойки — судя по голосу, преуспевающий торговец с лотка, запел:

> Элис, ты где? Ты неблизко!
> В подвале купаешь киску![1]

— Взяла выходной, — сказал Мэннинг. — Поехала со своим дружком в Стратфорд. Пожалуйста, сэр, — подал он виски жиртресту у стойки.

В полумраке я разглядел парочку, которая танцевала, оплетая руками она — его шею, он — ее талию. Но музыкальный автомат безмолвствовал. Безмолвный любитель читать газеты в полумраке, которого я помнил еще с прошлого раза, по-прежнему был здесь и щурился с неистовой сосредоточенностью. Мы с Эвереттом взяли по светлому элю и чашку маринованных коктейльных луковок. Из мрака в дальнем углу возник призрак вест-индского гитариста, но не того, которого я видел в прошлый раз.

— Вижу, куда вы смотрите, — сказал Мэннинг, — пришлось от него избавиться. Совсем заупокойным стал. Все о смерти, да о Боге, да о Божьей матери и все такое прочее. Посетители на стену лезли, — он подал хрустящий картофель на гарнир к нашим коктейльным луковкам. Я с жадностью набросился на свой ланч. Эверетт спросил задумчиво:

— Вы знаете, я полагаю. Знаете, что с ней случилось?

— Знаю, — я сморщился, глотнув эля — теплого, пресного, но решил не отказываться, так меньше шансов окосеть.

— А как вы об этом узнали? — спросил Эверетт настойчиво. — Как вы могли узнать, если были в Японии?

— Новость ждала меня на Багис-стрит в Сингапуре, — сказал я, — и подтвердилась в Токио.

— О, — вздохнул Эверетт опустошенно, но без удивления. — В каком-то смысле оно и к лучшему, — сказал он. — За-

1. "Alice, where art thou?" — популярный романс Джозефа Ашера (1829–1869). Вторая строчка в цитируемом отрывке — плод народного творчества.

то она вернулась к отцу. Отцы на старости лет особенно нуждаются в дочерях.

— Не такой-то вы уж старый.

— О нет, я очень стар. Под шестьдесят, — возразил Эверетт. — У меня была более насыщенная жизнь, чем у большинства людей. Я вкусил жизни досыта, будучи поэтом. Да и не любит она мужчин, правда. Она любит только своего папу. Она стала такой, какой всегда была, — похудела, правда, сильно, да еще без зубов. И к парикмахеру не ходит. Нам хорошо вместе, да! Хорошо! — бокал дрогнул в его руке. — Мы очень счастливы вдвоем.

— Она вставит себе зубы через государственную систему здравоохранения, — безжалостно сказал я. — А перед этим сходит к парикмахеру. И ее снова заинтересуют мужчины. Вам этого не предотвратить.

— Нет-нет! — воскликнул Эверетт. — Она ненавидит секс. Она всегда притворялась, что он ей нравится, потому что хотела казаться взрослой. Но она так и не повзрослела. Все это одна только видимость, понимаете? Нечто наносное, шкура, скрывавшая ее истинную сущность. Уверяю вас из глубин собственного опыта, из глубины отцовского сердца, что это единственно возможные настоящие длительные взаимоотношения с женщиной. Да, да, да!

— Нет, нет, нет! — эхом отозвался лоточник со своего одинокого стула.

Он и не думал кого-то оскорбить. Эверетт проигнорировал его реплику и продолжил:

— У вас нет дочери, так что вы не можете знать. К кому обращается Шекспир, истерзанный физической похотью и постыдностью актерской жизни? Не к супруге своей, которая все равно вскоре станет его вдовой, но к своей дочери. Чудесное, потерянное, преображенное дитя. Все это вместе. А теперь, надеюсь, — сказал Эверетт, — я вступаю в заключительный период. Период поэзии более утонченной, наполненной, вероятно, мудростью старца, благословляющего этот грешный мир, поэзии уходящего на покой, — он вытянул руки в благословляющем жесте, — поэзии, которая говорит, что никому из нас на самом деле не дано право на ответ.

— Ответ? Какой? — спросил я.

— Ответ на все вопросы, в конечном счете сливающиеся в один-единственный вопрос, вопрос, который непросто сформулировать, хотя всем известно, о чем он.

Я украдкой посмотрел на Эверетта. Глаза Эверетта в экстазе закатились к потолку. Честно говоря, у меня и в мыслях

не было, что Эверетт безумен — не более безумен, чем викарий, или Тед Арден, или Селвин, или не-телезрители этой новой Англии. Похоже, Эверетт наконец-то, и по всей видимости после долгих исканий, нашел нечто пригодное для того, чтобы повесить на него боевые доспехи. Истерзанная бурей дочь причалила к родным берегам, истерзанный бурей поэт причалил к родным берегам. Корабль и гавань стали одним целым. А мне, видимо, пора отчалить? Неужели? Неужели у меня есть другие дела? Но я ни о чем не мог думать, кроме последнего долга еще живущему Уинтерботтому, долга, который я все равно не в состоянии отдать немедленно. А вот заботу о мертвых нельзя доверять дилетанту. Отец мой, наверное, сейчас в умелых руках, и подобие человека вскоре станет набором "Юный химик". Тед будет прикидывать, сколько заказать ветчины и сколько буханок хлеба нарезать. Очень профессиональные слова ждут, когда их произнесет над усопшим тренированный голос горе-викария. Осиротевший сын, этот дилетант, теперь получил передышку, чтобы подумать о том, какой ужасный проступок он совершил — приехал домой без разрешения, хотя он сам купил билеты, бросив токийский филиал на попечение человека, который запросто может сбежать, прихватив миллион с гаком йен наличными, которые до сих пор лежат в хранилище, не отправленные в банк. Ох... ладно.

— Тогда до среды, — сказал я Эверетту.

— О да, — ответил он. — И я напишу стихотворение на смерть мастера-печатника. Оно появится в субботнем номере, согласны? Погодите, не уходите пока.

Трясясь, он вытащил из кармана записную книжку в переплете из глянцевой кожи и принялся писать в ней карандашом. Вест-индиец вжарил по струнам, но Эверетт будто впал в забытье и ничего не услышал. Вест-индиец запел:

В конце войны, и, увы, не мимо,
Бомба упала на Хиросиму.
Пусть преступленьем зовут это здесь,
Хоть это всего лишь научный прогресс...

И далее в том же духе, несколько куплетов незатейливого изложения карибской точки зрения на достижения белого человека. Я взял пиво Эверетту и бренди для себя, пока Эверетт крайне сосредоточенно обдумывал и записывал рифмы, губы его беззвучно шевелились, карандаш набрасывал время от времени варианты рифм в прокуренном воздухе. Когда певец выдохся, и его сменила нежная медленная мелодия из му-

зыкального автомата, а обнимающаяся парочка снова вышла танцевать, Эверетт объявил:

— “Эпитафия Печатнику”. Слушайте:

Пусть Слово сотворил не он, но он
Нес Слово тем, кто был уже готов
Его читать. Пусть переплет дурён,
Том тела умер, а сумятицу шрифтов
Смерть стерла, чтоб читать абсурд поболе.
Бог пишет заново его, и в новом переплете
Ничто не канет. Только в Божьей воле
Репринт создать, который вы прочтете.

— Но это, — сказал я, — в такой же степени может стать эпитафией *вам*.

— Она вашему отцу, — возразил Эверетт. — Я опубликую ее в субботу.

Покинув “Гиппогриф”, я зашел в кофейню по соседству, чуть ли не уверенный, что застану там Уинтерботтома, кусающего ногти в ожидании меня — его герольда, посланного к Элис. Но типографа в кофейне не оказалось. Я решил, что пора мне зайти домой (поскольку багаж мой остался в “Черном лебеде”, надо было сначала заскочить за ним). Отец мой теперь безусловно низведен в статус “во гробе лежащих”. Бояться было нечего. Я больше никогда его не увижу, ни живого ни мертвого.

Глава 18

В только что открывшемся “Черном лебеде” я получил свои сумки, а также ключи от входной двери отцовского дома. Их вернул Теду старый Джеки Старбрук, гробовщик, — и это был сигнал, что дело сделано. Я пошел, весьма резво, вниз по Клаттербак-авеню, храбро помахивая саквояжами. Покойник теперь в гробу с заколоченной крышкой и уж точно не выберется наружу. А гроб — так это просто предмет обстановки, даже более безобидный, чем фортепьяно (в котором по ночам шастают мыши), или газовый камин (который может погаснуть), или телевизор (который, включив, трудно выключить). И все равно сердце у меня ёкнуло, когда я открыл входную дверь. Гроб все-таки не был звуконепроницаем. А вдруг я услышу бормотание и шорох, услышу приглушенную мольбу выпустить его на волю? Уронив сумки на пол, я замер в холле минуты на две, тревожно присматриваясь к двери в

переднюю. Даже если он и станет молить выпустить его, я ведь ничего не смогу сделать, правда же? Здесь нет никаких инструментов, которыми можно было бы отодрать крышку. Зато если я буду вести себя тихо, то, может быть, он меня не услышит. Я на цыпочках прокрался в переднюю, в полумрак задернутых штор. Я включил свет. И даже если он услышит, что кто-то ходит, я же могу и кашлянуть, и что-то сказать, он не узнает, кто это. Да и вообще, черт возьми, он уже пожил свое. И сейчас не время требовать еще, особенно после стольких трат и усилий.

Я сел и закурил, греясь у электрокамина. Из соседней комнаты не доносилось ни звука. Наконец, набравшись храбрости, я встал, расправил плечи и пошел к двери в гостиную. Я толкнул дверь и, разумеется, она заскрипела, как в фильме ужасов. Я зажег свет. Комплект стульев выстроился у окна, чтобы освободить место для козел. На козлах стоял гроб. Осмелев окончательно, я постучал по крышке. Ответа не было, никого не было дома. А потом в приступе недостойной сына непочтительности я включил телевизор. В одно мгновенье жизнь хлынула в комнату. Это было представление варьете — девицы вздымали ляжки под пение узколобого красавчика. Я нажал выключатель, и звуки, и видения полегли под пятой тишины и пустоты, растоптанные самой смертью. Смерть была в этом доме свершившимся фактом, могущественным, ощутимым, даже когда я вышел в другую комнату почитать. Ибо стоило мне попытаться отвлечься, погрузившись в "Барчестерские башни"[1], как все персонажи романа и место действия вдруг скукожились до некой отчаянно-гальванической полоски на экране телевизора. Я осмотрел комнату, мне почудилось, что она изменилась. Неужели смерть заставила ее измениться? Нет, это не смерть, а мистер Радж. Комната просто-таки источала запах Цейлона — тошнотворно-благоуханного. На столе лежала салфетка, я заметил теперь ее цейлонский стиль. И настоящим потрясением для меня стало открытие, что Роза Бонёр исчезла со стены, а на ее месте красовалась чудовищно вульгарная цейлонская мазня, изображающая лунную дорожку на воде. И повсюду я увидел книги мистера Раджа: "Раса и расизм", "Основы социопсихологии", "Начальная социология", "Бхагавадгита", альбом репродукций художественных произведений в стиле "ню". А на каминной полке — фото без рамки, фото Элис — Элис в шерстяном платье, заурядная дочка трактирщика. Я пытался

1. "Барчестерские башни" (1857) — роман Энтони Троллопа (1825—1882).

учуять след своего отца, но кажется ничего не осталось. Правда, его книги все еще оставались здесь, но они были скорее холодным подтверждением профессиональных достижений, запертые в застекленном стеллаже, который, думаю, никогда не отпирался. Но дело было не только в отцовских пожитках, дело было в том, что дом не хранил на себе никаких настоящих свидетельств, что отец жил здесь, — не было здесь даже следов отцовского запаха, ни малейших намеков, отзвуков его пребывания. Я пошел на кухню, чтобы отыскать хоть что-то съедобное: банку американской острой тушенки — настоящую экзотику среди горшков с пряностями и ингредиентов для карри. Я поел этой тушенки (почему-то поедание мяса в доме, где лежит мертвец, всегда наводит на мысли о поедании мертвечины), попил воды. Потом, настороженный и нервный, как пес, которого оставили одного, я забеспокоился о Токио, о Мисиме — моем первом помощнике, оставленном теперь за главного. О наличных, которые следовало положить на счет в банке, о редких отрывочных воспоминаниях Мисимы о войне в Нагасаки: ни упрека, ни мельчайшего движения губ или бровей, свидетельствующего о том, что он чувствует к тем, кто причастен к надругательству над Японией. Вот Мисима быстро и бесшумно пакует посреди ночи пишущие машинки, арифмометры, прочее дорогое демонстрационное оборудование. Вот Мисима уходит, чтобы исчезнуть бесследно. И еще сильнее я нервничал, понимая, что скоро настоящий шум настоящего вторжения внешнего мира должен потревожить покой этого дома телефонным дребезжанием. По телефону мне продиктуют телеграмму от Берил из Танбридж-Уэллса, Райс, видевший мое краткое явление по телевизору будет снова и снова пытаться весь день продержать меня на телефоне. Я на носочках вышел в коридор, подкрался к телефону. Но только я протянул руку, чтобы снять трубку и таким образом обезвредить адскую машину, как адская машина затрезвонила что есть мочи. Инстинктивно я схватил трубку.

— Да?

— Товар у него, — прошептали в трубку, — теперь вопрос, где его держать. — В моем бредовом состоянии я тут же вообразил, что это подельник Мисимы сообщает об их общем успехе и конце Денхэма, но ошибся номером, телефонной станцией, городом, полушарием. Такое возможно, возможно все. Как с бедняжкой Имогеной на Багис-стрит.

— Да? — Я хотел послушать еще.

— Алло, это кто? — продолжила трубка. — Фред, ты? — Возбужденно и уже сомневаясь: — Алло, алло, простите, а какой это номер?

Дрожа, я бросил трубку. Гроб в соседней комнате скрипнул. Честное слово, он скрипнул! Я вернулся к электрокамину и включил радио. Радио сочно выговорило: "...а также при перемещении. Можно ли действительно увязывать эту проблему с теми проблемами, которые, из-за внешней схожести, — тут оно ужасающе зашипело, — считаются, причем не делается никаких попыток подтвердить фактически, почему именно, проблемами одного порядка, — вопрос, на который можно ответить только после гораздо большего количества исследований, чем было до сих пор проведено в условиях, при которых наиболее велика вероятность возникновения данной проблемы. — Звук угрожающе усиливался каждую минуту, и я попытался угихомирить этот голос, способный, как мне на самом деле показалось, и мертвого разбудить. Но бакелитовая ручка регулятора соскочила, как только я ее повернул — это был дряхлый довоенный приемник, — и покатилась по полу. — Определенно, — громыхал голос, — мы можем гордиться тем, что сумели, пусть и ненамного, продвинуться в направлении прояснения природы данной проблемы..."

Я прикончил радио на корню (выдернув штепсель из розетки у плинтуса), опасаясь трогать любые другие кнопки жуткого прибора, а потом, отдуваясь, ползал на коленях по полу, выслеживая сбежавшую ручку регулятора. Она затаилась под креслом среди клубов пыли и коврового ворса. Я начал с трудом выбираться из-под кресла, и вдруг, без особого удивления, впрочем, услышал прямо над моими ягодицами голос Востока.

— Так это вы, мистер Денхэм, — сказал мистер Радж, — вы молились за упокой души достойного старца, вашего трагически усопшего отца.

Аутентичный Радж, однако, не совсем тот расслабленный Радж, которого я знал. Наверное, он вошел, отперев двери бывшим моим ключом под прикрытием орущего радио. Я встал, повернулся, и вот он во всей красе — плащ, дамский пистолетик в руке — ни дать ни взять молочно-шоколадный гангстер.

— Что вы смотрели в Стратфорде? — спросил я. — "Гамлета" или "Отелло"?

— Раз вам известно, что я был в Стратфорде, мистер Денхэм, — ответил мистер Радж, — значит, вам уже многое известно. Значит, вы почти, если не полностью, всеведущи.

— Уберите пистолет, — сказал я. Мне и во сне не снилось, что я когда-нибудь кому-нибудь скажу эту фразу. Я даже со сцены ее никогда не произносил. А ведь, будучи уже взрослым, я участвовал в двух любительских постановках — один

раз в Лумпуре, представляя слугу в "Товии и ангеле"[1], а второй — в Кучинге, играя итальянского учителя пения в "Критике"[2], потому что в то время там больше никто не знал ни слова по-итальянски. — Уберите пистолет, — повторил я с явственной профессиональной мягкостью, сообразной обстоятельствам.

— Ах, да, мистер Денхэм, — спохватился мистер Радж, пряча пистолет, — заслышав шум и увидев свет, я испугался, что кто-то проник в дом. Я слыхал о похитителях трупов, мистер Денхэм. Как хорошо, что я узнал вас по размерам вашей задницы, если мне позволено будет употребить подобный термин, потому что пистолет заряжен.

— Ну, — сказал я, — кажется, вы и так тут до фига наколбасили. Снимайте плащ. Чувствуйте себя как дома. Хотя, наверное, это вы теперь должны предложить мне чувствовать себя как дома.

— Это ваш дом, — серьезно сказал мистер Радж, — больше, чем мой. Не думаю, что я останусь здесь и впредь.

И он сел на стул, так и не сняв плаща.

— Я не знаю, чей это дом, поскольку все, что мне известно, он должен достаться моей сестре Берил. Он не мой в любом случае. Ни этот дом, ни это захолустье, ни этот городишко, ни эта проклятая страна больше ничего для меня не значат. Связей не осталось.

— Я знаю, о чем вы раздумываете сейчас, мистер Денхэм, — сказал мистер Радж. — Вы раздумываете о том, что это я виноват в смерти вашего отца. Вы раздумываете, что после всех данных мною обещаний, я подвел вас, и подвел вашего отца, и, вероятно, самого себя, и свою расу я тоже подвел. Я не писал вам, мистер Денхэм, о том, каково состояние вашего отца, потому что думал, что я и мои друзья-медики сможем все поправить так, что никто ничего не узнает, я думал, что не стоит вас беспокоить, когда вы так далеко — в Японии.

— Но я беспокоился. Это совершенно непохоже на моего отца — не написать мне ни строчки. Ну почему, почему вы такой непроходимый дурак?

В глазах мистера Раджа вспыхнул холодный огонь.

— Это вы непроходимый дурак, мистер Денхэм, уж простите черного за то, что он употребляет подобное выражение в адрес белого человека, если полагаете, что я задумал убить вашего отца...

1. "Товия и ангел" (1960) — телеопера А. Блисса (1891–1975).
2. "Критик, или Репетиция одной трагедии" (1779) — комедия Р. Б. Шеридана (1751–1816).

— Никто не говорит, что вы хотели убить его, — сказал я. — Вы просто не позаботились о нем, вот и все. Проявили недопустимый, постыдный и еще какой-то, по словам доктора, недогляд.

— Эти обвинения, мистер Денхэм, я категорически и горячо отвергаю. Ваш отец ни в чем не нуждался. Я относился к нему лучше, чем когда-нибудь относился к своему отцу. Если бы мой отец кушал столько, сколько ваш, он бы до сих пор был жив. Ваш отец был очень хорошо присмотрен, возможно, учитывая некоторые весомые исторические факторы, лучше, чем он того заслуживал.

— Что вы имеете в виду? Чем он провинился?

— Дело не в том, чем лично он провинился, мистер Денхэм, а в том, сколько зла совершило его поколение — в своем невежестве и тирании. Он был здесь, ваш отец, в моей власти.

— Ох, да не будьте же таким идиотом, черт вас дери, — сказал я.

— Ладно, мистер Денхэм. Что могло помешать мне отравить вашего отца? Он был стариком, он все равно скоро умер бы.

— Но, ради Бога, с какой стати вам этого хотеть? Разве вы его ненавидели? Не могли же вы, непримиримый борец с расизмом, ненавидеть его только за то, что он белый?

— О, я любил вашего отца, мистер Денхэм, я любил этого прекрасного старика, — мистер Радж потер озябшие руки и уставился на решетку электрического камина. — Но иногда, когда он спал и храпел, безразличный и ко мне, и к моему народу, и ко многим другим народам, иногда моя любовь могла выразиться в том, чтобы сжать руками его горло и увидеть, как он умирает. Я говорю вам об этом, чтобы доказать, что я не убивал его. Когда он сильно заболел, за ним был самый лучший медицинский присмотр. Мои друзья многое испробовали на нем. Они были рады.

— Еще бы им не быть, — сказал я, — такой распрекрасный белый, лежит, не сопротивляется. Все равно умрет. Вот в чем, несмотря на все ваши чертовы байки о том, что мы братья, и коренится истинная враждебность. Все это не работает и не сработает никогда.

— Что не сработает, мистер Денхэм?

— Притворство, будто мы понимаем друг друга. На такой адски маленькой планете одна половина не в состоянии понять другую. И я притворялся, как все, но как же я разочарован!

— Кто разочаровал вас, мистер Денхэм?

— Вы! — закричал я в гневе. — Вы, вы и еще раз вы! Сбили меня с толку своей западной одеждой, своим изысканным английским лексиконом, видимостью, что расовая нена-

висть якобы изобретена белыми. Видимостью, что вам можно доверять.

— Я понимаю, мистер Денхэм, — сказал мистер Радж, вставая, — Значит, мы не равны?

— Ох, да я совершенно не об этом. Вы все совершенно разные, но прикидываетесь одинаковыми. Когда вы произносите слова "любовь", "равенство" или "братство", вы вводите нас в заблуждение, заставляя думать, что вы вкладываете в них тот же смысл, что и мы. И когда вы говорите о своей преданности моему отцу — "этому доброму старцу", -- передразнил я его высокопарный слог, — вы с таким же успехом можете иметь в виду любовь хозяина к свинье, которую он откармливает на убой. Я не вас обвиняю, — сказал я, уже обессиленно, — я обвиняю себя самого.

— Я думал, что вы другой, мистер Денхэм, — сказал мистер Радж, — другой, потому что вы объездили много стран, жили в соседстве с многими различными расами. И по тем же самым причинам мне нужно теперь серьезно прислушаться к тому, что вам пришлось сказать. Вы говорите, что любовь якобы невозможна между белой и черным? Знаете, я много думал об этом. — Внезапно он снова сел, уже на другой стул. — Чаятельно? Потому, что я темнокожий, — сказал он.

— Значит, это был "Отелло"? — я не умею долго кипятиться.

— О, мистер Денхэм, город, где родился Шекпир, посещают не только ради того, чтобы посмотреть его пьесы. Есть еще весна, река, любовь и лебеди. "О нежный лебедь Эйвона, — произнес мистер Радж, — как ты прекрасен"[1]. Он порывисто вскочил и вынул пистолетик из кармана.

— Мистер Денхэм, — решительно сказал он, — если вы не простите меня, то кто-то должен будет умереть.

— Господи, — сказал я, — не будьте занудой. В соседней комнате находится гроб с покойным. Достаточно смертей на сегодня.

— Вы или я должны умереть. Одной смерти никогда не достаточно. Вы должны умереть за то, что не простили меня. Я должен умереть за то, что не удостоился прощения.

— Мистер Радж, вы пили?

— Немного, — сказал мистер Радж. Дульцем пистолета он принялся загибать пальцы свободной руки, — чуточку виски в пабе в Стратфорде, потом немного хорошего вина в "Доме истины", где мы обедали, французское вино, очень хорошее.

1. Цитата из стихотворения Бена Джонсона "Памяти моего любимого мистера Вильяма Шекспира".

Потом чаю в трактире, который называется, как ни странно, "Черный лебедь". А дольше она не осталась. Она не пошла со мной на далекие луга, чтобы последовать вашему совету насчет длительной копуляции. Она настояла, чтобы вернуться ближайшим поездом. Так что я привез ее назад, а потом она сказала, что должна навестить отца и мать, и что я — не ее. А я отправился в одиночестве пить пиво, так что денег у меня теперь осталось очень мало. И тогда я стал бродить здесь поблизости, вокруг места преступления, и увидел свет в окне. Я полагаю, что не слишком пьян. — Он открыл дверцу буфета и вынул оттуда полбутылки "Мартеля" и стакан. — Вы присоединитесь ко мне, о недоверчивый и ненавидящий мистер Денхэм? — пригласил он меня.

— Раз вы меня так величаете, — ответил я, — то, разумеется, нет.

— Очень хорошо, тогда, — сказал мистер Радж, — придется пить в одиночку. — И немедленно выпил полный стакан чистого бренди и аккуратно вытер губы пистолетом. — Моя попытка установить контакт завершилась провалом, — сказал он, — провалом, провалом, провалом.

— Да проваливайте уже к черту со своим провалом, — сказал я, — с кем не случалось?

— То есть вы признаете? — уцепился мистер Радж. — Признаете, что я потерпел неудачу? Я полагаю, вы не можете это отрицать. Поскольку ваш отец теперь лежит в гробу, как вы говорите, а гроб стоит тут поблизости, в соседней комнате? Ах, будет вам, эта глава завершилась. И сегодня вечером вы займете свою старую кровать, которая, по счастливой случайности, теперь застелена чистыми простынями, а кровать вашего отца останется нетронутой, неся на своем матрасе следы мертвеца и его невоздержанности.

— Я могу спать и здесь — вот в этом кресле. Ничего не имею против.

— Вы пытаетесь сделать вид, мистер Денхэм, будто ничего не переменилось, но вы знаете, что это не так. Не стоит упрекать в притворстве других, если сам так много притворяешься. Я найду ночлег где-нибудь еще. Только преданность вашему бедному старому, доброму, мертвому отцу удерживает меня от этого.

— А мне помнится, вы рассыпались в благодарностях.

— Да, конечно, я и был благодарен. Я был неприкаян, но этот дом очень скоро стал, в сущности, и моим домом, мистер Денхэм. Это я принял вашего отца в свое лоно, а не он принял меня в свое, — мистер Радж насупился, а потом беспокойно затряс головой, — я был собран и ответственен. Я готовил и сте-

лил постели. А потом та женщина, что здесь прибирала иногда, увидела, что "в доме поселился негр", и сказала, что ноги ее здесь больше не будет, поскольку все негры непременно грязнули — ведь они черные. И я делал все сам, мистер Денхэм, без единой жалобы. Теперь я могу уйти. Следует наконец приложить усилие, чтобы установить контакт. — Он поднял бутылку с бренди к лампе и сощурился, разглядывая ее на просвет. — Это надо допить, — сказал он. — Я купил его для вашего отца, но ему оно больше не нужно.

Пренебрегая стаканом, он начал пить прямо из бутылки. Я восхитился и сказал:

— А вы многому научились с тех пор, как приехали в Англию.

— О да, — выдохнул мистер Радж, опуская бутылку. — Мой английский улучшился, как мне кажется. Хотя вы, наверное, станете уверять, что я использую слова в их неверном значении. Ну это мы еще посмотрим.

Внезапно, мистер Радж принялся быстро маршировать, нелепо размахивая руками — бутылка — в одной, пистолетик — в другой. Он осклабился, демонстрируя мне две безупречных белоснежных шеренги зубов, ни единого разрыва в строю. Он нахмурился так, что вся верхняя часть его лица покрылась морщинами. А потом разразился чем-то вроде ритмической рапсодии, составляющими которой были английские слова, но сам язык был низведен, подобно телу моего отца, очень быстро низведенному к простым, ничего не означающим элементам, лежащим бок о бок, но никак не связанным совокупностью смысла.

— Заткнись. Заткнись уже, — сказал я. — Хватит с меня абракадабры на сегодня. Заткнись.

Тут зазвонил телефон. Мистер Радж оцепенел и сказал, наставив на меня бутылку:

— Если вы ответите, мистер Денхэм, то я буду вынужден застрелить вас.

— Что за гребаная дурь. Пропустите меня.

— О нет, мистер Денхэм, вы не должны слушать подлые поклепы. Не должны слушать тех, кто во всем обвиняет меня.

Телефон хрипло и настойчиво трезвонил, а я не мог пройти мимо вооруженного плащеносного мистера Раджа.

— Пропустите меня, — повторил я, — Я должен ответить, вы, безмозглый ублюдок. Это, наверное, моя сестра.

Никакие дальнейшие вторжения реального мира мне были уже не страшны — реальный мир, одетый в плащ и совершенно сбрендивший, преграждал мне путь.

— Если это ваша сестра, то тем более не отвечайте. А то вы начнете меня оговаривать, скажете, что я во всем вино-

ват, и подлые поклепы расползутся дальше. Он встал в узком дверном проеме, полный решимости застрелить меня из бутылки, пистолет вяло сжимала другая рука. Я попытался было отпихнуть его правым плечом, но мистер Радж стоял как вкопанный.

— Нет-нет, мистер Денхэм, не бывать этому. Вскоре телефон прекратит свои домогательства, и тогда мертвый снова почиет в покое.

— Безмозглый гребаный дурак! — сказал я. — Не смейте командовать мной в моем собственном доме. Я сейчас на вас чертову полицию натравлю.

— Вы сейчас разговариваете, как тот чертов пастор. Все чертыхаетесь и богохульствуете. Но я прощаю вас, ибо вы потеряли голову.

— Чертов безмозглый черномазый ублюдок!

Телефон умолк, словно подавившись этими словами.

— Итак, — сказал мистер Радж, — вы тоже думаете обо мне, как о черном, и соответственно презренном человеке, вроде того негритянского певца из Вест-Индии. Хорошо, мистер Денхэм, я достаточно вам услужил. И теперь убираюсь прочь. Теперь вы еще скажете, наверное, что я недостоин белого братства? Это уж совсем ни за что ни про что. Мы больше не станем *просить*, мистер Денхэм, теперь мы будем *брать*.

Мистер Радж посмотрел вниз, на свою правую руку, увидел, что́ в ней, лучезарнейше улыбнулся, а потом мягко опустил бутылку на пол.

— Да, безмозглый, — сказал он. — И черномазый. Но не ублюдок! Мой такой же безмозглый и весьма приятный во всех отношениях брат из Греевской школы барристеров может предъявить вам все наше фамильное древо. Ублюдков в нашем роду не водилось.

Он пошел по сумрачному коридору к выходу. Сквозь призрачное рифленое стекло в двери сочился луч уличного фонаря.

— Всякое бывало, мистер Денхэм, — сказал он, — но только не внебрачные дети, не бастарды. Хорошее, звучное это слово — "бастард", громыхает, как маленькая португальская корабельная пушка, "Бастард", — сказал он мне на прощание вместо "доброй ночи" или "до свидания", вполне дружелюбно кивнул и вышел.

Он очень тихо закрыл за собой дверь, а потом, вспомнив напоследок, протолкнул что-то в щель для почты. Это что-то жестяно звякнуло об пол — его или, вернее, мои ключи. А потом он осторожно сошел по ступенькам крыльца. Я не собирался его догонять.

Бедный мистер Радж, несмотря ни на что. Завтра он, раскаявшись, приползет обратно, чтобы забрать свои книги, одежду, салфетку, цейлонские приправы для карри. Контакт? Эхе-хе... Я всегда знал, что настоящего контакта никогда не было — разве что краткие соприкосновения в постели, за общей бутылкой у стойки или за столом в белых оштукатуренных колониальных домах. Слава Богу, что от меня, как торгового представителя в Африке и Азии, никогда не требовалось глубокого погружения в философию полного слияния через постоянное сближение и углубление контакта, из-за которой под конец седеешь от разочарования. Это был удел постаревших до срока малооплачиваемых колониальных чиновников, удел новых, не таких уж малооплачиваемых интеллектуальных миссионеров или организаций, аббревиатуры которых похожи на простые химические формулы. Но у меня никогда не было и не будет причин, чтобы лгать самому себе, чтобы, залив разочарование очередной бутылкой, громить столы и бить барменов в бессильной злобе. Вот просто человек, Дж. У. Денхэм, покупатель и продавец, одинокий и предпочитающий быть таковым за исключением работы, игр, постели, тень его движется на фоне экзотических декораций, как вездесущий представитель "Бэнк оф Америка" на рекламных картинках в "Тайм" и "Лайф", человек, которого совершенно устраивает его жизнь вплоть до того дня — пусть этот день наступит как можно позднее, — когда он присоединится к своему отцу, пусть и не в соседней могиле бесславного пригорода.

Но если такой контакт невозможен, был ли возможен иной? Ведь "здесь" — не то что "там"? Все телезрители — зомби, все прочие — безумцы, и для тех и для других я — сумасшедший. Но *здесь* ты должен был имитировать контакт, выслушивать, согласно кивать, не понимая ни бельмеса, скалиться, как мартышка, ловя афоризмы, скачущие, словно теннисный мячик — повод для громкого хохота окружающих, незаметные изменения и в их собственных трудах в поисках контакта.

Как если бы я сказал: "Это напомнило мне один удивительный обычай, существующий в верховьях реки в довольно отдаленной провинции Рама-рама... (А, ну да, и где же это?) Видите ли, когда мужчина вступает в брачный возраст, старейшины вырезают причудливой формы отметины у него на... (А, ну да, что-то такое показывали по телеку. — Зевок, и взгляд, бесцельно обшаривающий комнату в напрасных поисках чего-то реального — то есть телека.) А женщины там действительно прекрасны. Такие грациозные, знаете ли, такие женственные до кончиков ногтей... (А, ну да, черноma-

зенькие-то? Скажите, а правда, что у китаек все устроено, ну, вы поняли, не так, как, ну вы поняли, не как у наших? А то тут один чувак — ха-ха! — болтал — ха-ха! — что щелки у них наискось, ха-ха!) Ох, скорее бы кончились похороны, миновали поминки, скорее бы уехать туда, где я точно знаю: контакта нет, и нет нужды его имитировать".

"Я вывез все из демонстрационного зала, — сказал Мисима, — и отправил деньги в надежное место -- моему другу, проживающему в Корее. И теперь, сэр, вам остается только одно — харакири. Я принес вам нож, процедура очень проста, сами увидите. Это безусловно наилучший выход".

Потом вошел отец и прокашлял:

"Там на кухне есть сосиски, сынок, мы можем их поджарить. Не так тяжело для желудка, как эти карри, рис и прочее. Видишь, что они со мной сделали. Мне-то они очень по нраву, а вот желудок не сдюжил".

— Ладно, ладно, хватит, — сказал я, разбуженный от тяжкой дремы стуком в дверь. — Кто-нибудь, пойдите и уймите этот мерзкий тарарам. Это не моя работа, в конце концов. Зачем кормить собаку, чтобы потом лаять самому?

Я резко сел, чувствуя вину за то, что задремал, — ведь мне же в это самое время следует что-то улаживать, и постепенно осознавая, что стук в дверь был частью моего диковинного сновидения. Потом я услышал настоящий стук, так что, вероятно, и стук во сне тоже был реален. Берил. Приехала наконец. Мои наручные часы показывали чуть больше половины девятого — не так уж поздно.

— Иду, — крикнул я, идя на третий приступ стука.

Берил чуть не стукнула мне прямо в лицо, когда я открыл дверь.

— Что это за фигня на тебе надета? — спросил я. А потом увидел, что эта женщина вовсе не Берил. Миссис Уинтерботтом в расхристанном халате, сползающем с плеч, дико глядела на меня.

— Входите, — пригласил ее я, — что-то вы погорячились, недолго и простудиться в таком наряде. Я сказал, что сначала повидаюсь с вами, но вас там не оказалось. И я не знаю, куда он пошел. Но, в конце концов, он ваш муж. Он имеет право встретиться с вами, не так ли? Я имею в виду, что моей вины здесь нет.

— Он застрелил его, — сказала она. — Чернилка убил бедного Билли.

"Бедного Билли в сарае убили..." — зашевелилась у меня в мозгу строчка из какого-то стишка, какого-то гадкого стишка. "Гадкие загадки"? Или, может, "Стишки исподтишка"?

— Скорее заходите, — сказал я, видя, что она готова разрыдаться прямо посреди улицы. — Скорее, — я втащил ее внутрь, захлопнул дверь, и она прижалась к этой двери спиной и забилась в безысходности у самого выхода. — Ну же, входите, выпьете немножко бренди, успокоитесь, и мы вместе туда вернемся.

Я поволок ее через коридор, как тюк, только что доставленный носильщиком, втащил в гостиную-переднюю. Конечно же, бренди не осталось — Радж все вылакал, но была чекушка виски. Ее-то я и поднес к губам Элис, словно трубку насоса к сдутой шине. Она отплевывалась, давилась, брызгалась, пыталась набрать воздуха, задыхаясь от горя и потрясения.

— Ну же, — просил я ее, — глотните капельку. — Но она вместо этого взвыла. — Не надо, — уговаривал я, сжимая ее прекрасные округлые плечи, — вы разбудите моего отца. — Я сказал это не в переносном смысле, я еще не привык.

— Он убил его, Чернилка застрелил его, он мертвый. Он там, на кровати, его нет!

Это мне почему-то напомнило лондонский аэропорт. "Отца нет. Тед". Ах, да.

— Где он сейчас? — задал я глупый вопрос.

— Они оба там были. Оба, когда я ушла. Никто не пришел. Я стучалась к соседям, но все слушали телек.

— Смотрели телек, вы хотели сказать.

Чертов Денхэм, неужели ты такой же безумец, как все прочие?

— Никто не услышал, никто не пришел. Кто-то крикнул мне, чтобы я убиралась. Все из-за телека! — завыла она опять.

Потревоженный покойник крякнул и перевернулся в гробу.

— Пойдемте, — сказал я, храбрый Денхэм. — Вернемся туда вместе. Погодите, — сказал я, уже не такой храбрый Денхэм, — надо позвонить в полицию. — О, Денхэм, Денхэм, не надо, Бога ради, не связывайся с полицией, ты должен быть в Токио, а не свидетельствовать в деле об убийстве. — Телефон полиции 999, — сказал я, — если я правильно помню? — Крутя диск, я спросил Элис: — Какой у вас номер дома? — Она стояла, непослушными пальцами застегивая пуговицы — Гекуба, ни дать ни взять, — повсюду пряди волос в перманенте, прямо у ниши в стенке под лестницей, где спрятаны коробки с предохранителями.

— Восемь, Клаттербак-авеню. Восемь, — рыдала она. — Там, где горит свет. А все остальные смотрят телек. А он наш телек прода-а-ал, — выла она.

— Полиция? — сказал я. — Я хочу сообщить об убийстве. Восемь. Клаттербак-авеню. Срочно, — поторопил я зачем-

то. — Жена, то есть вдова жертвы говорит, что убийца все еще там. Он вооружен и не в себе. Пожалуйста, быстрее.

— Вы, мистер, врите, врите, — сказал полицейский голос, — да не завирайтесь.

— Чертов дурак! — сказал я, моментально отождествив полицейского и убийцу. — В номере восемь по Клаттербак-авеню мертвец!

— Ага, а у нас в отхожем месте туалетная бумага. Надо поменьше телек смотреть.

— Ради бога, — взмолился я, — дайте мне поговорить с дежурным сержантом.

— Он тут отошел неподалеку, — ответил голос, — я ему скажу, когда он вернется, но смотрите, мистер, несдобровать вам, если вы нам баки забиваете.

— Ради бога! — повторил я. — Дом номер восемь по Клаттер...

— Я это уже понял, — перебил меня беззастенчиво рассупоненный, прихлебывающий чаек голос. — Я передам ему.

Я положил трубку и сказал Элис:

— Вам лучше пойти со мной, набросьте вот пальто моего отца.

— Нет-нет, — вся съежилась она, — он и меня убьет.

— Или меня, — сказал я. — Хорошо, оставайтесь. Не ходите в ту комнату, там гроб стоит. Хватит с вас страхов на сегодня.

Она принялась колотить костяшками в кухонную дверь, причитая:

— Ох, Билли, Билли!

— Ладно, — сказал я, — постарайтесь быть благоразумной. Я ненадолго.

И я вышел — с непокрытой головой и без пальто вышел в зябкую весеннюю ночь, где магометанский полумесяц и звезды сверкали как будто нарочно для стихотворения Эверетта, и свернул на Клаттербак-авеню. А ведь бедняжка Элис сказала правду: окна всех передних мерцали безжизненным голубым сиянием, вокруг которого сгрудились тени. А если в передней кромешный мрак, можно было заключить, что телевизор стоит в гостиной-столовой. Похоже, никому не было дела до реальной жизни, которая в данное мгновение была реальной смертью. Сердце у меня учащенно заколотилось, когда я приблизился к номеру восьмому, легко узнаваемому по яркому свету — свету во всех окнах. Мне ничуть не улыбалось идти туда в одиночку, но был час-пик телевизоросмотрения, когда никого нельзя беспокоить. “Черный лебедь”? Тед? Но он и так сделал и делает достаточно. Потом

мне пришло в голову, что, возможно, появление незнакомцев еще больше выведет из себя мистера Раджа. Он скажет: "Вот так предать меня в чужие руки, Денхэм, — это очень недобрый поступок", — и застрелит меня первым. И я паду смертью храбрых, и никто об этом не узнает официально — мое имя нельзя раскрывать прессе, поскольку официально я нахожусь в Токио. Входная дверь была заперта, и я сделал единственное, что мне оставалось, — постучался. Я увидел сквозь рифленое стекло облаченную в плащ тень, приближающуюся спокойным шагом. Мистер Радж отверз расщелину толщиной в три пальца. Он несколько подозрительно заглянул в эту расщелину, а потом весело сказал:

— А, мистер Денхэм, выходит не судьба нам скоро распрощаться, в конце концов. Входите, сэр, входите, рад вас видеть.

"Слава Богу, — подумал я. — На самом деле никто никого не убивал. Может же человек просто умереть? Элис — истеричка, дура, наверное, Билли просто схлопотал в челюсть и упал, а мистер Радж на самом деле не имел никаких дурных намерений". Но мистер Радж сказал:

— Ступайте наверх, мистер Денхэм и взгляните на corpus delicti[1].

Казалось, он очень доволен этим научным термином, как будто стоило совершить преступление только ради того, чтобы его употребить. Он не закрыл дверь.

— После вас, — сказал я, но мистер Радж возразил:

— О нет, вы первый, мистер Денхэм. Прошу вас. Вы всегда первый. Белый человек во главе всего мира.

И мистер Радж гостеприимно повел грациозным пистолетом, с поклоном пропуская меня вперед к лестнице. Я начал восхождение на свинцовых ногах. Потом, дабы показать, что я не трус, бодро затрусил наверх — так здоровый человек спешит в туалет после плотного завтрака.

— Он в спальне, мистер Денхэм, или мне лучше назвать ее усыпальницей. Усыпальница, гробница, темница — все-таки замечательный у вас язык.

На двуспальной кровати, измятой, как я предположил, во время любовных утех, лежал ничком голый Уинтерботтом, раздевшийся, очевидно, для совершения примирительного акта. "Голый, — подумал я. — Весьма удобно для всех".

— Вот, — с гордостью указал мистер Радж, — прямо за ухом. Не так уж много крови, как видите. Я полагаю, что в жестоком

1. Состав преступления (*лат.*).

мире профессиональных убийц это называется “чистая работа”.

— Зачем вы это сделали?

— О, — сказал мистер Радж, — я пришел, чтобы получить причитающееся мне. Да, я заслужил это после столь длительных попыток ухаживать и обхаживать, кажется, я правильно употребил все эти термины, мистер Денхэм. Входная дверь была закрыта, зато черный ход — свободен. Черный ход почти всегда открыт, мистер Денхэм, не знаю почему, но я обратил на это внимание. Наверное, белые английские грабители предпочитают парадный вход, ибо вламываться сзади им облом, так что черный ход — для черных, — по-мальчишески засмеялся мистер Радж, раскачиваясь. — А потом я осторожно пошел наверх. Все лампы в доме горели. Видимо, этот человек гнался за ней по комнатам. Но из этой комнаты, тоже ярко освещенной, я услышал звуки, которые можно было бы обозначить термином “наслаждение”. Я увидел чужака, овладевающего ею на постели, мистер Денхэм, — мистер Радж снова увидел эту сцену, как наяву, отраженную в зеркале на туалетном столике. Глаза у него расширились до предела. — И тогда, мистер Денхэм, я застрелил соблазнителя-чужака. В конце концов, я человек, обуянный страстью.

— Вы хоть понимаете, что это ее муж? — спросил я.

У бедняги Уинтерботтома на шее созрел фурункул, и еще я заметил родинку на левой лопатке.

— Для меня он чужак, — сказал мистер Радж, — совершеннейший чужак, мистер Денхэм.

— И что вы теперь собираетесь делать? — спросил я. — Скоро прибудет полиция, как мне представляется, — мне пришлось напрячься, чтобы на самом деле представить спешащий на всех парах да еще под вой сирены, отряд полицейских из нашего захолустья, где все убийства происходят только по телевизору.

— Меня повесят, как вы думаете, мистер Денхэм? Ведь на самом деле, конечно же, мои намерения не были убийственными. Я пытался таким образом встать на защиту. И я не знал этого мужчину. Я действительно его не знал. Этого мужчину, — прибавил он с горделивой нежностью, чуть ли не вознамерившись погладить мертвеца. В глазах мистера Раджа я уловил охотничий огонек — он словно предвкушал, какой красивый коврик получится из шкуры его жертвы.

— Вы ревновали, — сказал я. — Вы испытывали ревность и, наверное, горькое отвращение.

— Значит, к вам она первым делом побежала, мистер Денхэм, — сказал Радж. — И в каких выражениях, — нетерпеливо спросил он, — она говорила обо мне?

— Она мало говорила. Что-то вроде “Чернилка убил”.

— “Чернилка”, — мистер Радж расплылся в улыбке. — Так она меня называет. Аллюзия к чернилам на прилежных пальцах школяра, — он показал свои прилежные пальцы, не замаранные ни чернилами, ни кровью, и прибавил неизбежное: — На пальцах убийцы. А что бы вы, мистер Денхэм, сделали в моей ситуации?

— Вы ничего не должны делать до приезда полиции. Думаю, мне следует позвонить вашему брату в Греевскую школу. Вы имеете право на адвоката.

— Мой брат, — засмеялся мистер Радж, — предпочел бы стать судьей, натянуть парик и приговорить меня смерти. Но для судьи у него не хватает мозгов. Он, мистер Денхэм, ненавидит меня за превосходный интеллект и за более располагающую внешность.

Мне показалось, я услышал звук мотора мощной, облеченной властью машины, выезжающей из-за поворота. Я сказал:

— Но можно поступить иначе. Многое зависит от того, чего вы ждете от жизни. Заслуживаете ли того, чтобы вас повесили после всех унижений суда, газетных заголовков, сочного куска в воскресном таблоиде для любителей отведать мертвечины на сон грядущий.

— А что бы вы сделали, мистер Денхэм? — спросил мистер Радж с чуть ли не дурацкой улыбкой.

Я снова посмотрел на беднягу Уинтерботтома — еще один печатник, разбитая шрифтовая матрица, погрешившая против стабильности и так нелепо наказанная. Я потер измученные глаза, подумал о голоде в Индии, где трупов, как грязи.

— Вы на самом деле хотите знать, как поступил бы я, совершив то, что совершили вы, и стоя вот тут над делом рук своих?

— О да, мистер Денхэм. Я, в конечном счете, все еще здесь, чтобы поучиться у Запада, — он улыбнулся вежливо, но расслабленно, еще не протрезвев.

— Я бы вышел тихонько в сад через черный ход, приложил пистолет к виску и нажал на спусковой крючок. Я бы сделал это до того, как приедет полиция и начнется вся эта ужасная недостойная круговерть. Вот что я сделал бы. Но это не означает, что я принуждаю вас поступить так же.

— Нет, что вы, какое принуждение, — сказал мистер Радж.

Я услышал, как другая машина выехала из-за другого поворота, другая мощная, облеченная властью машина. Подъезжает? Громкий визг тормозов ответил: не просто подъезжает — она уже здесь.

— Вот и они, — сказал я. — Слишком поздно.

— О нет, мистер Денхэм, никогда не бывает слишком поздно. Ведь не обязательно идти в сад? Это же не какое-то грязное дело, это же не в туалет сходить, да?

Трое поднимались по лестнице, три пары ног — одна пара легких, две другие — тяжелые, и чей-то голос басовито крикнул:

— Эй, кто там наверху? Без шуток там, имейте в виду.

— Пора, — сказал мистер Радж, завидев синемундирную массу на площадке, — поскольку органы правопорядка прибыли на задержание.

Он приложил изящный дамский пистолет к правому виску и нажал на крючок аккуратным пальцем цвета молочного шоколада. И прямо перед тем как нажать, он подмигнул мне левым глазом, будто все случившееся было на самом деле шуткой. Возможно, для индуиста так оно и было. Когда он упал на Уинтерботтома, я впервые заметил на стене спальни картинку — маленькую репродукцию "Последнего взгляда Геро"[1], показавшуюся мне более вульгарной, чем она есть на самом деле. Геро — Элис, ожидающая в классической тревоге своего еженедельного возлюбленного, Леандр — вероятно, Джек Браунлоу, переплывающий объятый штормом пролив во имя "Пиммса № 1" и любви. Ни в ком из них не было и намека на подобное: ничего героического в ней и ни капли леандрического в нем, — глупые вульгарные людишки, потревожившие бомбу, сокрытую под покровом стабильности.

Глава 19

Жизнь должна была продолжаться, а для меня жизнь означала похороны отца. Во вторник у полицейских были ко мне кое-какие вопросы, потом кое-какие вопросы ко мне были у некоего старшеклассника — юнкора "Вечернего Гермеса", подосланного ко мне для интервью. Бедняжка Элис, рыдающая, по всей видимости, в родительском доме, появилась на размытом газетном снимке с подписью "Я его любила". О частично беззубой Имогене ничего не сообщалось. Пришла телеграмма от Берил: "Звонила дважды ответа нет убита горем не могу оставить лавку Генри болен мысленно вами". Облаченный в траур, я всплакнул в церкви, когда обескровленный голос викария, флейтово отзываясь на совокупные всхлипы,

1. "Последний взгляд Геро" — картина английского художника Фредерика Лейтона (1830–1896) по мотивам античного мифа о Геро и Леандре.

выводил благородную каденцию погребальной службы, исполненную берущей за живое афористичной риторики апостола Павла. Потом отцовские друзья-гольфисты и я прошествовали, неся на плечах гроб, к заранее купленному отцом участку на кладбище, где уже покоилась мама. Призрак мистера Раджа прошептал: "Мистер Денхэм, этому христианскому обычаю погребения далеко до индуистской церемонии, куда более чистой и символической. Смотрите-ка, сейчас чертов викарий что-то скажет". И, конечно, викарий сказал: "Пепел к пеплу, прах к праху". Я вспомнил, как однажды в Испании видел священника, курившего у края чьей-то могилы. Мне самому смертельно хотелось курить. До чего же здравомыслящие люди живут в Европе! Таков был бы, разумеется, мой ответ, если бы я захотел предельного соприкосновения: Европа, причем Уэльс и Ирландия — ее части, а Англия — нет. Ни Англия обособленная и безумная, ни Англия американизированная и безумная тоже.

Кто не пришел на похороны, сподобился-таки прийти на поминки в "Черный лебедь". Множество столов на козлах, толпа одетых в воскресное платье и зверски оголодавших людей. Многие смотрели на меня с нескрываемым восхищением: человек из таинственной и опасной Японии, с которым, похоже связано больше смертей за один день, чем кто-либо мог припомнить. Это было классическое трио: смерть от естественных причин, убийство и самоубийство, и вокруг каждой из трех смертей лучились, пульсируя, пикантно-отвратные причмокивающие обертоны — медленное отравление (иностранцам этим нельзя доверять), похоть и ревность (что-то об таковском в школе читали, когда Шакспера проходили). И шекспировский потомок самолично заправлял расстановкой мясных блюд, природным блеском весенних салатов, детским мерцанием желе и бланманже и пирожных с цветной посыпкой. Рядом со мной стоял Эверетт (его еще потряхивало, но совсем чуть-чуть), огорченный тем, что Берил и Генри не смогли присутствовать. Я был единственным родственником покойного, но официально я находился в Японии.

— Йизык с бекоодоомб, — бумкнул Селвин, как в колокол. Это он, благослови его Господь, звонил в одинокий колокол по моему отцу. — Ты, бистер, устроил чай, бекод и йизык, того что бертвый так хотел бы. Я здаааю, ведь бедя родили бежду дочью и ддеб, так я здаю все о бертвых, чего оди хооочут, а чего ди хооочут. Уважедия оди хочут, вот так-та.

Селвин немножко чересчур развыступался, потому что он, как и все присутствующие, за исключением Теда, чувствовал смутную вину: негоже как-то рассиживать тут за столами,

когда столько смертей вокруг. Но вскоре после нескольких чашек теплого, приправленного виски чая, они почувствуют, что, черт побери, это ж поминки, в конце-то концов, они тут не просто так прохлаждаются. Селвин пихнул меня локтем:

— Бедя ждут, бистер, дада подавать.

И он ушел, чтобы присоединиться к Сесилу. Оба были одеты в белые куртки. Седрик, похоже, предназначался для чего-то более величественного — на нем были черные штаны, зеленая куртка, в которой он прислуживал по вечерам внизу, и что-то наподобие должностной цепи на груди. Это меня слегка испугало, и я поинтересовался у Эверетта:

— Его что, выбрали мэром или мировым судьей?

Эверетт огляделся и ответил:

— Нет-нет, видимо, мэра не пригласили.

Зато все остальные, похоже, были здесь. Я принялся лихорадочно подсчитывать в уме: такая уйма чашек чаю по три и шесть за каждую. Затем пожаловала Вероника в царственном трауре, и я сразу почувствовал себя заскорузлым скупердяем. Она — о, монаршее изящество, о, жемчуга, о, перламутрово-шелковое благородство, побудившее низших забыть о своих плебейских шуточках — призвала всех к порядку.

— Ну что ж, голубчики мои, — сказал Тед, — вам бы лучше всем усесться. Тут вот все вы, и викарий тут, и мистер Денхэм, и мистер Уотсит, и я, и супруга моя, и все прочие, кто бы вы ни были. Теперь уймитесь. Тут всего полно для всех. И оказия у нас, — предупредил он, — печальная.

Только Теду такое сходило с рук. Все закивали, ничуть не обиженные. Я сел в одном конце, Вероника — в другом. Рядом со мной Эверетт и какой-то старикан с завидным аппетитом. Я никогда его прежде не видел. Правда, все уплетали за обе щеки, за исключением Вероники: смерть как ничто другое способствует тому, что Хопкинс назвал “похотью вкуса”. Бекон и язык похотливо окунались в горчицу или соус и поглощались с чавканьем. Сесил щедро подливал виски в чай всем, кроме, разумеется, Вероники. Я заметил еще две полные коробки у камина. Определенно я сегодня благодетель для всех и каждого. Когда виски налили всем, Седрик, у которого, тем не менее, было собственное место и тарелка, проявил свое истинное призвание в должности распорядителя. Он встал и произнес:

— Мадам, Ваше Преподобие, джентльмены. Ближайший скорбящий родственник покойного и благотворитель банкета желает разделить с вами чай и виски. Он просит вас не вставать.

Все чашки печально вознеслись в мою сторону, а я, кивая во все стороны, поднял свою и сделал большой скорбный глоток. Все дружно выпили, крякнули от души, и разговор несколько оживился, хотя все по-прежнему старались сдерживаться. Селвин ходил по кругу, разливая чай из объемистого коричневого кувшина.

— Вот дате ваб, бистер, — сказал он мне. — Все повыпивали виски, половиду дадо долить чаем.

Когда он отошел к очередному, совершенно незнакомому мне, здоровяку, дедуля, сидевший справа от меня, кивнул, почавкал, облизнулся и произнес:

— Он благородных кровей по рождению, Селвин-то наш. Обездолен собственным папашей. Вся семейка там чуток тронутая, — он тронул висок пальцем и снова кивнул. А потом прошептал мне на ухо очень известную и родовитую фамилию, обдав меня напоследок выхлопом виски: — Без гроша остался, в расцвете юности, — сказал старик, а затем вернулся к трапезе.

Желе с бланманже и симпатичные пирожные были сочтены просто финтифлюшками, дамскими забавами; впрочем, Вероника вообще ничего не ела, так что сладости в основном достались викарию, который вовсю поглощал огромные колыхающиеся порции желтого трепетания и белого дрожания. Бедный сластена даже не мог похвалить: “Чертовски вкусная херня”, поскольку он сидел рядом с дамой. Никто, правда, не принимал всерьез его богохульства, зная, что все это просто словоблудие. Однако, посредине сидел один старикашка, еще более древний, чем мой сосед-старикан. Похлюпав беззубо младенческим лакомством, он набрал полную ложку желе и шмякнул его на стену, а потом, утробно кряхтя, потянулся за следующей порцией, и кто-то не сдержался и заржал.

— Так, — вспыхнул Тед. — Прекрати это, Мэтьюс, будь так добр. У нас тут скорбная оказия. — Затем он учтиво поклонился Седрику и сказал: — Прошу простить, что принял на себя ваши функции, мистер.

— Все в порядке, — сказал Седрик, — уверяю вас.

Скорбная оказия. Снова всем разлили чай, и Селвин объявил:

— Если кто хочет виски без чаю, я богу далить. Ага. Таб еще бдооооого бутылок у кабида. — Селвин сверкнул очочками, безглазо оглядывая гостей, и остановился на мне. — Агаа, бистер! — воскликнул он и наполнил все алчущие чашки.

Седрик встал и произнес:

— Мадам и джентльмены. Я имею удовольствие предложить Его Преподобию, нашему викарию, сказать речь за здоровье усопшего.

Народ навострил уши, устроился поудобнее и приготовился скучать; кто-то ковырялся в зубах спичкой, выискивая остатки ветчины, а обнаружив оные — сжевывал их мелкими кроличьими зубами. Викарий сказал:

— Мист... ер, то есть леди или мадам и джентльмены. Наш распорядитель, нечаянно или намеренно, но весьма уместно обратился ко мне с просьбой произнести тост за того, чье здоровье, по естественным причинам, более уже не здоровье тела, но лишь здоровый дух. Он оставил свое тело и никогда больше его не увидит. Тело — как забытое пальто. Которое никогда больше ему не понадобится, ибо в дальнейшем его ждет только хорошая погода. Там никогда не бывает холодно, никогда... — он осознал сказанное и сглотнул.

Молниеносный Селвин полыхнул:

— А как насчет воскреседья бертвых? Аааааа...

Распорядитель немедленно пальнул в ответ, за неимением молотка громыхнув по столу чашкой.

— Тихо, прошу тишины!

А ковыряльщик в зубах лениво протянул:

— Ладно, Селвин, один певец — одна песня, если не возражаешь.

— Итак, — продолжил викарий, — мы пьем за душевное здоровье, иначе говоря, мы молимся за то, чтобы его душа была принята в лоно Авраамово, иначе говоря, мы надеемся, что она почивает сейчас в раю, в виду ангелов и святых, к сонму коих он скоро примкнет, и под любящим оком своего вечного Небесного Отца. Аминь. А теперь, — сказал викарий более оживленно и менее профессионально, — скажу, что многих из вас я хотел бы чаще видеть в церкви. Самое время сказать, что слишком многие из вас обращаются к церкви только в таких случаях, как сегодняшний, подбирая лишь ошметки религии и пренебрегая своими основными обязанностями, и я хотел бы видеть больше...

— Тебя позвали речь толкнуть, — перебил его человек, невероятно смахивающий на лепрекона[1], — а не для рекламы.

Снова раздался стук чашки-молотка, а потом Седрик попросил Теда сказать несколько слов об усопшем. Похоже, меня в упор никто не видел, но я не очень-то возражал. Тед сказал:

— Я знал его, она знала его, он знал его, мы все его знали, — произнеся эту впечатлившую слушателей сентенцию, он сделал паузу. — Он был завсегдатаем тут. Не скажу, что са-

1. Персонаж ирландского фольклора: маленький человечек, обладающий способностью исполнять желания.

мым лучшим. Не таким, как присутствующий здесь Роджер Эллиуэл, который выдувает почти по бутылке вискаря в день, что и хозяйству нашему пользительно, и, как мы все видим, ему тоже не во вред. Но он был завсегдатаем, верным, частым гостем, чего мы желаем всем и каждому, мужчинам и женщинам. Ну, а теперь он ушел. Нам жаль, что его нет. Мне жаль, что его нет. Что тут еще можно сказать? Вопрос теперь только в том, перебрался ли он в лучшее место? Я не знаю ответа, и вы не знаете, и она не знает. Вот он, наверное, знает, — сказал Тед, кивнув на викария, — работенка у него такая — знать. А вот остальные — не знают. Вот так-то. Но вот что я вам скажу. Он всегда был молодцом. Ни разу худого слова не сказал. Вот так-то. Его все любили и, несмотря на все его закидоны, любили бы его и впредь, когда бы он был живой. Но теперь он помер, и мы желаем ему всего хорошего там, куда он отправился. А больше мне нечего сказать.

Вероника разразилась негромкими аплодисментами, сказав:

— Пора открываться, Эдвард. Я сойду и отопру двери.

— Но все посетители тут, наверху, голубушка моя, — сказал Тед.

— Я, пожалуй, пойду, если можно, — воспользовался случаем викарий.

Все встали, провожая леди. Старикан рядом со мной спросил:

— Не знаешь, кого тут хоронят-то?

— Он умер, — сказал я, — и теперь это не имеет значения.

Леди и викарий ушли, и все вздохнули с облегчением, оказавшись в сугубо мужской компании. Снова всем разлили виски, кто-то разбавлял им холодный подслащенный чай, почали вторую коробку. Тамада Седрик нервничал, поскольку не осталось никого, кому можно было предложить выступить, кроме меня, но мне он слова не дал бы. Но тут Сесил прорычал ему что-то шепотом, и Седрик кивнул. Он встал и сказал:

— Джентльмены, а теперь я обращаюсь к Фреду Аллену с просьбой исполнить гимн.

Раздались уважительные аплодисменты, и Фред Аллен — румяный юноша в рубашке без воротника с тщательно заутюженными стрелками на груди — встал и запел сильным и чистым необученным тенором:

Нас призови к себе, о Бог,
Твоих заблудших чад,
Чтобы прославить каждый мог
Твой вечный дом и сад.

Червям Твоим все Благодать,
От Слова мы дрожим,
Ты о Любви уже дал знать,
Яви Добро же им.

Конечно, дальше была еще куча куплетов, и все с плохими веслианскими рифмами, так что даже Эверетт печально оживился. После этого гимна, в конце которого из почтения никто не посмел хлопать, но зато все хором пропели “Аминь”, какого-то старикашку уговорили подняться и спеть “Священный город”, и тот спел, довольно плохо, а перед последним припевом сипло крикнул: “А ну, все вместе!”, так что все дружно попросили Иерусалим открыть врата и громово грянули “Осанна!”, и никто не смог бы упрекнуть их в каком-нибудь нарушении предписанной торжественности. А потом один из отцовских дружков-гольфистов встал и спел о том, что только Господь мог создать дерево, чудно раскачиваясь, что было, по-видимому, нелегко и достойно аплодисментов. Человеку вроде меня, в студенческие годы изучавшему литературу, было чрезвычайно увлекательно наблюдать деликатный процесс секуляризации. Вскоре зазвучала бравая “Так держать до конца пути”[1], которая, чуть погодя, плавно модулировала в песню “В сумерках я бродил”. В конце концов, что может быть естественнее, чем соло от истинного шотландца Джока Макинтайра, сочинившего “Я люблю девчонку”? Потом все вместе спели “Я верен Глазго”, к этому времени Седрик, перебравший виски, позеленел в тон своей куртке и ушел, гремя мэрской цепью.

В девять часов, когда опустела вторая коробка виски, Сесил вскочил и прорычал ранневикторианскую песню:

Ублюдок-матрос, вернувшись опять,
Бутылку отставит, чтоб девку сыскать,
Клянется милашкам, что замуж возьмет,
Но пока они спят, снова в море уйдет.

Раскатистый хор подхватил припев. “Тра-ля-ля!”, — голосили стариканы, криво разевая друг на друга похотливые пасти, в которых почти не осталось зубов. Когда Селвин завел какую-то маловразумительную оккультную песенку, которая все равно из-за его жестикуляции и телодвижений казалась донельзя похабной, снизу раздался зов:

1. “Keep Right on to the End of Road” — британская песня времен Второй мировой войны.

— Эдвард! Посетители!

И тогда Тед сообщил с большим самообладанием:

— Пора присоединиться к дамам.

Так что мы все пошли вниз, но перед этим кто-то проорал:

— За здоровье устроителя банкета! — И все подняли остатки виски за Теда, который, скромно и правдиво принялся отбиваться от этой чести.

— Это он! — сказал он, вяло указывая на меня, но никто ему не поверил.

"Ну что ж, — удовлетворенно подумал я, — Англия, ты просто-напросто такая же неблагодарная, как и Азия". Зато Эверетт был крайне впечатлен Тедом.

— Замечательный человек, — сказал он. — Вот это личность! Кого-то он мне ужасно напоминает.

Мы приятно провели вечер внизу, после всего этого виски я усиленно наслаждался тепловатым пивом. Перед самым закрытием Тед сказал:

— Задержитесь чуток. Тяпнем по половиночке. Вы и я.

— Знаете, мне завтра вечером улетать. Назад в Токио. Утром много дел.

— Если у вас под рукой чековая книжечка, — сказал Тед, — можем рассчитаться, да, голубчик? Подождите только, вот закроемся. Уже через минутку объявлю по последней.

Селвин и Сесил этим вечером не работали. Они играли в дартс с мужиками в фуражках, один из этих фуражечников тоже был гостем на поминках. Селвин блестяще проявил себя, когда нужно было удваивать, мгновенно подсчитывая очки в уме. Я никогда его больше не увижу, подумал я с сожалением. У меня никогда не будет повода возвратиться в пригородную Англию, в провинциальную Англию, тогда зачем приезжать в Англию столичную? Я принялся мечтать об отпуске в белокожих странах, заснеженных шнапсовых краях. А где же в конце концов я буду скучать на пенсии? Была, конечно, одна туманная мечта, смутная картинка отжившей Англии — приморской, и все же глубоко сельской, хмельной и сквайрской, оленеокорочной и распутной, — голливудской мечты об Англии. Вот таким мне виделось, пока я был еще достаточно молод, место, где я одряхлею и умру. До встречи, вино и плохие стоки, и пушок над верхними губами моих разлук.

Когда прозвонил колокол к закрытию, Селвин сказал:

— Бде дада добой, бистер. У бедя жеда и девять детишков. Большинство спят уже, но декоторые ждут, когда вердется ихдий папа.

— Мы больше не увидимся, — сказал я, но он не подал мне руки, а только сосредоточенно пританцовывал, пятясь и хохоча: — Хо-хо-хо! — А потом сказал: — Увидибся, бистер. Я здаааю. Я здаю, кого увижу, а кого дет. Дикада ди загадывай!

Сесил шаркал, прячась за спиной у Селвина, как человек, который ненароком обмочился, но я-то знал, что он просто прихватил одну бутылку из моих поминальных запасов виски, засунув ее сзади за брючный ремень. Вскоре Вероника подала мне руку в величественном прощании, страдальчески позволила мне поцеловать ее слегка припудренную щеку, а потом, сетуя на головную боль (бедненькая моя голубушка), ушла прилечь, оставив нас втроем — Теда, Эверетта и меня.

— Ну, чем бы вы хотели полюбоваться, голубчик, — спросил Тед, оживившись, — моими пистоликами или моими стариковскими книгами? — Казалось, он предлагает Эверетту выбрать, но обращался ко мне.

— Лично я, — сказал я, — в глаза бы не видел никаких пистолетов, благодарю покорно. Случайно в руки полиции попало некое маленькое оружие, которое может вас заинтересовать.

— Так вот куда он подевался, гаденыш этакий, — сказал Тед, стукнув молотом кулака по наковальне ладони. — Ну, а я-то все голову ломал-ломал, так и этак, но никак не мог представить как, когда и кто. В любом случае, хоть один кому-то в дело сгодился. Не то что остальные. — Он украдкой глянул на Эверетта. — Не думаю, что надо мне вам их показывать, в конце концов никогда же заранее не знаешь, да? Принесу-ка я вам мои книженции, — воскликнул он, сам на себя шикнул, вспомнив о больной голове Вероники, и изящно на цыпочках стал подниматься по лестнице.

— Замечательный человек, — повторил Эверетт, — кого же он мне напоминает?

Тед принес ящик из-под патронов и высыпал на прилавок груду книг, пропахших пылью и вялыми яблоками. Эверетт перебирал их без особого интереса:

“Молитвенник для рабочих”,

“Слепец на палубе”,

“Герберт Генри и Флинтширский ривайвелизм”,

“Ассоциация морских инженеров” (сборник статей, 1891 г.),

“Песенник для младших классов. Пособие для учителей закрытых пансионов”,

“Великие мысли Вильгельма Мейстера”,

“Гоцитус? Закат рационализма”,

“Труды Тома Пейна”, том III,

“Полное собрание сочинений Ричардсона”.

И вот он взял в руки маленькую книжицу форматом in-quarto, казавшуюся намного древнее прочих, открыл ее и воскликнул:

— Боже мой!

— Что-то не так? — забеспокоился Тед.

— Не так? Да вы только взгляните! — и он показал Теду титульный лист.

Тед прочел, нахмурившись и шевеля губами, и сказал:

— Я понял, о чем вы, голубчик. Все неграмотно написано. Но папаша мой говорил, что в те-то дни никто грамоте не знал. Тысяча шестьсот второй год, — прочел Тед, — совсем старая. — Он в ужасе отшатнулся. — Это ж она через Черный Мор прошла и Черную Смерть видала. Да она вся заразная! Бросьте ее в камин скорее!

Но на этот раз Теда никто не послушался. Мы с Эверетом оба стояли, как зачарованные. Это была пьеса, "Гамлет", но этот "Гамлет", если дата на титульном листе не врет, был самым ранним из всех известных до сих пор. "Пиратские" кварто 1603 года, фальшивки, были, вопреки Грешему, вытеснены аутентичным серебром кварто 1604 года. А вот эта находка из "Черного лебедя" запечатлела композицию и текст пьесы, игравшейся в 1602 году или даже раньше, а может быть, это был прото-"Гамлет", текст, который взял за основу Шекспир, создавая свою пьесу? Я сказал, позабыв обо всех мертвецах, кроме одного — вечно живого:

— Откройте "Быть или не быть".

Я тяжело дышал, Эверетт задыхался.

— Смотрите, — сказал Эверетт.

И я прочел ужасный деревянный шрифт на грязно-желтой сморщенной бумаге:

Служить иль умереть, вот в чем вопрос?
И разума страданий стоит ли все это,
Иль пушкой бить по океану в буре
И прекратить сражения навек.

— Пиратская копия, — сказал я. — Какой-то горе-стенографист записал во время представления в "Глобусе". Задолго до появления благословенных изобретений Питмана и Грегга. Иероглифика, я полагаю, так это называется.

— Поразительно! — сказал Эверетт и спросил Теда: — Можно я это возьму?

— Да хоть навовсе берите, мне все равно, голубчик.

— Бессмыслица какая. Да все библиотеки Америки будут вас умолять о ней. Она принесет вам состояние! Невероятно!

И Эверетту привиделась на циферблате часов над барной стойкой другая книжка, еще не опубликованная, куда лучше той, что он сейчас держал в руке, хоть и не будет из-за нее такого переполоха в научных кругах. И эта книга стихов Эверетта, думал он, может вот так же пролежать столетие или даже больше в каком-нибудь пабе, если такие еще сохранятся, а потом задержавшиеся после закрытия посетители, которые, конечно же, никуда не денутся, пока существуют пабы, извлекут ее из ящика с книгами, пропахшими пылью и яблоками.

— Десять процентов, по рукам?

— Пятьдесят процентов, если хотите, голубчик. Каждому по половиночке.

Это напомнило мне: “Тяпнем по половиночке перед сном”.

Глава 20

Верите или не верите вы в то, что произошло напоследок, я не знаю и знать не хочу. И думаю, что вы поверите не очень, уж в этом у меня сомнений нет, но, пожалуйста, не лишайте бедного нытика, старину Денхэма, уже вернувшегося в Токио, права на эту малую толику фантазии.

Кроме того, я ведь еще проповедую некое добро, показывая — пусть и не без выдуманных примеров, — что воздаяние находит тех, кто никогда не грешил против стабильности, не играл с огнем в супружестве, чья жизнь и брак в полной безопасности и не лишены восторгов и увлекательности, в основном потому, что их труды важны для общества и для них самих. Вот судите сами.

На следующий день после похорон я вернулся самолетом, зная, что дома обо всем уже позаботились — Берил написала о своих обязанностях, банк подтвердил исполнение завещания. Имущество мистера Раджа в полиции (его тело также в распоряжении полицейских, предназначенное вместе с книгами, одеждой и специями его брату из Греевской школы барристеров). Я же взял себе только одну вещь, ему принадлежавшую, то, что больше никому не понадобится.

Я прибыл в Токио в страхе, но нашел все в полном порядке. Мисима проявил себя усердным работником и, похоже, малость переусердствовал, ибо остальные сотрудники улыбались и кланялись, когда я появился в офисе. Так что все прошло спокойно. Я не получил никакой личной почты из Англии, исключая письмо от Райса, который сообщал, что он прослышал о

смерти моего отца из неких источников и что о ней вроде бы объявили в какой-то телевизионной программе. Нет, не то чтобы он смотрит телевизор, но какому-то дураку втемяшилась идея, что это я сам объявил о смерти отца, что явно невозможно, поскольку Райс-то знает, что я в Токио и в любом случае не мог появиться на Британском телевидении. Мне следовало бы, писал Райс, послать ему телеграмму с просьбой разрешить слетать домой, что он немедленно разрешил бы, но моя преданность Компании, выраженная в решении оставаться в Токио с разбитым горем сердцем, принята во внимание и высоко оценена одним из нас и всеми остальными.

Так что все обошлось.

Месяцем позже я сидел в кабинете, и клерк объявил, что ко мне пожаловали двое посетителей. Я писал, ожидая их появления, изображая занятость, но готовность в любую минуту вынырнуть из пучины важнейших занятий и двинуться им навстречу с открытым сердцем и с протянутой рукой. Но, еще не успев оторваться от бумаг, я услышал знакомый голос.

— Ну, голубчик мой, небось не думали увидеть нас здесь?

Оба они смотрелись модно, по-туристически. Тед с камерой через плечо, Вероника — видение в белом и жемчугах, явно не от Микимото[1].

— Совсем не ожидал, — сказал я, — но все равно польщен. Вам деньжат привалило или послевоенные хозяева пабов всегда так поступают?

— Кругосветное путешествие, — сказала Вероника, голосом леди, которому Тед повиновался как раб, — спасибо вашему другу Эверетту.

— Это всё "Амлет", голубчик, — сказал Тед, — помните, небось? Куш немалый, никогда бы не подумал. Наши имена в газетах пропечатали, вот где, не в лучших, как "Мэйл" или "Миррор". Газетенки, мы и не слышали про такие, но все же пропечатали. Никогда не ожидали такой суматохи, да, голубушка? — обратился он к Веронике, — и ее купили, книженцию, какой-то Фолджер или как его, из Америки. За доллары купили. И старина Эверетт получил свои десять процентиков, так что он печатает теперь свои стишки. И все счастливы.

— Присаживайтесь, — предложил я. — Пойдем выпить через минуту. Значит, вы ушли на покой?

1. Микимото Кокити (1858–1954) — японский предприниматель. Известен тем, что впервые получил искусственный жемчуг из морских моллюсков.

— О нет, голубчик, — сказал Тед, очень ладный в своем костюме, пошитом в Палм-Бич, рыжеватых туфлях и с легкомысленной шляпой туриста на коленях. — Просто отпуск, и все тут. И чуток отвлечься. Мы отхватили неплохой кусочек, но не такой уж и большой. Так ведь, голубушка? — обратился он к Веронике.

— Я очень рад, — сказал я. — Знаете ли, я совсем забыл об этой нашей любопытной находке. Это случилось в ночь похорон, если правильно помню.

— Выглядите пополневшим, — сказал Тед, шевеля носом. — Да, именно, голубчик. Но как говорится — в здоровом теле, здоровый дух.

— И что нового дома?

— О, Седрик присматривает за "Лебедем", Селвин и Сесил ему в помощь. А Элис Уинтерботтом подумывает о новом замужестве. Быстро оклемалась.

— За кого? За Джека Браунлоу?

— Не-еее, — прыснул Тед. — Не за того, а за типчика, с которым она работает в клубе. Подумывает и сама открыть паб. Деловые отношения важнее всего, как я понимаю. Любовь — она говорит, что никогда больше не выйдет по любви.

— А дочь Эверетта?

— Да, сомнительная шлюшка. Приходит в паб с папой. Постоянный клиент уже.

— О, она хорошенькая, — заметила Вероника, — и довольно умна. Хотя, скажу, что зубы у нее вставные. Страшная кокетка к тому же.

— Запомните мои слова, — сказал Тед, — однажды она влипнет в неприятности.

Мы отправились завтракать в ресторан, коньком которого была рыба. Рыба плавала повсюду в стеклянных аквариумах, расставленных по всему залу, и можно было выбрать любую, просто показав пальцем. Тед наслаждался, Вероника выказывала отвращение.

— Моя бедная старушечка, — сказал Тед.

— Старые проблемы? — спросил я.

— Мне уже гораздо лучше, — успокоила Вероника, — большое спасибо.

Я взял отгул до конца дня и отвез Веронику и Теда к себе домой. Вероника пришла в восторг, Теду все это было неинтересно. Пока Вероника бродила по саду, мы с Тедом разговорились. Скоро беседа превратилась в монолог Теда.

— Шекспир, — сказал он. — Я знаю, что ту книженцию не он написал, но она запала мне в душу с недавних пор. Частично потому, что, если бы он не жил, никто бы не потрудился

написать такую книгу и мы бы не получили все эти деньги. Но мы имеем на них право в известной степени, знаете ли, потому что он всегда обещал что-то такое Арденам, знаете ли, из Арденов была его мать, как вы, может, слыхали, а может — не слыхали. Всегда приходил играть к Арденам, когда был мальцом, и очень любил дядьев и теток. Всегда говорил, что станет знаменитым и оставит деньги Арденам, потому что все говорили, что он больше удался в Арденов, чем в Шекспиров. И Ардены с Шекспирами никогда не ладили на самом деле, знаете ли. И забавник был Уилл в юности, так они его называли, и папашу своего не переваривал. Настоящий Арден он был. Сбежал из дому, потому что не переваривал отца.

— Откуда вы все это знаете? — спросил я.

Тед уставился на меня.

— Откуда я знаю? Это ж в роду у нас, передавалось от отца к сыну. И это такая же правда, как то, что я сижу вот туточки, — он помолчал, изумленный. — В Японии, — добавил он. — Никогда не думал, что окажусь в Японии.

Одна из моих служанок подала нам холодное пиво и отнесла кружку Веронике в сад. Стоял великолепный день, усыпанный цветами.

— Чертово великолепие, — заметил Тед, — как на картинах.

— Расскажите еще, — попросил я.

— Чудно́, — сказал Тед, — что столько людей это интересует. Даже профессора́ дома об том книгу стали писать. Закатились в паб, вот до чего дошло. И очень они Селвином заинтересовались.

— Продолжайте.

— Авто-тень-пично, все талдычили. Нету, мол, никаких доказательств, что это авто-тень-пично. Я им сказал, что мне по барабану, авто-тень-пично это или нет... Ладно, сказать, на чем Уилл спекся?

— Женщины?

— Одна женщина, — сказал Тед. — И она была негритосочка. Он написал стишки об ней, что у нее черные волосы растут на голове, но, говорит, вроде черной проволоки. Шутейно, наверное, но шутка-то странноватистая. С женщинами шутки плохи.

Он выглянул в окно, Вероника все еще очаровывалась садом, оглашаемым птицами, его мостиками и карликовыми деревцами.

— Негритоска она была, — продолжал Тед, — приплыла на корабле из Африки. И хорошо стояла, дочь вождя или как их

там, и ее не сделали рабыней, но забрали в чей-то дом и даже сделали из нее леди. И этот бедный шельмец втюрился, сорвался с якоря и потонул. Смотрите, — сказал Тед, — я слыхивал о таких негритянках, что они на самом деле могут с вами сотворить, и, если вы имели одну, уже другую не захотите. Хотя, — заметил Тед, — я бы не прочь поиметь одну из двух япошечек, которые у вас работают. Ладно, про этого бедного шельмеца Уилла. Негритянку, видите ли, увезли в Вест-Индию, вроде как компаньонку для леди из той семьи, в которой она жила и где ее любили правда, и она, та, которая белая, должна была выйти за шельмеца, которому надо было ехать в Вест-Индию, или куда там, навроде губернатора для того места, когда они отобрали его у испанцев. Ну, у Уилла сердце разбито, до того вдребезги, что он прилично писать больше не может, всю эту чепуху, что он раньше писал, и с шутками, и без, от которой народ уписывался кипятком. Пишет все такое мрачное, навроде того, что теперь в телике сразу переключают. И он не смеет вернуться к жене. А знаете чего?

— Чего?

Тед подошел поближе и прошептал:

— Подсел на наркоту. Эта черномазая ему давала.

— Нет!

— Да. Кто тут рассказывает историю, я или вы? Лады, так ему неможется, что приходится послать его обратно в Стратфорд, а то уже слюни текут. Никому не по нраву его пьесы, так что и деньжат нет. И он живет на деньги зятя-доктора, неплохо зашибающего. Но сам-то всем заливает, что зарабатывает три тысячи фунтов в год, и ему должны много тыщ, и всю эту дуристику несет, пока люди не начинают бегать от него. Иногда его принимают за местного, угощают доброй пинтой и затыкают ему рот, когда в паб входят чужие, потому что он говорит, как рехнувшийся. Последняя сцена, знаете ли, — сказал Тед, постучав по лбу. — Мозги прочищает. От некоторых его пьес крыша едет, особо от ранних, люди жизни кладут, чтобы догадаться, что это значит. А та штука, что он написал для своей могилы, беснования бесноватого, что-то о проклятии его костей. И гляньте, как он написал завещание. Позорно жену обошел, но я думаю, да и вся семья думает, что он уже в последние дни даже не знал, что у него есть жена, бедный шельмец.

— Невероятно, — сказал я.

— Ну да, — подтвердил Тед, — всегда думали, что он отказался от арденовской крови, Шекспир-то, но этот Шекспир был так страшно беден, что не мог совсем от нее отказаться. Бабушка иначе не воспоминала бы его имя в нашем доме.

Лучше пойду к жене, — сказал Тед. — Она нездорова, бедная голубушка моя, не хочу, чтоб думала, что я ею пренебрегаю. — Он встал, продолжая говорить: — Уилл правда ужасный пример для всех, показывающий, что случается, когда вы бросаете жену вашей юности и начинаете паскудничать с другими женщинами. Так что, глядите мне, — сказал он, — все эти иностранки. Правда, они, конечно, не черные. Да вы и не женаты. — Он игриво ткнул меня пальцем в живот. — Хорошо бы, если б история с Шекспиром хоть кого-то научила, — закончил Тед, — прежде чем они примутся сбегать в Лондон с чужими женами, или сами по себе, распутничая напропалую.

В этот вечер мы посетили много разных мест, где хорошо сложенные, благоуханные и совершенно нагие японки садились нам на колени. Вероника была не в восторге. Потом, до полуночи, им надо было вернуться в Йокогаму, чтобы провести ночь на борту судна, которое должно было отплыть до рассвета. Сославшись на усталость, я не поехал с ними, но дал свою машину с шофером. Я и правда был рад повидаться с ними.

Перед тем как пойти спать, я посмотрел на себя в зеркало. Лысею, и щеки обвисли, зубы покрыты никотином, пузо распустил, грудь впалая, ноги короткие, всюду щетина. Но что мне до тела, тело — это то, чем ты пользуешься. Мне не нравились глаза, нелюбящий рот и ханжеское расположение ноздрей. Не одеваясь, я прошел в небольшой кабинет рядом со спальней, где я пишу эту историю, и перечитал ее, голый, чешущийся, прочел все девятнадцать подшитых глав. Прояснилось ли хоть что-нибудь для меня самого? Нет, конечно. Все тот же хаос, то же непостоянство, но я уже думал, что грешить против стабильности — не такой уж и великий грех.

Единственное, что я понял вполне определенно, — я понял, как мало было от меня пользы — от неловкости или от вмешательства не желающего ни во что вмешиваться пухлого отпускника при деньгах, яростно нападавшего на грехи, совершить которые у него кишка тонка. Ибо, наверняка, эта провинциальная жизнь, над которой он глумился, оказалась более стабильной, чем его призрачная жизнь покупок и продаж в стране, где никакое вмешательство невозможно, и эти вечера перед телевизором в кругу семьи куда лучше презренного времяпровождения, утешавшего меня после работы. (Какой работы? Я ничего не производил. Даже отмороженным мясником не был, даже доморощенным типографом с набором Джона Буля и, тем более, не источал свет Шекспира в общем баре.) Что прелюбодеяние подразумевает брак и,

возможно, звучит более достойно, чем распутство, или мастурбация, или — неважно что. Если уж должны были умереть и бедный простачок Уинтерботтом, и борец мистер Радж (человек, пришедший слишком рано, чтобы смешаться в котле, как и все, пришедшие до времени), то наверняка тут есть что-то, рождающее слово "Любовь". Даже просто слово лучше, чем эта пустота, это глумление постороннего.

Я внимательно перечитал первую главу. Самодовольство, многословие, претенциозность, но пусть уж так и останется. Пусть так все и останется, ибо мы здесь не развлечения ради. И я знаю, что скоро уйду на покой, потому что могу себе это позволить, и знаю, где я осяду. И тогда я снова увижу великого пророка Селвина. И остальных. И в следующий раз не сваляю такого дурака. И я даже знаю, кого попрошу выйти за меня замуж, но она наверное откажет. Может, если я начну делать зарядку, сброшу вес... Я не могу поверить, что я ей так уж сильно не нравлюсь, она не была уж совсем ко мне равнодушна.

В ящике стола под рукописью я пристроил единственный дошедший до нас образец официальной прозы мистера Раджа. Бедный мой, дорогой мой мистер Радж... Я снова перечел его рукопись, хотя уже было очень поздно, но и отрывок короток. Только пролог, и я помещаю его здесь, оставляя за мистером Раджем последнее слово.

В рассуждении всех этих всепроникающих современных проблем расизма нам следует осознать, что недостаточно просто опровергать утверждения расистов застарелыми фактами этнологов и антропологов. Конечно, такие факты тоже имеют цену, что тут отрицать, но расизм рождается в сердцах простых людей, и не обязательно фашистскому, или коммунистическому (хотя это крайне редко), или плутократическому государству делать что-то большее, нежели просто сориентировать поток ненависти на ту или иную секту объединившихся в неприятии правящего класса (или что там удобно в данное время, по различным причинам, будь то экономика или нечто иной природы), чтобы подавить эту секту или даже, в крайних случаях, уничтожить.

Конечно, все эти силы не направлены прямо против конкретной расы, иногда это религиозная секта, преследуемая правящей кастой, но техника возбуждения ненависти всегда одна и та же.

Способность людей к ненависти, как ни удивительно, никогда не исчезнет. Особенно, когда представляешь, что человек по природе своей – существо стадное и потому сотворил мир, который, по сути, зиждется на любви, какие бы имена ей ни давали. Истина есть

любовь, вера – тоже форма любви, опора на полицию или армию, на государство – тоже форма любви. И легко понять, конечно, что любовь имманентна и необходима для любой группы, необходимость эта биологическая, и она подразумевает совершенно противоположные эмоции к элементам из другой группы, что, вероятно, угрожает (даже когда ее проявления не имеют никаких фактических оснований) самому благополучию или даже безопасности, не говоря уже о существовании, другой группы. Нам абсолютно понятно, почему слепые котята в корзинке, которых никто не учил страху или ненависти, шипят и фыркают на весьма доброжелательного пса, нюхающего корзинку. Все это понятно, потому что котятами руководит биологическая необходимость. Но трудно понять, почему человек, которого экономическая необходимость принуждает, а происходящая, благодаря достижениям аэронавтики стремительная "усадка глобуса", мягко убеждает мыслить в категориях все большего и большего числа групп, к которым он обязан выказывать лояльность или, одним словом, ту же любовь, вместо этого развивает способность ненавидеть.

Пишущий это искушаем желанием положить перо и горько улыбнуться, сетуя на недостаток понимания. Весенний английский день принуждает сердце чрезвычайно сильно любить природу и другого человека. Сердце расширяется в присутствии любимой и удивляется, почему она его не любит. Любовь кажется неизбежной, необходимой, такой же простой и естественной, как дыхание, но увы...

Эдуар Дюжарден

Портрет Э. Дюжардена работы Ф. Валлотона из «Книги масок» Р. де Гурмона (т. 2, 1898).

Николай Мельников

Писатель, которого обокрал Джеймс Джойс

К 130-летию публикации повести Эдуара Дюжардена “Лавры срезаны”

История знает немало примеров того, как новаторские произведения, опередившие свое время и предсказавшие пути развития литературы, не замечаются “ленивой и нелюбопытной” публикой, оставляют равнодушными критиков, но оказываются востребованными писателями следующих поколений, благодаря которым обретают второе рождение.

Так произошло и с повестью Эдуара Дюжардена (1861–1949) “Лавры срезаны”, впервые опубликованной в 1887 году в “Revue indépendante” – печатном органе французских символистов. Малотиражный эстетский журнал – “некрасивый с виду, оригинальный и варварский”, по определению Реми де Гурмона, – “стоял на страже святыни искусства”[1], а значит, был предназначен “немногим избранным” и, конечно же, не имел большого влияния на широкую публику.

Но даже если бы сочинение Дюжардена было опубликовано в каком-нибудь популярном журнале, вряд ли это принесло бы молодому автору известность и обеспечило любовь массового читателя. Слишком уж необычной по форме была эта повесть, охватывающая всего пять или шесть часов из жизни легкомысленного парижского бульвардье, лишенная событийной динамики, интриги, острых конфликтов и ярких характеров. Фабула здесь рудиментарна – ее можно пересказать в двух-трех фразах без боязни испортить впечатление от чтения.

Студент Даниэль Принс – вполне заурядный молодой человек, не слишком обременяющий себя учебой и ведущий довольно рассеянный образ жизни за счет родительских средств – безнадежно влюблен в начинающую актрису Лею – хорошень-

© Николай Мельников, 2017

1. Р. де Гурмон. Книга масок. – М.: Водолей, 2013. – С. 166.

кую хищницу, которая, давая воздыхателю незначительные авансы, умело вытягивает из него деньги. Сетуя на коварство Леи и смутно сознавая, что она его водит за нос, Даниэль готовится к очередному свиданию, во время которого надеется получить от нее то, чего бендеровский друг детства Коля Остен-Сакен добился от польской красавицы Инги Зайонц. Во время свидания кокетливая прелестница предоставляет Даниэлю долгожданный шанс, доверчиво засыпая на его руках, и тут... Впрочем, не важно, как повел себя юный вертопрах, явно не искушенный в науке страсти нежной, — сумел ли он сорвать долгожданный цветок или нет. Автора интересуют не столько его поступки, сколько работа его сознания, точнее разнородные проявления психики: слитые воедино мысли и полуосознанные волевые импульсы, грезы, воспоминания и сиюминутные впечатления. Вот почему *рассказ* здесь заменен *потоком сознания*, в котором растворяются все внешние факторы, все действия персонажа.

В 1880—1890-е, в баснословную эпоху Belle Époque, подобный взгляд на человека не нашел отклика у читателей и критиков. Собственно, и сам термин “stream of consciousness”, которому суждено было обозначать новаторский способ повествования, распространившийся в литературе следующего столетия, появился два года спустя после книжного издания “Лавров...” в “Научных основах психологии” (1890) Уильяма Джеймса. Сам Дюжарден, как позже и многие западные авторы, предпочитал использовать термин “le monologue intérieur”, что, разумеется, не вполне корректно, ибо внутренний монолог при всем сходстве с потоком сознания — сочетание понятийно-логического мышления с образным и интуитивным, ассоциативные скачки, недосказанность мыслей, что подчеркивается внезапными паузами, оборванными или грамматически неоформленными фразами и прочим, — тем не менее, следует рассматривать как особый тип повествования. В нем более или менее упорядочен ход мыслей и переживаний персонажа, не так радикально размывается сюжетное действие, более строго выдерживается временная дистанция по отношению к событиям и допускается присутствие в тексте автора-повествователя. Строго говоря, такой monologue intérieur был задействован задолго до появления “Лавров...” в произведениях Ф. М. Достоевского (вспомним хотя бы “Преступление и наказание” или “Кроткую”), В. М. Гаршина (его рассказ “Четыре дня” был переведен на французский в 1884 году) и Л. Н. Толстого — в седьмой части “Анны Карениной”, а еще раньше — в первом томе “Войны и мира” при описании полу-

сонного состояния Николая Ростова накануне Аустерлицкого сражения. Помните?

"...Да, бишь, что я думал? — не забыть. Как с государем говорить буду? Нет, не то — это завтра. Да, да! На ташку, наступить... тупить нас — кого? Гусаров. А гусары в усы... По Тверской ехал этот гусар с усами, еще я подумал о нем, против самого Гурьева дома... Старик Гурьев... Эх, славный малый Денисов! Да, все это пустяки. Главное теперь — государь тут. Как он на меня смотрел, и хотелось ему что-то сказать, да он не смел... Нет, это я не смел. Да это пустяки, а главное — не забывать, что я нужное-то думал, да. На — ташку, нас — тупить, да, да, да. Это хорошо..." (Война и мир. Т. 1, ч. 3, гл. 13).

Впрочем, если автор "Войны и мира" использовал новый способ повествования весьма выборочно и не изменял своей аналитической манере изображения человеческого сознания, — "мысль героя может быть как угодно беспорядочной: за всем этим стоит мудрость и организующая воля художника, который именно при помощи бессвязного потока слов передает скрытую логику законов, движущих внутренним миром человека", — то Эдуар Дюжарден, доживший до времен, когда о себе громко заявили сюрреалисты с их идеей "автоматического письма", настаивал (в книге 1931 года "Внутренний монолог"): писатель должен не просто воссоздать "непрерывный поток мыслей, возникающих в душе персонажа, по мере того как они рождаются, и в том порядке, в каком они рождаются", но и осуществлять этот отбор "не под знаком рациональной логики"[1].

Но не будем отвлекаться на теоретические рассуждения. Не раздобыв надежной славы на прозаическом поприще, Дюжарден (напомню — верный ученик Стефана Малларме) обратился к писанию стихов, символистских драм и музыковедческих статей. Истовый вагнерианец, он основал журнал "Revue Wagnérienne", с помощью которого "создал во Франции серьезное, почти религиозное вагнерианство"[2].

(Между тем опробованный им повествовательный метод с успехом использовали представители других литератур — например, Артур Шницлер в замечательной новелле "Лейтенант Густль" (1900), целиком представляющей собой поток сознания забубенного австрийского вояки, или Алексей Ре-

1. E. Dujardin. Le Monologue intérieur: son apparition, ses origines, sa place dans l'oeuvre de James Joyce. — P.: Messein, 1931, p. 68.
2. Р. де Гурмон. Книга масок. — С. 167.

мизов в романе "Часы" (1908) – в первой главе третьей части, где воспроизводится поток сознания Христины Федоровны.)

Трудно судить, остался бы Дюжарден и его повесть в истории литературы, если бы не счастливая случайность. В 1903 году в привокзальном книжном киоске она попалась на глаза молодому человеку, начинающему литератору, прибывшему в Париж из Дублина. Как потом честно признавался Джеймс Джойс (вы уже догадались, что речь идет именно о нем), книга произвела на него сильное впечатление и повлияла при создании "Портрета художника в юности" и "Улисса". Именно у Дюжардена позаимствовал он поток сознания в качестве ведущего типа повествования и главного принципа изображения психологии, при котором эмоционально-мыслительная деятельность человека дается в ее непосредственном протекании.

Как утверждал набоковский герой, "кража – лучший комплимент, который можно сделать вещи". Другое дело, что вся литература состоит из заимствований, и ничего зазорного в таких "кражах" писатели не видят. Произведения предшественников они рассматривают "как тучное пастбище, где каждый владеющий хотя бы небольшим клочком земли на Парнасе имеет полное право откармливать свою музу" (Генри Филдинг).

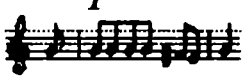
К чести Джойса, после успеха "Улисса" он и не скрывал, что многим обязан забытой повести малоизвестного французского автора. В 1920 году Джойс поведал о ней своему приятелю, писателю и переводчику Валери Ларбо, который загорелся идеей переиздать книгу, сыгравшую такую важную роль в формировании джойсовской манеры письма. В 1924 году "Лавры срезаны" были переизданы с предисловием Ларбо, объявившего Дюжардена предшественником Джойса. Затем, при содействии Джойса, повесть была переведена на английский язык и издана в Англии и Америке, получив благожелательные отзывы в прессе[1] и наконец-то завоевав автору пусть и скромное, но достойное место на литературном Олимпе. В 1924-м состоялось и личное знакомство двух писателей: победителя ученика и вызванного им из литературного небытия учителя. Они обменялись книгами. Дюжарден

1. Даже рецензент коммунистического журнала "New Masses", на страницах которого, как правило, "буржуазных" авторов не жаловали, одобрительно отозвался об "очаровательной", "прекрасно написанной" повести, обладающей "грацией и непосредственностью лирической поэмы" (J. Frank. <rec.: We'll to the Woods No More, by Eduard Dujardin / Transl. by Stuart Gilbert. – N. Y.: New Directions, 1938> // New Masses, 1938, V. 39, № 10, p. 26).

снабдил подарочный экземпляр переизданной повести прочувствованной надписью: “Джеймсу Джойсу, прославленному мастеру, но прежде всего тому, кто сказал умершему и погребенному человеку: ‘Встань, Лазарь’”. “Прославленный мастер” осчастливил новоявленного Лазаря почтительным инскриптом на копии французского перевода “Улисса”: “Эдуару Дюжардену, провозвестнику внутренней речи. Нераскаявшийся вор, Джеймс Джойс”[1].

Справедливости ради стоит заметить, что “нераскаявшийся вор” позаимствовал у Дюжардена не только прием передачи внутренней речи, но и принцип словесного моделирования музыкальной формы: насыщенный всевозможными музыкальными и звуковыми эффектами, одиннадцатый эпизод “Улисса” (“Сирены”) во многом перекликается с шестой главой повести, в которой Дюжарден попытался осуществить синтез музыки и литературы, передав “жизнь души, выраженной в непрерывном напоре музыкальных мотивов, сообщающих, один за другим, безгранично и последовательно, состояние мысли, чувства или ощущения”[2].

Повесть Эдуара Дюжардена, конечно же, уступает “Улиссу” по своему масштабу и силе воздействия на литературу. Однако она интересна не только как экспонат литературного музея или как мемориальное “тучное пастбище”, на котором пасся, откармливая свою музу, переимчивый гуру модернизма.

Поэтичная проза “Лавров...”, запечатлевшая психологию человека эпохи *Fin de siècle* и предвосхитившая многие достижения литературы XX века, обладает неповторимым шармом хрупкой, изящной выделки безделушки, случайно найденной среди пыльного хлама. Что-то вроде музыкальной шкатулки, из которой внезапно полились хрустальные звуки трогательно-наивной мелодии: *...un chant d’orgue-de-Barbarie, un air à danser, une sorte de valse, le rhythme d’une valse lente... “j’ t’aim’ qu’ mes dindons”... un chant qui va et recommence, un même chant...* 

1. F. Budgen. James Joyce and the Making of Ulysses. – L., 1934, p. 93.
2. E. Dujardin. Le Monologue intérieur: son apparition, ses origines, sa place dans l’oeuvre de James Joyce. – P. 97.

Эдуар Дюжарден
Лавры срезаны

Роман

Перевод с французского Даниила Лебедева

В знак уважения к высшему художнику душ, Расину.

I

В сумраке солнце садится, далекий воздух, глубокое небо ; и безумные толпы ; шум, тени, людские потоки ; бесконечная ширь пространств ; мутный сумрак...

И в сумбуре фигур, среди местностей и протяженностей, в иллюзиях вещей, которые плодятся и рождаются, один среди других, один как другие, другой среди других, похожий на других, один и тот же, еще один, из бесконечно возможных жизней я возникаю ; и вот появляются время и место ; это сегодня ; это здесь ; бьют часы ; и повсюду жизнь ; час, место, апрельский вечер, Париж, в светлом сумраке солнце садится, монотонные звуки, белые дома, листва теней ; нежнейший сумрак и радость быть кем-то, идти ; улицы и людские потоки, и в шири далекого воздуха — небо ; Париж вокруг поет и в дымке неясных форм тайком обрамляет мысли.

...Бьют часы ; шесть часов, долгожданный час. Вот и дом, куда я войду, где встречу кого-то ; дом ; вестибюль ; вхожу. Падает сумрак ; приятный воздух ; радостный воздух. Лестница ; первые ступени. Что, если он вышел раньше? с ним бывает ; хочется рассказать ему мой сегодняшний день. Первый этаж ; широкая светлая лестница ; окна. Я доверил этому молодцу тайну моей любви. Что за вечер ждет меня сегодня! Наконец-то он перестанет надо мной смеяться. Какой славный будет вечер! Почему завернут уголок у лестничного коврика? Получается серое пятно на красном подъеме, на красном, которое поднимается по ступенькам. Второй этаж ; дверь налево ;

© Даниил Лебедев. Перевод, 2017

“ Контора ”. Лишь бы он не ушел ; где его тогда искать? ладно, вернусь на улицу, если что. Быстро вхожу. Контора. Где Люсьен Шавен? Просторная комната, полукруг из стульев. А вот и он, склонился к столу ; он в пальто и шляпе ; торопливо раскладывает бумаги вместе с другим секретарем. На полках за его спиной — стопки синих тетрадей, перевязанные бечевкой. Я стою на пороге. Как приятно будет рассказать эту историю! Люсьен Шавен поднимает голову ; видит меня ; привет.

— А, это вы? Вы вовремя ; значит, помните, что мы заканчиваем в шесть. Если подождете меня, спустимся вместе.

— Отлично.

Окно открыто ; за ним серый двор, залитый светом ; высокие серые стены, светлые от хорошей погоды ; приятный день. Как мила была Лея, когда сказала мне : до вечера... Она улыбалась своей хитрой улыбкой, той же, что и два месяца тому назад. За ней, у окна, столик ; она бросает взгляд ; краснеет ; почему? Уходит.

— А вот и я.

Это Люсьен Шавен ; со своей тростью ; открывает дверь ; мы выходим ; спускаемся по лестнице. Он :

— На вас эта круглая шляпа...

— Да.

Он, кажется, упрекает меня. Почему бы мне не надеть круглую шляпу? Этот парень думает, что вся элегантность состоит из таких пустяков. Комнатка консьержа ; вечно пустая ; странный дом. Проводит ли он меня хоть немного? никогда не хочет пройти лишних два шага ; как с ним скучно. Мы выходим на улицу ; экипаж у двери ; фасады пылают на солнце ; перед нами башня Сен-Жака ; мы идем к площади Шатле.

— Ну так что ваша страсть? — спрашивает он ; сейчас я ему скажу.

— Да все так же.

Мы шагаем бок о бок.

— Вы от нее?

— Да, я был у нее. Два часа болтали, пели, играли на пианино. Назначила мне встречу сегодня вечером, после своего театра.

— Ага!

И как изящно!

— А вы, что у вас хорошего?

— У меня? Ничего.

Молчание. Очаровательная девушка! она рассердилась, что не сумела закончить песню ; я сбился с такта, но не признался в этом ; сегодня буду внимательней.

— Вы знаете, что она теперь появляется только под занавес? Я буду ждать ее около девяти, у Нувоте ; покатаемся в

экипаже ; в Лес, наверное ; хорошо сегодня на улице. Потом отвезу ее домой.

— И вы намереваетесь остаться?

— Нет.

Упаси Бог! Да поймет он когда-нибудь мои чувства или нет?

— Вы поразительны, — говорит он мне, — с вашим платонизмом.

Поразительны... с платонизмом...

— Да, мой дорогой, так я смотрю на вещи ; мне приятней поступать иначе, чем другие.

— Но, друг мой, вы не понимаете, с какой женщиной вы имеете дело.

— Девица из небольшого театра ; верно ; и именно поэтому мне приятно делать то, что я делаю.

— Вы надеетесь ее растрогать?

Он ухмыляется ; невыносимый тип. А вот и нет, она вовсе не из тех девушек, как можно было бы заподозрить. И все же... Улица Риволи ; переходим ; экипажи на станции ; сколько народу сегодня! шесть часов, время сутолоки, особенно в этом квартале ; гудок трамвая ; посторонимся.

— Справа народу поменьше, — говорю я.

Мы идем по тротуару, плечом к плечу. Шавен :

— И все-таки это ваше удовольствие не стоит таких усилий. Три месяца уже вы знакомы с этой девушкой...

— Три месяца я к ней захаживаю ; но вы прекрасно знаете, что я знаком с ней больше четырех месяцев.

— Пусть так. Четыре месяца вы впустую мотаете себе нервы.

— Вы смеетесь надо мной, дорогой Люсьен.

— Прежде чем сказать ей хоть слово, вы передали ей через горничную пятьсот франков.

Пятьсот франков? нет, триста. Хотя Шавену я, кажется, сказал, что пятьсот.

— Если вы полагаете, — продолжает он, — что подобное великодушие побуждает актрисок к ответным щедротам... Меняйте вашу стратегию, дружище, или вы не получите ничего.

Поразительные рассуждения. Не думает же он, что если я ничего не получаю, то это не потому, что я не хочу ничего получить? Не стоило мне говорить с ним об этом. Довольно.

— Я, дорогой мой, предпочитаю эти глупости ночным кутежам с несуразными девками.

И хватит с тебя. Молчит. Люсьен Шавен, конечно, отличный друг, но такой упрямый в вопросах чувств. Любить ; и почитать свою любовь, уважать свою любовь, любить свою

любовь. Хорошая погода для прогулки ; тепло ; я расстегиваю пальто ; надо снять жакет, прежде чем идти к Лее ; редингот подойдет лучше ; можно взять шелковую шляпу. Шавен отчасти прав ; впрочем, и я не простак! с рединготом нельзя надеть шляпу с круглыми полями. Лея почти не говорит о моем туалете ; хотя наверняка замечает. Шавен :

— Вечером я иду во Франсэ.

— Что дают?

— “ Рюи Блаза ”.

— И вы пойдете это смотреть?

— Почему бы и нет?

Даже не стану отвечать. Кто же ходит на “ Рюи Блаза ” в 1887 году? Он :

— Я не видел этой пьесы, и мне, по правде говоря, любопытно.

— Да вы закоренелый романтик!

— Это вы меня называете романтиком?

— А что?

— Да большего романтика, чем вы, еще нужно поискать. С этой вашей историей... Это же надо, податься в Нувоте смотреть что бы там ни было...

Как она была хороша!

— Друг мой, вы провели всю зиму, пудря себе мозги ; и сейчас вы совершаете тысячи глупостей. Серьезно вам говорю... И вспомните, что это я на выходе из театра отыскал на афише ее имя... Тут-то вы и загорелись ; и вот вам пожалуйста, платоническая любовь.

Проходит элегантный мужчина с розой в бутоньерке ; надо бы тоже достать какой-нибудь цветок к вечеру ; еще можно принести ей чего-нибудь. Шавен замолк ; глупый парень. Ну да, моя любовь необычна ; тем лучше. Улица ; улица Маренго ; площадь Лувра ; плотная цепь экипажей. Шавен :

— У Пале-Руаяль я должен буду вас покинуть.

Ну что ж! до чего он неприятен! вечно бросать людей на полпути. Вот мы уже под аркадами ; у магазинов ; в толпе. Что если перейти на дорогу? Слишком много экипажей. А здесь толкотня ; ну и ладно. Перед нами женщина ; высокая, стройная ; ах, эта выгнутая талия, едкий парфюм и блестящие рыжие волосы! вот бы увидеть ее лицо ; наверняка красивое.

— Идемте со мной в театр вечером... — это Шавен говорит. — ...Потом послоняемся где-нибудь часок.

— Я же сказал, у меня свидание.

Рыжеволосая женщина останавливается у витрины ; сильный профиль, да ; очень живое лицо ; подведенные черным глаза ; большой белый бант на шее ; она смотрит в нашу сто-

рону ; смотрит на меня ; какой вызов в глазах! Мы возле нее. Шикарная девушка.

— Идемте помедленней.

— Ваше свидание совсем не помешает ; раз вы решили не оставаться у мадемуазель Арсе, придете к последнему акту, или к выходу, или еще куда, и мы устроим ночную прогулку.

Он что, смеется надо мной?

— Расскажете мне, о чем вы говорили с мадемуазель Арсе.

В принципе, почему бы и нет, вечером, после встречи с ней?

— Это вам не подходит? Что же вы будете делать, когда покинете свою подружку?

— Вы и вправду идиот, дружище.

Мы замолчали ; кажется, он улыбается ; ну и вздор! Площадь Пале-Руаяль. А рыженькая, где она? исчезла ; черт! нет, не вижу. Шавен :

— Что вы ищете?

— Ничего.

Исчезла. Все из-за этого господина. Он :

— Я пошел к Театру ; хочу посмотреть время спектакля.

Вечно его спектакль. Ладно. Все же надо, прежде чем он уйдет, рассказать ему про мой день ; небольшая гостиная, чуть затененная желтыми занавесками ; Лея так любезна ; на ней был пеньюар из светлого атласа ; ее тонкая талия, стянутая под широкими шелковыми складками ; и высокий белый воротничок, из-под которого виднелся розоватый краешек ее шеи ; она улыбалась, приближаясь ко мне ; и с ее бледноватой, светлой головы свободно спадали на плечи золотистые пряди ; моя дорогая, она еще молода, и так мила ; девятнадцать лет, может быть, двадцать ; она говорит, что восемнадцать ; очаровательная девушка. Вдоль неподвижного Пале-Руаяль, мы идем вдоль Пале. Она протянула мне руку ; я поцеловал ее в лоб ; совершенно невинно ; она оперлась на мое плечо, и на миг мы остались так, неподвижно ; уютное тепло проступало сквозь атлас на мои руки. Как я люблю ее, бедняжку! И все эти люди, которые идут, здесь, там, идут, ах, не знающие об этих радостях, все эти безразличные люди, неизвестные, проходящие мимо!

— Вот афиша... — это снова Шавен. — ...Начало в восемь. Точно не пойдете?

— Точно, точно.

— Ну тогда до встречи ; мне нужно домой.

— До встречи. Доброго вечера.

Отличный друг... Приятного аппетита, господа... Нравиться этой женщине и любить ее... Боже, я был с ангелом... Он :

— И вам хорошего вечера, только без глупостей.
— Не беспокойтесь.
— Расскажете потом, чем занимались.
— Хорошо. До встречи.

Рукопожатие. Он разворачивается. До встречи! Я поднимусь по авеню Оперы ; поужинаю в кафе на углу Пети-Шамп ; будет время вернуться домой до девяти. Почта. Надо бы написать своим ; опаздываю ; напишу завтра ; завтра у меня лекция в Школе права ; лучше не пропускать те три курса, на которые я записан. Люсьен Шавен идет вечером во Франсэ. Да, бравый парень ; не прост, но с ним можно иметь дело, поговорить ; он понимает ; у него хороший вкус, он элегантен ; и настоящий друг ; приятно с ним встречаться ; в следующий раз объясню ему причины моего поведения ; жаль, не удалось рассказать ему побольше ; тогда бы он, может, понял, в чем очарование моей любви ; но он так зациклен на своем! Любовь, которая довольствуется дружбой ; женщина, которую так любишь и почитаешь! Два месяца прошло уже с наших первых и единственных объятий ; нет, это был конец, а нет, середина февраля. На авеню зажигают фонари ; вечер наступил. Какой она будет по возвращении? В длинном синем кашемире, конечно, с длинной косой, спадающей на плечи ; это делает ее наивной, совсем девочкой ; бывают вечера, когда она так смешлива, радостна ; однажды она была вся в черном, так забавно величественна ; в другой раз — свежая, с прямыми волосами, порозовевшая, выходила из ванной. Надо ей больше помогать ; мать должна послать мне денег на Пасху ; все наладится. Угол улицы Пети-Шамп ; кафе, уже горит свет ; повсюду уже горит свет ; как быстро наступает вечер! “ Восточное Кафе, ресторан ”. С другой стороны закусочная Дюваля ; пойти туда, сэкономить? Хорошо бы сэкономить ; кафе намного лучше, и разница в цене не так уж велика ; в закусочной тоже неплохо, не так удобно, но тоже неплохо ; ладно, раскошелюсь на кафе. Внутри свет, красные и золотистые отблески ; на улице темнее ; запотевшие стекла. “ Ужин : три франка... пиво : тридцать сантимов ”. Лея ни за что не стала бы тут ужинать. Вперед, вперед. Немного приподнять кончики усов, вот так.

II

Свет, пурпур, золото кафе ; сверкающие стекла ; белый передник гарсона ; вешалки, загроможденные шляпами и пальто. Кто-нибудь из знакомых? Люди смотрят, как я вхожу ; то-

щий господин с длинными бакенбардами, какая важность! Столы ломятся ; где бы сесть? Вон там свободно ; как раз мое привычное место ; иногда заводишь привычные места ; Лея не нашла бы к чему придраться.

— Если месье...

Гарсон. Стол. Шляпа на вешалке. Снять перчатки ; нужно небрежно бросить их на стол, возле тарелки ; нет, лучше в карман пальто ; нет, на стол ; эти мелочи очень важны. Пальто на вешалке ; сажусь ; уф! устал. Положу перчатки в карман. Свет, золото, пурпур, стекла, блеск ; что? кафе ; я в кафе. Как я устал! Гарсон :

— Раковый суп, сен-жермен, бульон...

— Бульон...

— Далее месье возьмет...

— Покажите карту...

— Белое вино, красное вино...

— Красное...

Карта. Рыба, морской язык... Пусть будет язык. Первое блюдо, бараньи ребрышки... нет. Курица... ладно.

— Морской язык ; курица ; с кресс-салатом.

— Морской язык ; курица-кресс.

Ну вот, поужинаю ; ничего, неплохо. Довольно красивая женщина ; ни блондинка, ни брюнетка ; честное слово, что-то особенное ; вроде высокая : жена этого лысого, который сидит ко мне спиной ; скорее любовница ; не очень походит на законную супругу ; да, очень даже ничего. Если бы она посмотрела сюда ; мы почти лицом к лицу ; как бы это устроить? И зачем? Увидела меня. Красивая ; а этот господин выглядит тупицей ; жаль, видно только спину ; хотел бы поглядеть на его физиономию ; адвокат, стряпчий из провинции ; ну я и дурак! А бульон? Стекло впереди отражает золоченую раму ; золоченая рама, которая, получается, за моей спиной ; все эти разукрашенные убранства, пунцовые оттенки света ; светло-желтый свет ламп на стенах ; желтоватые отблески на белых скатертях, на окнах, на посуде. Удобно ; уютно. Вот и бульон, дымящийся бульон ; лишь бы гарсон ничего мне не забрызгал. Ну вот ; попробуем. Бульон слишком горячий ; попробуем еще. Неплохо. Я обедал поздно, почти не голоден ; надо все-таки поесть. С бульоном покончено. Эта женщина снова смотрит сюда ; у нее выразительные глаза, а этот господин кажется тусклым ; вот бы с ней познакомиться ; почему бы и нет? При таких странных обстоятельствах ; погляжу на нее, а потом можно и предпринять что-нибудь ; они едят жаркое ; ха! Я мог бы, при желании, доесть с ними одновременно ; где гарсон, только бы он не мешкал ; вечно ждешь в этих

ресторанах ; если бы я мог ужинать дома ; консьерж, может, стряпал бы мне каждый день чего-нибудь подешевле. Это было бы скверно. Смех один ; и к тому же ужасно скучно ; и что насчет тех дней, когда я не возвращаюсь домой? в ресторане, по крайней мере, не соскучишься. Где этот гарсон? Идет ; несет морской язык. Какие странные рыбы! Этого языка хватит на четыре укуса. А бывают такие, которых подают на десятерых. Хотя, конечно, тут дело еще и в соусе. Приступим. Соус из мидий и креветок подошел бы куда лучше. Ах, как мы ловили креветок дома! жалкий улов, а сколько хлопот, и мокрые ноги! Хотя у меня были эти огромные желтые башмаки с площади Бурс. Никак не дочистишь эту рыбу ; так, я застрял на одном месте. Я должен сапожнику сто франков, даже больше. Нужно бы научиться понимать толк во всех этих делах на Бирже ; это бы пригодилось ; никогда не понимал, что значит играть на понижение ; как можно заработать на падающей валюте? допустим, у меня есть сто тысяч франков Панамы, и они падают ; значит, я продаю ; да ; ну и что, значит, я снова куплю на ближайшем подъеме ; нет, продам. Этот жирный адвокат за столом мог бы мне растолковать. Может, он вообще ни адвокат, ни нотариус. Ах, эти кости! В этой рыбе нечего есть ; и все-таки она неплоха ; оставлю эти ошметки. Откидываюсь на спинку скамьи ; люди заходят ; все мужчины ; один вроде как не в своей тарелке ; удивительное светлое пальто ; такие уже несколько сезонов не носят. Я оставил аппетитный кусочек языка ; подобрать его и выставить себя дураком, еще чего! Отличный белый кусочек, с тонкими следами от костей. Ну и ладно ; не буду его есть ; вытираю руки салфеткой ; немного жесткая, эта салфетка ; может, новая. Жена адвоката только что повернулась ; как будто подала мне знак ; роскошные глаза ; как бы с ней заговорить? Больше не смотрит. Написать записку ; значит, рискнуть провалом ; и все же... покажу ей записку ; если захочет взять, что-нибудь придумает ; в любом случае — написать записку. А потом? надо вернуться, переодеться, быть в театре до девяти ; это невыносимо, вся эта чертовщина.

— Месье закончили...

— Да. Принесите курицу.

— Месье...

Немного вина. Спереди пустая скамья ; между ней и стеклом — галантерея. Надо все-таки попробовать аферу с запиской. Бумажник ; визитка с адресом, так лучше ; карандаш ; отлично. Что написать? Свидание на завтра. Надо обозначить несколько свиданий. Если бы только адвокат знал, чем я тут занимаюсь, честная душа! Пишу : “ Завтра, в два, в чи-

тальном зале у Лувра... " Лувр, Лувр, не очень-то великосветское место, но все-таки самое удобное ; и потом, куда еще? Ладно, Лувр так Лувр! В два часа. Нужен достаточный промежуток ; хотя бы с двух до трех ; хорошо ; меняю " в " на " с " и добавляю " до трех ". Далее, " я... я буду ждать вас... ", нет, " я буду ждать " ; точка ; так, посмотрим. " Завтра, с двух, в читальном зале у Лувра, до трех я буд... " Никуда не годится ; как сказать? Не знаю. Так ; " в два, в читальном... " и т. д... " до трех я буду... " Пусть будет до четырех ; да ; прихвачу книгу ; легкий роман, публицистику ; не знаю, зачем я его купил тем вечером ; но раз уж купил, надо взглянуть ; устроюсь и спокойно подожду ; там как будто бы немного сквозит ; изредка ; нет, ничего там не сквозит. И эта записка, которую я не пишу ; продолжим. " Я буду ждать до... ", но нужно вернуть " в " на место " с " ; так ; " завтра, в два... ". Эта записка будет вся в помарках, омерзительная, неразборчивая ; черт знает что ; простужусь еще под сквозняками в этом гнусном читальном зале ; и потом, эта женщина вообще не возьмет мою записку. Я рву ее ; пополам, визитку ; еще раз ; получилось четыре клочка, еще раз, получилось восемь ; еще раз ; вот и еще ; дальше некуда. Ну вот, не могу же я кинуть эти бумажки на пол ; их обнаружат ; нужно их немного пожевать. Тьфу! Гадость какая. На землю ; так их уж точно не прочтут. Женщина смеется ; и все же с тех пор ни разу ни взглянула ; вот теперь смотрит ; смеется ; говорит с мужчиной ; милая, милая, какая милая! Эта жеваная бумага ужасна ; выпью немного ; уже не так мерзко во рту. Посмотрим меню ; зеленый горошек, спаржа ; нет ; мороженое, кофе с мороженым ; пойдет! Я почти не голоден. Десерты, сыры, безе, яблоки. Гарсон несет курицу ; симпатичная курица.

— Гарсон, принесите мне потом кофе с мороженым ; и еще, есть у вас сыр, камамбер?

— Да, месье.

— Тогда камамбер.

Примемся за курицу ; это крылышко ; сегодня не такое жесткое ; хлеб ; вполне съедобная курица ; здесь можно ужинать ; в следующий раз, когда мы с Леей будем ужинать у нее, я закажу еду на улице Фавар ; дешевле, чем в хороших ресторанах, и лучше. Только вино здесь не ахти ; за вином нужно идти в большие рестораны. Вино, игра, — вино, игра, красотки, — тадам, тадам... Какая связь между вином и игрой, между игрой и красотками? Я понимаю, что людям нужно подвыпить, чтобы заниматься любовью ; но игра? Замечательная курица, салат тоже ничего. Вот, спокойствие почти оконченного ужина. Но игра... вино, игра, — вино, игра, красотки... Люби-

мые красотки Скриба. Это не из Шале, а из “ Роберта-Дьявола ”. Да, это тоже Скриб. И вечно эта тройная страсть... Да здравствуют вино, любовь и табак... Еще есть табак ; согласен... тарам, тарам, и припев про бивуак... Произносится табак и бивуак, или таба и бивуа? Мендес с бульвара Капуцинов говорил укрощ-чать ; а нужно говорить укро-щать. Любовь и таба-к... и припев про бивуа-к... Адвокат с женщиной уходят. Это безумие, вздор, бред! дать им уйти!..

— Гарсон!

Тут же расплачусь и догоню их. Они выходят.

— Гарсон!

Гарсона нигде нет ; это возмутительно ; я идиот ; какой был шанс ; таких больше не будет ; волшебная женщина. Она не взглянула в мою сторону, вставая ; конечно, черт возьми. Уходят. Как было бы чудесно ; я бы проследил за ней ; узнал бы, куда она идет ; что-нибудь придумал бы. По какой улице она могла пойти? они повернули направо ; она поднялась по авеню Оперы. Сегодня дают оперу? Конечно, сегодня понедельник. Надо будет сводить туда мою милую Лею ; ей понравится.

— Месье звали?

Гарсон ; что ему надо? я звал? А, точно.

— Я немного тороплюсь... нельзя ли...

— Конечно, месье.

Похоже, этот гарсон смеется надо мной. Я и вправду кретин. И к чему вообще забивать голову другими женщинами? разве мне мало? зачем мне другая? искать, напрягаться? Люди опять выходят. Останусь ужинать на весь вечер. Мороженое ; браво ; а ну-ка ; медленно ; тут нужно смаковать ; прохлада ; привкус кофе ; ароматная прохлада на языке и нёбе ; дома такого не попробуешь. До чего ему, должно быть, все обрыдло, этому господину, который водил сына смотреть, как у Тортони едят мороженое. Тортони ; никогда там не был ; ни разу не побывать у Тортони ; да, надо бы... под звуки “ Белой Дамы ” ; надо бы, надо бы. С мороженым покончено ; ну и ладно. Не заметил, как гарсон принес сыр. Сперва немного воды. Через двенадцать-пятнадцать дней поеду в пригород ; если с погодой повезет, вся семья поселится в Кевийи ; в апреле слишком холодно, чтобы ехать в деревню. Оставлю сыр ; не хочется. Как это надоедает, все время ужинать в ресторанах! не с кем поговорить ; не на кого посмотреть ; ни одной женщины, чтобы понаблюдать ; восемь дней уже ни одной женщины ; куча порастратившихся мужчин ; приходят сюда с пустыми карманами ; проигрались ; и еще провинциальные адвокаты, которые воображают, что попа-

ли к Биньону. Три франка десять су чаевых ; и до свидания. Встаю ; надеваю пальто ; гарсон делает вид, что помогает ; спасибо ; шляпа ; перчатки, в кармане ; ухожу. Вон за тем столом было бы удобней, справа, у вешалки ; люди пьют пиво ; высокие массивные стеклянные двери ; гарсон открывает дверь ; до свидания ; холодно ; застегиваю пальто ; это потому что внутри было так жарко ; гарсон закрывает дверь ; “ пиво : тридцать сантимов... ужин : три франка ”.

III

На улице темно ; а всего-то полвосьмого ; пойду домой ; к девяти легко доберусь до Нувоте. На авеню не так темно, как казалось ; ясное небо ; влажные тротуары, свет фонарей, тройных фонарей ; почти никого ; а там Опера, сияющее здание Оперы ; я иду по правой стороне, к Опере. Забыл надеть перчатки ; ладно, скоро уже буду дома ; а здесь вообще никого. Скоро буду дома ; через... отсюда до Оперы пять минут ; улица Обер, пять минут ; столько же по бульвару Осман ; еще пять, будет десять, пятнадцать, двадцать минут ; переоденусь ; можно выйти в тридцать-тридцать пять девятого. Сухая погода ; хорошо идти, поужинав ; в это время никогда не бывает много народа. Лея выходит из театра в девять, в девять — четверть десятого. Что будем делать? проедемся в экипаже ; да, покатаемся по Елисейским Полям, до Рон-Пуанта ; или лучше до Триумфальной арки, чтобы вернуться окольными бульварами ; мягкая погода ; она подаст мне руку ; на ней наверняка будет черный наряд из кашемира ; я позабочусь, чтобы мы не вернулись слишком поздно ; конечно, она предложит мне ненадолго зайти ; увижу ее улыбку мелкого чертенка ; она медленно переоденется в вечернее платье. — Присаживайтесь в кресло и ведите себя примерно! — скажет она церемонно ; а я так же церемонно отвечу : — Да, мадемуазель! и сяду в кресло ; низкое кресло синего бархата, обшитое широкой лентой ; я был в этом кресле, когда она села ко мне на колени две недели назад ; и я сяду в это низкое кресло, рядом с ней, лицом к зеркальному шкафу ; она встанет и положит шляпу на стол, обитый плюшем ; поправив волосы короткими движениями, справа, слева, останавливаясь, оценивая себя, спереди, сзади, короткими движениями, поглядывая на меня, смеясь, гримасничая, проказница ; какое счастье! в черном платье и в черном кашемировом корсаже ; невысокая ; но и не маленького роста, хотя кажется таковой ; нет, не маленькой, а молодой, совсем молодой ; и такая пухлая ; широкие выпуклые бедра, плавные и покатые, под тонкой талией ; ее надменная грудь,

которая порой так славно вздымается от волнения ; и ее милое детское личико ; ее светлые-светлые волосы и большие глаза ; великолепная Лея. Ах, моя бедняжка, как я хочу ее любить, преданно любить, как и следует любить, не так, как другие. Когда мы вернемся, будет, по меньшей мере, десять. Семь тридцать пять на фонарных часах. Опера. Терраса кафе де ла Пэ забита ; никого из знакомых ; Опера ; улица Обер ; дом месье Водьера ; вот уже два месяца не ужинал у него ; может, он в отъезде ; он так богат! Да, иметь такое состояние ; сколько у него может быть? говорят, одной ренты на миллион ; это дает, как минимум, капитал в двадцать миллионов ; почти сто тысяч франков в месяц ; нет ; миллион делить на двенадцать, значит сто на двенадцать... ноль, остаток... допустим, девяносто шесть, девятьсот шестьдесят тысяч франков ; девяносто шесть на двенадцать — это восемь, восемьдесят ; восемьдесят тысяч франков в месяц. Я бы хотел, чтобы Лея жила в роскошном отеле ; моя нежная девочка ; если бы у меня были такие деньги ; сегодня вечером ; допустим ; вдруг получил бы по наследству ; забавная фантазия ; нотариус передал бы мне бумаги ; я бы получил деньги, золотом и наличными, тут же, сотню тысяч франков ; как обычно я пошел бы к Лее ; как ни в чем не бывало ; и вдруг сказал бы : — Хотите уехать, Лея? уедем вдвоем ; я увезу вас ; я тебя украду, ты меня украдешь... Нет, серьезно ; скажу что-нибудь вроде : — Хотите поехать?... Она, конечно, удивится ; скажет, что не может. — Почему?.. Даст понять, что не может вот так все бросить ; я отвечу просто, естественно : — Пожалуйста, не беспокойтесь, мне повезло ; я могу вам помочь ; если у вас есть долги, обязательства, разрешите мне облегчить вам отъезд?.. Да, неплохо... Разрешите мне облегчить вам отъезд. Выложу на стол десять тысяч франков ; и : — Если вам необходимо больше, только скажите... Десять тысяч ; или только пять ; нет, для начала лучше десять ; и к тому же мне это ничего не будет стоить. Двадцать тысяч? это уже абсурд ; десять, сойдет. Как она была бы ошеломлена и рада! — Хотите уехать? — спросил бы я. — Как? уехать? — Да, оставьте, бросьте все это ; и найдете в сто раз больше ; бежим вдвоем, уедем, тотчас! И я взял бы ее в объятья, я целовал бы ее волосы ; я бы завлек ее ; мало-помалу она бы согласилась ; было бы в точности как в “ Фортунио ” Готье ; но Фортунио поджигает занавески и из пламени похищает свою нагую возлюбленную ; с миллионом ренты я тоже мог бы позволить себе подурачиться. Театр “ Эдем ” ; фонари ; электрические лампы ; продавцы программок ; мальчишка открывает дверцу фиакра ; зачем вам нужно, чтобы какой-то мальчишка открывал дверцу фиакра? магазины Пренган ; на

тротуаре ни души ; обычно тут стоят девки, у которых не на что смотреть ; сегодня ни одной ; грустная улица. Вернемся к вопросу ; забавно было бы представить, как бы я устроился, если бы стал богат ; да, займемся этим на ходу. Так, я стал бы богат ; но как? да какая разница? просто так, стал бы — и все. Я, значит, стал бы богат ; сегодня же имел бы состояние, карманы, набитые деньгами. Мне не нужно роскошного дома ; я бы купил обычное холостяцкое жилье и устроил бы Лею в каком-нибудь отеле ; свой четвертый этаж на улице Женераль-Фуа я бы, пожалуй, оставил : что-нибудь подобное, только получше ; иметь свой холостяцкий уголок в тысяч эдак тридцать франков ренты и тратить у любовницы миллион в год ; это был бы первый этаж ; обязательно в квартале Монсо ; пять или шесть комнат ; вход через ворота ; два лестничных пролета ; дверь ; вестибюль ; спереди небольшая гостиная, столовая, курительная ; дальше кухня, кабинет, большая уборная и спальня ; спальня с выходом в сад. Вестибюль не должен быть маленьким ; я сделал бы из него что-то вроде оранжереи ; во всю длину квартиры? не очень удобно ; лучше бы он заканчивался на уровне столовой ; тогда между гостиной и спальней был бы второй, отделенный от первого дверью или скорее дверцей ; и дамочки тайком проскальзывали бы в дверцу!.. Как все это обставить? никакой пошлой роскоши ; в моем стиле ; всегда мечтал о белой спальне без мебели ; в центре — квадратная кровать ; скорее медная, чем обитая тканью, медь хорошо подходит к белому ; стены, обтянутые тканью, атласом, кашемиром, белыми шелками ; и потолок тоже ; на полу белые шкуры ; белого медведя, черт побери ; и, конечно, никакой мебели ; шкафы в уборной ; здесь только диваны... Ну вот, я уже больше не знаю ни где я, ни что я делаю ; ага! почти на бульваре Османа. Налево дверь в гостиную ; направо окно ; спереди дверь в уборную ; напротив — кровать ; камин? спереди, вместо двери в уборную ; а эта дверь? ближе к углу, или без камина ; или камин в углу ; и там, в углу или по центру потолка, алебастровый ночник, почти как в комнате Леи. Кабинет, разумеется, из мрамора. Вестибюль тоже из мрамора? Кустики вдоль стены. Как его осветить? форточка не подойдет. И, кроме того, я хочу, чтобы дом стоял на тихой улице. Лучше всего — садик в два-три метра между домом и улицей ; небольшая стена с гладкой решеткой ; садик ; всего несколько кустов сирени ; немного листвы ; какой ширины? метр-полтора ; глупости ; два или три метра. Зависит от того, будет ли дверь выходить в сад ; не очень удобно ; но если это будет дверь из столовой — то ничего ; иногда приятно ; так, три или четыре метра сада. Посмотрим ; три метра, три больших шага ;

раз, два, три, да, годится. Если захочу поужинать в доме, прислуга вместе с каким-нибудь Шеветом это устроят ; жить просто и со вкусом ; впрочем, большую часть времени я бы проводил у Леи ; иногда привозил бы ее к себе ; небольшая шалость ; мы бы нежно любили друг друга в нашей белой спальне среди белых медвежьих шкур. Этим же вечером мы бы сбежали вместе ; я бы пришел к ней через два часа ; в кармане у меня были бы двадцать пять тысяч ; я бы пришел как обычно. Но я иду не к ней, я иду в этот ее театр ; ничего, ничего...

— Добрый вечер, месье.

Что? Девочка. Если сделаю вид, что заметил ее, она меня остановит...

— Месье...

Волны пачулей ; Господи! скорее, скорее мимо. Ах, Лея, Лея, моя любимая, хорошая, любимая маленькая Лея ; как бы ты была счастлива, как бы все это кончилось, эти плохие дни, и как бы мы любили друг друга, и я сказал бы тебе, что я разбогател ради тебя, и мы бы бежали вместе, сегодня же вечером. Куда? сперва ко мне, а на другой день — в путешествие ; день на сборы ; так что отъезд все-таки через день ; и все время вместе, у меня ; именно так, сегодня вечером, около девяти, как обычно, я подошел бы к театру ; я жду ; она появляется ; мы здороваемся ; она подходит ; я говорю ей : добрый вечер, мадемуазель... Кто этот молодой человек, слева, на соседней улице, высокий, худой, в коротком черном плаще и высокой шляпе? Это Поль Энар. Идет сюда. А, Поль Энар! Само приличие ; и всегда с этой тонкой тростниковой тростью ; заметил меня, делает знак...

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Вы идете к себе?

— Да. Как ваши дела?.. Вы оттуда?

— Да ; я пройдусь с вами до Сант-Огюстена.

— Прекрасно. Что нового?

— Ничего, пока ничего.

Я рад его видеть ; очень давний, очень честный, очень душевный друг ; очень порядочный ; джентльмен ; ему можно довериться ; очень честный ; очень душевный. Идем по бульвару. Он недурен собой, без лишнего позерства. Куда это он шел? Спрошу.

— Вам разве не по этой дороге?

— Нет ; я иду на Курсель.

Все еще эта древняя история с браком ; так это еще продолжается?

— Курсель? Вы идете к этой даме, у которой та девушка...

— Именно...

— Вы что-то упоминали об этом ; некоторое время назад ; и как у вас там?

— Скоро женюсь.

— Правда?

— Правда. Это вас удивляет?

— Нет.

Жениться ; жениться на любимой женщине ; иметь возможность жениться на женщине, которую любишь ; обладать ею. Бывает же такое, жениться, быть вместе, иметь жену.

— Нет, — говорю я, — меня это не удивляет... Но как это вышло так быстро?

Он женится. Что за парень, и эта его любовь, брак, только с ним такие истории и случаются!

— Что вы хотите от меня услышать? — отвечает он. — Я люблю девушку, которая меня любит, и я на ней женюсь.

— И вы счастливы.

— Счастлив.

— Повезло вам.

— Я нашел достойную и способную любить женщину.

Он, кажется, считает, что он единственный любим и любит. А все-таки я помню...

— Дорогой Энар, если я верно припоминаю те два-три слова, которые вы обронили по этому поводу, то вы встретили ее по совершенной случайности, эту девушку.

— Совершенно случайно, да ; в первый раз я увидел ее в городском парке с двумя другими девушками, я как раз прогуливался мимо ; она была там, такая свежая, простая ; больше шести месяцев тому назад ; я узнал, где она живет, затем ее имя, кто она... и вот пожалуйста.

И вот пожалуйста ; сам признает ; в городском парке, три девушки ; я сел перед ними ; достал свой лорнет ; проследил за ними ; и вот пожалуйста.

— Стоит математику влюбиться, и все пропало. Вы с ней заговорили.

— Не сразу. Она меня заметила ; это она мне позже сказала. Я знал, что она живет с матерью. Об остальном сами догадываетесь.

— Вы передали ей записку.

— Нет. Друг моего друга свел меня с этими дамами.

Сводничество ; прекрасно.

— А дальше?

— Я открыл в ней девушку широкой души ; девушку серьезную, верную, немногословную, с твердыми взглядами, настоящую женщину. Я направился к ее матери ; ах, какая хорошая мать! Она поняла, доверилась, милая, смелая, чудесная

мать. История госпожи Де Сегур, не правда ли? Ее мать проводит вечера за вязаньем, под стать своему возрасту ; иногда играет на фортепьяно ; мы с Элизой болтаем...

Какая невинность.

— И сколько это длится?

— Пять-шесть месяцев. Однажды вечером мы договорились о свадьбе ; она была вся в белом, в своем кресле ; я рядом с ней, на маленьком стульчике ; мы были в углу гостиной ; ее мать частенько пытается разобраться в сложных пассажах ; из Янсена, например ; Элиза, совершенно неподвижная, говорила тихо, чуть шевеля губами, и, как если бы в ней заговорил кто-то другой, она промолвила : — В первый же вечер, когда вы пришли сюда, я бы сказала " да ", если бы осмелилась... — И затем сказала : — Друг мой, я буду вашей женой... — Она сказала эти слова... Представьте себе... И тут мать обернулась, посмотрела на нас и воскликнула : — Ну вот, дети мои, теперь мы вас поженим ; да не смущайтесь... Ха! Ха! Ха!.. И она начала смеяться, таким веселым смехом, таким искренним ; и... и так далее, и так далее.

Вот и мораль всей истории.

— Прекрасно, моей дорогой Энар, прекрасно. Очень мило с вашей стороны рассказать мне все эти вещи. Значит, вы женитесь?

— Надеюсь, этим летом.

— У нее есть какие-нибудь средства?

— Матери хватает на достойную жизнь ; сам я зарабатываю кое-что в Компании.

— Прекрасно, прекрасно. Ей двадцать лет, так ведь, а вам двадцать семь?

— В ней честь и смысл моей жизни ; я буду ей хорошим мужем, мне больше никто не нужен.

Никто не нужен, хорошим мужем, никто не нужен. Мы шагаем по улицам, Поль и я. Перед нами бульвар Малерб, деревья, огни, пустынные улицы, вялый ветерок. Хотел бы я очутиться там, в деревне, у отца, в ночных полях, одному, одному, ах, бродить одному! Так хорошо ночью в деревне, бродить с палкой в руке, выпрямив спину, мечтать о всяких вещах, в тишине, в больших одиноких деревнях, на глубоких дорогах, как хорошо, как хорошо!.. Мы шагаем вместе, Поль и я, плечом к плечу.

— Счастливчик вы, мой дорогой Энар.

— И вам желаю чего-нибудь подобного ; скоро я увижу мою невесту ; она ждет меня ; не подавая виду ; ее мать, наверное, подтрунивает над ней. А вот и Сант-Огюстен. Вы поднимаетесь по Портали?

— Да ; мне надо домой.
— А у вас никого нет на примете? Напротив, держу пари...
— А, пустяки! До свидания, Поль.
— До свидания.
— Заглянете как-нибудь?
— Как-нибудь утром разбужу вас, если позволите.
— Конечно, мой друг.
— До встречи.
— До встречи.

Мы расходимся. Ему вон туда. Ах, разве он не счастлив? он узнал любовь целиком, взаимную любовь. Он думает, что я гоняюсь за девчонками. Взаимная любовь! Он верит себе, а значит, счастлив ; счастлив как никто ; разве он единственный познал, что такое любовь? Он, конечно, такого мнения. И все-таки! поразительно верить в подобные вещи ; и с какой стати? Улица Курсель ; Элиза ; мамаша ; и кто, Боже мой? дамочка, с которой он в один прекрасный день встретился по чистой случайности ; которая посещает городской парк с двумя подружками ; за которой он проследил ; которая приняла его записку ; у которой он шесть месяцев строил из себя праведника ; и которая тут же бы ему и сказала “ да ”, если бы он осмелился. И мамаша ; мелкая рантье ; вдова, конечно ; вдова офицера ; которая делает вид, что копошится в Янсене ; романс вечной любви ; я буду вашей женой ; а почему бы и не тут же, вот в этой самой спальне? что бы он тогда сказал, наш инженер? Ха, они поступили с ним осмотрительно. И он будет воображать, уже воображает, может вообразить, что любит ; не понимает, что сам себя одурачил ; не может себе представить, что через два месяца этот каприз пройдет ; женится. Настоящая любовь не бывает такой, так не устраивается, так не рождается, и если сердце прихватывает, то не в один прекрасный день, когда мы слоняемся в парке Монсо, высматривая модисточек и вдовьих дочурок, чтобы разыграть Париса перед тремя красотками... Моя дверь ; вот и пришел... Любовь? в самом деле? я, я, я, черт подери.

IV

— Месье.

Это мне ; консьерж ; держит письмо.

— Горничная, которая приходила уже несколько раз, пятнадцать минут назад принесла это письмо для месье. Сказала, что это срочно.

Точно от Леи.

— Давайте... Спасибо.

Да, письмо от Леи ; скорее.

“ Мой дорогой друг, не встречайте меня сегодня у театра. Приходите прямо домой к десяти часам. Буду ждать. Лея ”.

Невыносимо ; все время изменения ; никогда не знаешь, чего ждать ; договариваемся об одном, а выходит другое ; одна и та же вечная комедия ; почему она не хочет, чтобы я подошел к театру? чтобы ее не видели со мной? очередной ухажер? Хотя, может быть, она опоздала ; может, на то есть причина. Третий этаж или четвертый? лампа ; третий этаж. Эта девушка приводит меня в отчаяние ; хорошо еще, что предупредили ; послать горничную в семь часов ; я мог бы и не вернуться ; абсурд ; если бы я не получил записку и встретился с ней у театра, она закатила бы жуткий скандал ; нет, она будет опасаться моего присутствия и выйдет через другую дверь ; в этих театрах по двадцать пять дверей ; и как бы я там выглядел? она знала, конечно, что я зайду домой перед уходом ; ладно... Дверь ; открываю ; мрак ; спички на месте ; чиркаю... осторожно... дверь в гостиную ; вхожу ; камин ; подсвечник ; зажигаю свечку ; спичку в пепельницу ; все на месте ; стол ; писем нет ; а нет, есть ; визитка ; в рамке ; кто приходил?.. Жюль де Ривар... Как жалко! этот старый друг ; всегда сидели вместе на философии ; умный парень! Приходил сегодня ; консьерж ничего мне не говорит ; значит, дорогой де Ривар в Париже ; со своими черными усами и видом кавалерийского офицера ; этот тоже умеет держать себя ; он вернется ; он что, спьяну забыл оставить свой адрес? А, на другой стороне, я и не подумал, вот написано... “ Жду тебя завтра к обеду ; встретимся в 11 часов, отель Байрон, ул. Лаффит ”. Приду, приду... А лекция по праву в два часа? не останется времени — не пойду. Он, должно быть, богат, старина де Ривар ; из провинциальных дворян ; гм, кто знает? Завтра, в одиннадцать на улице Лаффит. Теперь нужно переодеться, чтобы идти к Лее ; у меня больше полутора часов для приготовлений. Пальто и шляпа на стуле. Вхожу в спальню ; два тонкошеих подсвечника по две свечи ; зажгу ; так. Спальня ; белизна простыней в бамбуке, слева, вон там ; старый вышитый гобелен над кроватью, красные, смутные, неясные рисунки, сине-фиолетовые, приглушенные тона, темноватые оттенки черно-красного и темно-синего, выцветшие краски ; в уборную нужна новая циновка ; выберу что-нибудь в “ Бон Марше ” ; на авеню Оперы было бы лучше. Надо переодеться. Что толку? я не должен оставаться у Леи, нужно вернуться домой ; и все-таки, кто знает, как все пойдет? кто знает, как все может обернуться? разве это невозможно? Ах, когда же настанет день нашей любви? Оставим это ; займусь одеждой ; время у меня есть, больше, чем надо ;

до нее идти двадцать минут ; незачем торопиться ; хороший сегодня вечер, теплый, мягкий ; намечается много приятного ; поболтаем в экипаже ; внутри, вдвоем, поплывем тенистыми улицами, под ясным небом, радостно, в теплом, мягком воздухе ; хороший вечер. Что, если открыть окно? да ; настежь. На улице смеркается ; ночь бледнеет от первых звезд ; смутные полутени ; ясная ночь ; за моей спиной спальня, блики свечей, густой комнатный воздух, влажный воздух тяжелых помещений ; я наклоняюсь вперед, опершись о балкон ; глубоко вдыхаю вечер ; рассеянно смотрю на красоту снаружи ; на красивую, тенистую, меланхоличную, грациозную, воздушную даль ; красота ночи ; серое, черное небо и смутная синева ; и точки звезд дрожат, как капли, водянистые звезды ; белизна вокруг, высокое небо ; дальше массы деревьев, а еще дальше дома, темные, со светом в окнах ; крыши, закопченные крыши ; внизу — пестрый сад и пестрые стены, вещи ; и темнота в окнах, и свет в окнах темных домов, и необъятное небо в штрихах синевы, и белизна первых звезд ; теплый воздух ; затишье ; жаркий воздух ; вздохи младенца-мая ; уют, тепло в нежном воздухе ночи ; тучные массы деревьев, вон там, и сине-серая сфера неба, проколотая дрожащими огоньками ; смутная тень сада в ночи ; ласковый воздух ; о, славное весеннее дуновение, славное летнее дуновение в ночи! Лея, моя нежная Лея, милая Лея, моя любовь, моя Лея! все вещи сливаются в сумерках ночи ; о, мой друг с легкой улыбкой, смехом, смеющимися глазами, большими глазами, с маленьким смеющимся ротиком, да, с губами в улыбке! смутные сады неподвижны в тени, под чистым небом, и ее милая белая головка, насмешливая и по-детски маленькая, изящный нос, милое личико, тонкие светлые волосы, тонкая белая кожа, ребенок, который смеется, улыбается мне и шутит надо мной, и мы любим друг друга ; этой ночью, на уплывающем балконе, в неясности отдаленных стен, в теплом ночном воздухе, среди стирающихся горизонтов, ты красива и грациозна ; божественно грациозна, ты идешь, твои бедра покачиваются, ты мягко идешь, по коврам, к столу, на котором цветы, в изысканной желтой гостиной ; вдоль цветов по ковру из муара ты мягко идешь, чуть качнув головой направо, затем чуть налево, с белой улыбкой, с белым лицом под непослушными волосами, улыбаешься, тихо, качаешься, проходишь, проходишь, идешь ; и плывет твое тонкое платье, кремовый креп, колыхание крепа, и спадает лента из шелка, складки крепа обвили твой бюст и бедра, и детское тело, и медленно ты шевелишь губами, моя дорогая ; я люблю тебя, тень высокой листвы возносится к небу, все выше и выше ; моя, ты возникаешь в тени,

светлая, улыбчивая, наивная, хорошая, чарующая ; я люблю тебя чисто ; я хочу лишь любви ; и ее поцелуя, поцелуя любви... Ах, я получил ее, ту, которая не любила меня!.. Ночь ; темнота деревьев ; сияние растущих звезд ; поднимается ночь ; за спиной моя спальня ; я не вижу ее, но я знаю, она там ; сзади — тяжелый воздух спальни ; здесь — свежий и теплый вечерний воздух ; отойти от окна, черт! вернуться, заняться делами, делать дела ; хорошо бы мечтать в вечернем безделье, у окна, размышлять о любви, о любимой, и смотреть на спокойный вечер, и мечтать ; блаженным вечером мечтать о любви, что могла бы быть чистой, о любимой, что могла бы быть невинной ; хорошо бы мечтать в мягком спокойствии вечера... Здесь — свежая, черная ночь ; ночь свежее, чернее ; сзади — спальня, жарче, влажнее, с прозрачными свечами ; снаружи свежо, внутри теплее, нежнее ; снаружи свежо, почти холодно ; как все же грустны эти черноты ; тревожно копаться в неподвижностях ; в этом бледном небе, в этих грудах деревьев, в леденящих отблесках ; в этой, чуть ли не траурной, тишине ; я боюсь этой огромной безмолвной ночи ; внутри нежно, тепло, влажно, жарко, с коврами, тканями, замкнутыми стенами, удобство мягких вещей ; обратно... Я встаю, поворачиваюсь... Зажженные свечи на камине ; белая, уютная кровать, ковры ; я прислоняюсь к открытому окну ; снаружи, сзади, я чувствую ночь ; черную, холодную, грустную, траурную ночь ; тень, в которой движутся формы ; тишина, в которой шумят пески ; в темноте теснятся высокие деревья ; голые стены ; и темные окна незнакомцев, и светлые окна, незнакомцы ; мерцанье заплаканных звездных глаз на бледном небе ; тайна смутных теней, сумрачных, замешанных в чем-то восхитительном ; да, там, что-то неизвестное, восхитительное... Дрожь по телу ; я резко оборачиваюсь, хватаюсь за рамы, толкаю, резко закрываю... Ничего... Окно закрыто... Занавески? задергиваю, вот так... Ночь уничтожена. Дружелюбный свет озаряет комнату ; как уютно дома! Теплая комната ; вдали от страхов ночных пустынь ; удобство ; свет. Я прислоняюсь к стене. Чувство сохранности, спокойствия, бодрости ; белое сияние свечей, позолоченных белизной ; мягкость ковров и драпировок ; достаток, счастье, шарм ; здесь я приготовлюсь с удовольствием, здесь, в успокоении тесной комнаты. Ярко сияющая, сверкающая белизной ванная комната цвета текущей воды и мрамора ; пора одеваться ; на мне серые брюки и черный жакет ; я мог бы пойти к Лее и так ; она, конечно, уже видела меня в этом костюме ; но она видела меня во всех моих костюмах ; сносный наряд ; редингот? незачем ; я буду видеть одну только Лею ; туфли надену те же ; все пуговицы на

месте? все ; чистые ; только пройтись щеткой ; но надо сменить рубашку ; вот эта, вчерашняя, еще чистая ; манжеты и воротник белые ; так скучно переодеваться ; ладно, надо так надо ; если вдруг вечером, у Леи, кто знает?.. ах дорогая красавица! если вдруг... Черт, черт, я что, совсем спятил? так, одеться и взять другую рубашку. Жакет, так, на кровати ; жилет, тоже здесь ; теперь в ванную ; какой здесь порядок ; прислуга в самом деле старается ; в большом зеркале над туалетом отражаются свечи ; стены цвета соломы ; большая белая раковина, полная воды ; прозрачная, жемчужная вода ; всего несколько капель мускуса ; рубашка на вешалке ; хорошо, что у меня нет фланелевых рубашек ; смех один ; губка ; холодная вода на ладони ; ах! голову в воду ; дрожь! это прелесть, голова в прозрачной, журчащей, шумящей воде, которая катится и скользит, и стекает, и струится ; гул в мокрых ушах ; закрытые, затем открытые глаза в водной зелени, дрожащая, потревоженная кожа, ласка, нега ; хорошо бы этим летом отправиться на море ; непременно поедем в Ипор ; мать любит эти места ; лес, скалы ; ах, окунуться в раковину ; колючая губка на шее, свежесть от хорошей, чуть ароматной воды на груди ; полотенце ; уф! я брился в полдень ; достаточно на сегодня ; а может, побриться? никогда не бреешься как следует ; борода мне бы не пошла. Ну вот, я в приличном виде ; всегда нужно быть начеку ; сегодня вечером еду к Лее ; эхе! а что, если она меня приютит? Было бы забавно... Вперед, вперед... Где моя щетка для волос? Поразительно, как порочные девицы терпят стольких людей ; ба! да и мы им не особенно отказываем. Я теперь — оприятней некуда ; браво! быстро, надо одеться ; пожалуй, будет холодно ; белая рубашка ; поторопимся ; пуговицы на манжетах, на воротнике ; ах! свежее белье ; ну и дубина! скорее ; в спальню ; галстук ; скверные лямки, как я их только выбирал ; жилет ; часы, в карман ; жакет ; забыл почистить ботинки ; ну и ладно! нет, один взмах щетки ; щетка для одежды ; немного пыли да и только ; раз, два ; теперь жакет ; галстук на месте ; отлично ; я готов ; могу идти ; платок ; кошелек ; прекрасно ; который час? полдевятого ; незачем выходить так рано ; что ж, сядем, вот сюда, в кресло ; целый час еще ждать ; как здесь спокойно! совершенно спокойно и чудесно ; ничего нет лучше, мой друг, хорошей сиесты в хорошем кресле после пятнадцати минут приготовлений и плесканья в прохладной воде.

V

Раз уж мне нечем заняться, обдумаем, вкратце, но серьезно, как мне следует вести себя вечером у Леи ; разумеется, остать-

ся с нею до полуночи или до часа ночи, а затем уйти ; важно, чтобы она поняла причину моего поведения ; ах, как это сложно объяснить! Мне не по себе в этой комнате ; пойду в гостиную ; вперед ; свечи на письменном столе ; остается только прохаживаться туда-обратно по гостиной, перед камином, перед двумя окнами ; задерну шторы ; в гостиной, непринужденно, туда-обратно. О чем это я? Странное дело : стоит мне захотеть подумать о чем-нибудь, как мысли тут же начинают путаться. И все же нужно знать, как поступить сегодня вечером ; нельзя все бросать на волю случая ; я должен показать Лее, что... Во-первых, нужна возможность внезапно уйти ; уже много раз, когда она не просила меня остаться, по дороге к двери я выглядел так, будто меня вежливо спровадили. Сегодня она, может быть, согласится, чтобы я остался ; допустим, она согласилась ; тогда я, конечно, скажу ей, что лучше бы мне уйти ; зачем оставаться, если она не любит меня достаточно, чтобы удержать меня по своей воле? Так я ей и отвечу. Это трудно ; не знаю, удастся ли ; она будет поражена ; она взглянет на меня своими большими глазами с преувеличенным удивлением и полушутливо ; как в тот день, когда я вздумал ее отчитать ; со свойственной ей бодрой манерой приходить, уходить, с ее мелкими жестами, то поспешными, то ленивыми ; и еще в тот день, когда она бросила свою шляпку на жардиньерку ; свою жемчужно-серую шляпку ; она принялась смеяться, смеяться ; сумасшедшая!.. Какой я рассеянный! я так никогда не остановлюсь на чем-нибудь одном ; просто невыносимо. Записывать, что ли? Хорошая идея ; набросаю небольшой письменный план того, что я должен ей сказать ; по крайней мере, поможет привести в порядок мысли. Сажусь ; бювар, бумага, чернильница, перо ; пера, кажется, хватит ; отлично. Драпировка из китайского шелка напротив ; смутные белые цветы, китайский шелк, медлительный аист стоит в воде с приподнятым клювом ; черный, очень гладкий шелк с белыми узорами ; бумага в бюваре ; вот так ; напишем... Что она писала мне в последнем письме? надо бы сперва его перечитать ; вот они, ее письма ; поглядим. Стопка писем в выдвижном ящике ; вся переписка, ее послания и черновики моих. Вот первое письмо, четыре месяца назад.

“ Месье,

Для меня совершенно невозможно принять Ваше любезное приглашение на сегодняшний вечер. Была бы рада, если бы Вы могли перенести его на завтра.

Всего вам доброго ”.

Это с того вечера, когда я думал отвести ее на ужин ; накануне мы с ней впервые увиделись ; в полночь я попросил кон-

сьержа позвать ее, и мне вручили это письмо. А на следующий день? на следующий день у этого же консьержа она спровадила меня. Вот ее второе письмо, две недели спустя.

“ Месье,

я глубоко благодарна Вам за услугу, которую Вы столь учтиво... ”

Я вернулся на улицу Стивенс. Если уж что-то предпринимаешь, то негоже неожиданно отказываться ; я делал некоторые шаги, оставлял чаевые, писал письма ; но я не мог на этом остановиться, все бросить, перестать думать. Тогда ее горничной была Луиза ; сколько луидоров я был вынужден дать этой толстухе! За две недели отсутствия Леи я не видел на улице Стивенс никого, кроме великолепной Луизы. А потом эта история ; мадемуазель д’Арсе провалилась где-то в Шампани, не знаю даже где, без денег ; утром я получил шестьсот франков от отца ; сработал инстинкт ; желание удивить, ослепить, быть чудесным ; короче, безумие ; отдать таким образом триста франков ; женщине, которую видел дважды, и то мельком, той, которая выставила тебя за дверь ; жест красивый, ничего не скажешь, но он связал меня по рукам и ногам. Тогда-то она и написала второе письмо.

“ ...Я глубоко благодарна Вам за услугу, которую Вы столь учтиво мне оказали. Если бы я узнала раньше, что именно Вы являетесь моим благодетелем, я бы сразу же отблагодарила Вас ”.

Она сперва написала “ раньше ”, а потом переправила на “ сразу же ”.

“ ...Но мне сообщили о Вашей доброте только недавно. Спешу вам сказать, что я возвращаюсь в Париж в среду вечером и что, если Вы будете так добры нанести мне визит в четверг во второй половине дня, ближе к четырем часам, я буду Вам очень рада. В предвкушении скорой встречи, крепко жму Вашу руку.

Лея д’Арсе ”.

Мне тогда пришла в голову мысль записать в блокнот, день за днем, в виде резюме, продолжение моих отношений с этой женщиной ; зря я бросил эту затею ; это было бы интересно ; но и оставшаяся летопись трех недель любопытна ; тех самых недель после возвращения Леи в Париж, трех первых недель нашей связи ; началось это на следующий день после ее приезда.

“ *Четверг, 27 января* : — Четыре часа ; я еду на улицу Стивенс ; Лея принимает меня ; белое платье ; она рассказывает мне о своих заботах, квартира до сих пор не оплачена ; я предлагаю привезти ей в полночь двести франков ; договорились.

Полночь ; она возвращается из театра со своей матерью ; принимает меня в своей комнате ; сперва не очень любезна ; даю ей двести франков ; она не хочет, чтобы я остался ; плохое самочувствие ; становится любезней... ”

В самом деле, раз уж начал, надо было продолжать ; я к тому же имел повод думать, что этот новый, этот последний дар разрешит все трудности, я не мог ни действовать иначе, ни отказать, тем самым сведя на нет эффект от моих первых пожертвований.

“ *Пятница, 28 января* : — Отправляю белую сирень.

Суббота, 29 января : — Кажется, видел ее в экипаже на улице Мартир ; приезжаю на улицу Стивенс ; Луиза говорит мне, что она уехала ужинать ; обещаю прийти на следующий день в час дня.

Воскресенье, 30 января : — Час дня, улица Стивенс ; Луиза говорит мне, что она на несколько дней уехала в деревню ; по настоянию матери ; ее держат в большой строгости ; я выказываю недовольство ; говорю, что уезжаю из Парижа на неделю ; справляюсь о ренте, которую раньше платил консул ; пятьсот франков в месяц плюс туалеты и подарки.

С 31 января по 12 февраля : — Путешествие в Бельгию.

5 февраля : — Пишу.

9 : — Ответ.

10 : — Пишу второе письмо... ”

Обрывки двух моих писем и ее ответ. Вот мое первое письмо :

“ Я надеялся, что в понедельник мне не придется уйти, так и не пожав вашу руку... ”

И так далее ; ничего интересного. А! ее ответ.

“ Я была очень тронута Вашими нежными словами. Я верю, что они искренни!.. Я показалась Вам грустной в Ваш последний визит ; так оно и есть. Возможно, Вы отметили во мне некоторое смятение. Я не решилась Вам сказать, что в данный момент я переживаю самые тяжелые обстоятельства, которые не оставляют меня в покое ни днем, ни ночью. У меня есть серьезные обязательства, и мне необходимо почувствовать себя свободной от них, чтобы вновь обрести себя и быть в Вашем распоряжении. У меня, к сожалению, совершенно нет личной независимости, только тяжелое бремя, которое приходится нести ; в то самое время, когда мое сердце тянется к Вашему, я достаточно честна, чтобы далее не скрывать от Вас свое положение, не зная Вашего и не имея представления о тех жертвах, которые Вы могли бы совершить в дальнейшем для того, чтобы вызволить меня из тяжкой западни, в которой я нахожусь. Теперь судите сами, можете ли

Вы быть тем другом, на которого я могу безоговорочно рассчитывать ; или считайте это признание не имевшим места и забудьте меня навсегда.

Лея д'Арсе ".

Мое второе письмо :

" *10 февраля 1887.*

Мой дорогой друг,

спешу заверить вас, что я признателен Вам за Вашу откровенность... "

Я ответил ей, что я могу помочь, но что я слегка напуган масштабом ее затруднений... Эти два первых письма были достаточно приличны и хорошо написаны.

Продолжим.

" *Воскресение, 13 февраля* : — Я еду на улицу Стивенс ; Луиза говорит мне, что Лея больна и лежит в постели ; отказалась лечиться и все такое ; до завтра.

Понедельник, 14 февраля : — Час тридцать, улица Стивенс ; Лея принимает меня ; голубое платье ; я остаюсь на час ; я расспрашиваю о ее проблемах ; предлагаю принести ей десять луидоров ; она соглашается на одиннадцать часов при условии, что я уйду в час ночи, из-за ее матери.

Вечер, одиннадцать часов ; она принимает меня в столовой ; ее мать пригласила подруг, не предупредив ее ; я не могу остаться ; она убеждает меня, что она здесь ни при чем, умоляет не сердиться на нее ; в другой раз, обещает она ; она как никогда учтива ; долгие объятья ; покидаю ее по истечении десяти минут ; оставляю ей обещанные десять луидоров ; свидание в среду.

Среда, 16 февраля : — Улица Стивенс, два часа ; она собиралась уходить ; держит меня полчаса в своей комнате ; надевает шляпу и пальто ; думаем поехать завтра или послезавтра ужинать вместе.

Четверг, 17 : — Час, улица Стивенса ; я остаюсь на полтора часа ; пью с ней кофе ; уличный певец ; мы танцуем ; ее юбки в беспорядке ; она выходит, чтобы их поправить ; звонок в дверь ; она возвращается ; говорит, что это угольщик требует денег ; небольшое объяснение ; я хочу ей помочь, но ставлю условие ; свидание завтра в девять часов вечера ; говорит, что если она не может быть уверена во мне, то ничего не поделаешь.

Пятница, 18 : — Девять часов вечера ; Луиза одна ; Лея, должно быть, ужинает в городе ; вернется очень поздно ; письмо для меня ".

Вот это письмо.

“ *18 февраля.*

Я сожалею о том, что не могу быть дома сегодня вечером. Положение, в котором я нахожусь и которое Вам известно, не оставляет мне никакой независимости ; я бы осталась, если бы могла рассчитывать на то, что́ Вы мне обещали ; но мне непременно нужно выйти из этого неприятного положения сегодня же. Могу ли я рассчитывать на Вашу добрую волю, да или нет? Если, как мне кажется, Вы дали мне слово, передайте Луизе то, что Вы передали бы мне самой, и в воскресенье в час дня я отблагодарю Вас ”.

Эта непостижимая девушка избегает меня, потому что думает, что ей я ничего не дам, и хочет, чтобы я что-то дал ее горничной.

Наведем порядок в этих письмах.

“ *Пятница, 18* : — Девять часов... Лея, должно быть, ужинает в городе... письмо для меня... ”

Вот оно.

“ ...Я отказываюсь от любых денег ; мольбы Луизы ; обещания ; Луиза просит меня подумать хотя бы о ней ; у нее есть дочь, которая работает няней в Отейе, и она ждет жалования, чтобы с опозданием оплатить ее пансион ; она мне рассказывает, что Лея несчастна. Я решительно заявляю, что Лея издевается надо мной, что я не дам больше ни су, пока она не сдержит свое слово. Я ухожу, оставляя Луизе двадцать франков ”.

Здесь мой дневник прерывается ; как жаль! ведь это только начало. На другой день, в субботу? В субботу Лея решила пожаловать мне свою благосклонность ; во второй половине дня, насколько я помню, славным солнечным днем ; я дал ей двести франков, в которых она нуждалась ; кругленькая получилась сумма ради одного поцелуя ; в том-то и трудность : однажды попавшись на цепь, разом оборвать ее ; и потом начать все то же самое с другой такой же женщиной, и так до бесконечности ; было необходимо, чтобы именно эта цепь завершилась успехом ; вот и стоишь на своем ; я верно поступил. Она позаботилась о том, чтобы запереть дверь в гостиную на ключ ; у меня было только двести пять франков ; вечером я послал ей розы ; я тогда впервые побывал у Хансена-Хардуана ; у них там симпатичная продавщица, с таким выражением лица, будто она смеется надо всем на свете ; я скоро вернусь туда купить цветов ; удивительная девушка, эта флористка.

“ Дорогой друг,
непременно нужно, чтобы Вы пришли... ”
Свидание.
“ Сожалею, что завтра не смогу быть дома... ”
“ я должна пройти пробы... ”

“ приходите в понедельник в четыре часа... ”

“ несколько мгновений вместе... ”

Другое :

“ Из-за положения, в котором я нахожусь, я в очередной раз не могу быть свободной, как бы мне того ни хотелось... ”

“ множество неприятностей.... ”

“ нужно выйти из этого тупика... ”

Черт побери ; мое письмо-ультиматум :

“ *28 февраля...* ”

Да, это оно ; ужасное письмо!.. Из-за него все пропало ; как я мог его написать? увы, все мое поведение в течение месяца к тому и вело ; зачем я написал это письмо?

“ Мой дорогой друг,

я объяснил Вам, что вы можете положиться на меня, но только в несколько ограниченной мере. Если бы я располагал бóльшими ресурсами, я бы обеспечил Вас всем необходимым для ведения домашних расходов. Впрочем, простите, что Ваши ожидания меня удивляют — ожидания... довольно-таки приличного денежного пожертвования. То, что я совершил, — ничто в сравнении с тем, что хотел бы сделать ; но неужели Вы думаете, что это только шутка? Вы сами, в эти два месяца, что Вы сделали с Вашей стороны? Ваши обещания предвещали нечто большее, чем один-единственный час однажды вечером. Завтра я смогу быть у Вас только в пять часов ; будьте так любезны оставить мне записку, могу ли я вернуться вечером. В этом случае можете на меня рассчитывать. До встречи, и будьте уверены... ”

— “ Вторник, утро.

Тронута Вашими добрыми словами! Сожалею, что Вы не сможете прийти завтра в час ; буду ждать Вас до двух. Вы знаете, что мне необходимо соблюдать осторожность ; вдобавок, у меня на службе состоит персона, которую я не могу оставить. Мне нужно сто пятьдесят франков к завтрашнему вечеру, чтобы ее уволить ; как только я от нее избавлюсь, я буду более свободна в своих действиях. Сами видите, в каком я положении. Постарайтесь отправить мне эту скромную сумму завтра, и Вы увидите и оцените сами срочность этого поступка. Значит, до завтра, когда благодаря Вам так или иначе решится моя судьба ; по-прежнему Ваша ”.

— “ Вторник, два часа.

Мой дорогой друг,

получил Вашу записку по возвращении домой. Вы были недовольны тем, что я вчера написал? Когда я писал Вам, сердце мое смертельно сжималось. Но согласитесь, что Вы очень дурно поступили со мной ; не Вы ли вынудили меня иг-

рать в злодея? Уверяю Вас, что это доводит меня до отчаяния. Я полагал, что Вы меня хоть немного любите ; я понял, что эта мечта была безумием, и я сказал себе : ну что ж, поступим так же, как другие!.. Послушайте ; забудьте и простите меня. Я приду сегодня же вечером ; будьте добры, не спроваживайте меня ; я, в свою очередь, принесу то, что Вам нужно. Оставим в прошлом эти злые огорчения ; Вы видите, что я Вас обожаю... ”

Вечером, в девять часов, ее не было дома ; она получила мое письмо ; она не оставила ответа. Теперь она могла делать что угодно! Угрожать ей, сердиться, а потом просить прощения!.. Увы! и она могла бы любить меня, если бы я смог заставить меня любить!..

“ Вторник, первое марта, одиннадцать часов вечера ”.

Вот что я хотел ей сказать ; я зашел слишком далеко ; и теперь, наедине с самим собой, я хотел зафиксировать то, что сказал бы ей на другой день, если бы она меня приняла.

“ Вторник, первое марта, одиннадцать часов вечера.

Как только я окажусь в ее комнате, сжимая ее в объятьях, я скажу ей : — Вы не верите, что я люблю вас? — О, пусть все то, что я сделаю, благотворно падет на ее бедную душу!.. ”

Вечер, когда я написал это, был тем самым вечером, когда я встретил на бульваре эту девушку с большими смутными глазами, которая шагала в своем жалком рабочем костюме, обессиленная, под голыми деревьями в прохладе светлого мартовского вечера ; я прошел мимо нее ; она взглянула, усталая и слабая ; устало, ни жеста, мутным взглядом ; и я подумал о другой, такой прекрасной, такой любимой ; бедная, бедная душа, такая болезненная душа!.. Здесь жгли дрова ; снаружи — чистое небо, сухое и светлое ; ни ветерка ; глубокое, такое далекое небо ; ясный воздух, и все вещи стремятся ввысь ; здесь тихое тепло огня, одиночество и воспоминания.

“ ...Вы не верите, что я люблю Вас? — О, пусть все то, что я сделаю, благотворно падет на ее бедную душу! — Друг мой, я размышлял о том, что происходит между нами ; я безумно желал Вас ; пусть это безумие будет моим оправданием ; я принуждал Вас ; я умоляю Вас о прощении. Я мог бы остаться здесь сегодня ночью, моя дорогая... Прощайте! Вы любимы ; я возвращаю Вам ваше тело и покидаю Вас, потому что люблю. — И я возьму ее голову в свои ладони, посмотрю ей в глаза и поцелую в губы. — Прощайте ”.

Да, эти слова и никаких дурных побуждений. Так и не выдалось случая сказать их.

“ Мой дорогой друг, мне непременно нужно Вас видеть. Жду Вас сегодня вечером в десять часов. Остаюсь Вашей. Лея ”.

Что еще было тем вечером?.. Тем вечером, когда она заболела? конечно ; я провел ночь, ухаживая за ней. Как она была разбита, помята и обессилена, измучена! я долго ждал ее ; она появилась совершенно убитая ; она легла, и я остался у ее постели ; мы ставили ей на лоб компрессы ; она отпустила горничную ; я ухаживал за ней ; так я провел ночь, в кресле ; она, безмолвная и неподвижная, ослабевшая ; я, в сонной грусти и жалости. Утром она очнулась ; я раздвинул шторы ; было восемь часов ; она улыбнулась. Самый прекрасный период моей любви, да, самый дорогой. Во второй половине дня она встала на ноги ; четверть часа мы провели вместе ; а на следующий день? уже на следующий день она была так неприятно радостна, смеялась, пела, кричала.

“ Лея д’Арсе доставит себе удовольствие пойти завтра в Оперу с месье Даниэлем Принсом. Тысяча приветов ”.

Она была хороша тем вечером в Опере в своем розовом платье из сатина, в белых туфлях ; Шавен не мог не признать, что она была хороша ; Шавен, который никогда не разделяет чужое мнение. И на вечере в Одеоне ; играли трагедию ; “ Андромаху ” ; Лея хотела послушать дебютантку, не помню, кого именно ; странный каприз ; мы ужинали у Фуайо ; она заказала утку-мандаринку ; я сглупил и не оставил достаточно чаевых ; но Лея не заметила ; не важно, я был не прав ; через окно, выходящее на Люксембургский сад, мы видели, как мимо проходят студенты ; она была облачена в невозмутимое достоинство, никогда не покидающее ее на публике, и в платье из велюра, а на голове у нее красовалась шляпа, покрытая стеклярусом и украшенная красным пером. Каждый вечер я провожал ее до дома и, попрощавшись, уходил ; это было прекрасно ; раз или два она хотела оставить меня на выходе из экипажа ; но я всегда настаивал и поднимался минут на десять ; теперь это вошло в привычку ; так хорошо беседовать в ее комнате. Письмо с баронской короной от Луизы :

“ Месье,

месье Принс, вы просили сообщить, если мадемуазель окажется в затруднении. Спешу сказать вам, что мадмуазель сейчас в большой беде. Нам недостает ста сорока франков на мебель. Она все время плачет, потому что ей сказали, что, если до завтрашнего вечера сумма не будет выплачена, они заберут все, и она говорит, что если до этого дойдет, она не знает, что сделает. Я говорила с ней о Вас, но она сказала, что Вы больше ничего не можете для нее сделать. Я пообещала ей пойти сообщить Вам о ее положении, но поскольку

я знаю, что Вас трудно застать на месте, я решила написать Вам, не сказав мадемуазель ; и, если нам посчастливится и Вы придете нам на помощь, умоляю Вас ничего не говорить ей об этом письме, потому что она мне это запретила после того, что вы сказали ей в воскресение. Простите меня, месье. Остаюсь преданной Вам. Луиза ".

Записка от Леи :

" Благодарит месье Принса за очаровательный букет и просит его прийти проведать ее завтра, в понедельник, в час пополудни ".

Дальше ; письмо.

" Дорогой Даниэль, я снова решилась прибегнуть к Вашей помощи и молю Вас одолжить мне незначительную сумму в сорок или пятьдесят франков, которая мне нужна непременно к завтрашнему дню. Было бы очень мило с Вашей стороны занести деньги лично. Благодарю Вас заранее и дружески жму Вашу руку ".

Дальше ; записка.

" Лея д'Арсе тысячекратно просит прощения у своего друга Даниэля Принса ; она слишком поздно получила его письмо, чтобы прийти по его приглашению, и она назначит день, когда будет счастлива видеть его в самое ближайшее время ".

Еще.

" Лея д'Арсе была бы счастлива ужинать этим вечером с месье Принсом и будет ждать его в семь часов ".

А! целое письмо, восьмидневной давности, письмо о драгоценностях.

" Дорогой друг,

мне непременно нужно от Вас двести франков, чтобы спасти мои драгоценности или, по крайней мере, ту сумму, на которую они заложены. Если Вы будете так добры и окажете мне эту услугу, Вы доставите большое удовольствие Вашему милому другу Лее, которая не могла бы без огорчения смотреть, как распродают ее бедные драгоценности. Продажа назначена на послезавтра, то есть на вторник, и во второй половине дня они непременно пропадут, если сумма не будет доставлена в контору ; мне только что прислали уведомление. Будьте добры ко мне, и я буду еще более мила с моим единственным истинным другом, который мне так дорог. Мари придет завтра в одиннадцать часов, чтобы узнать о Вашем решении ".

Это было досадно, драгоценности были заложены только на сто двадцать франков, и оставалось еще пятнадцать дней отсрочки ; я заплатил эти сто двадцать франков ; с тех пор она ничего не просила ; уже восемь дней ; ах, она опять чего-

нибудь попросит ; не следует, однако, позволять ей слишком многое ; это становится тяжело, все эти деньги.

“ Дорогой друг, вернувшись домой, я узнала... ”

Это ее последнее письмо, позавчерашнее.

“ ...я узнала, что Вы приходили меня проведать ; но, к несчастью, меня не оказалось на месте. Чтобы застать меня наверняка, приходите завтра, в воскресенье, в час или в час тридцать, я буду у себя. До завтра, остаюсь Вашей. Лея ”.

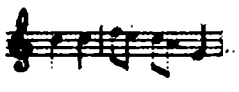
Мы действительно встретились вчера в час ; она была сама грациозность, такая улыбчивая, даже ласковая ; а я? что, черт возьми, на меня нашло? на мгновение я слишком сильно сжал ее в своих объятьях, слишком страстно ; она взглянула на меня ; я прошептал “ Лея “ с преувеличенной нежностью ; что мне мешает вести себя так, как мне хочется? Лея казалась удивленной, не обиженной, но удивленной ; немного насмешливой, возможно ; зачем тогда все эти ласки? сама виновата ; она так красива, так соблазнительна в широких светлых тканях ; из платьев ей, наоборот, больше всего идут черные ; ее черное сатиновое платье, одноцветное и облегающее, в котором округляется недоступная грудь... Но уже почти полдесятого ; пора идти. Так и не записал то, что собираюсь сказать ; ну и ладно! так вспомню ; к тому же у меня есть бумажка месячной давности. Встаю ; шляпа ; перчатки в кармане пальто. Все в порядке? письма в ящике. Перед уходом нужно перечитать эту бумажку.

“ Как только я окажусь в ее комнате... Вы не верите, что я люблю вас?.. Я безумно желал вас ; пусть это безумие будет моим оправданием... Вас о прощении... Я мог бы остаться здесь сегодня ночью... Я возвращаю вам ваше тело... Прощайте ”.

Прощайте, прощайте, вперед. Лестница будет освещена лампой ; открываю дверь ; гашу свечи ; так ; не будем торопиться ; дверь закрыта ; спускаюсь ; перчатки ; чистые, да, ничего. Черт побери, я смогу вспомнить, я обязательно вспомню то, что я должен сказать Лее ; ничего проще, ничего естественней ; она, наконец, поймет, почему я отказываюсь от своих прав на нее, и как я люблю ее, и почему не возьму ее... Мог бы остаться здесь сегодня... друг мой, я покидаю вас... Она поймет ; ничего естественней и ничего проще... Я вспомню... Вы не верите, что я люблю вас... Я безумно желал вас... All right... Я возвращаю вам ваше тело...

VI

Черная улица, двойная прозрачная струйка фонарей ; безлюдная улица ; шумная мостовая, белая под белизной луны и

ясного неба ; вдали — луна на небе ; квартал под белой луной — белый ; и с обеих сторон бесконечные здания ; немые, высокие, с большими потухшими окнами, с закрытыми железными дверьми, дома ; и в этих домах — люди? нет, тишина ; я иду один, в молчании, вдоль домов ; я шагаю ; иду ; налево улица Напль ; садовые стены ; тени листвы на серых стенах ; а там, там вдали — яркий свет, бульвар Малерб, красные и желтые огни, экипажи, экипажи и гордые кони ; неподвижно по улицам, в неподвижном спокойствии, экипажи, меж тротуаров, где мчатся толпы ; здесь — корпус нового дома, тусклые гипсовые леса ; еле видны свежеуложенные ряды камней ; я хотел бы взобраться по этим столбам, на далекую крышу ; оттуда, пожалуй, так далеко стелется город с его шумами ; мужчина спускается по улице ; рабочий ; вот он ; как одиноко, как грустно-одиноко, вдали от суеты и от жизни! и улица кончается ; улица Монсо ; снова высокие, величественные здания, и желтый свет фонарей на стенах ; что за той дверью?.. а! мужчина ; консьерж ; курит трубку, наблюдает прохожих ; никто не проходит ; только я ; толстый старый консьерж ; что ему до моего одиночества? вот и другая улица ; вдруг уменьшается, становится совсем узкой ; старые дома, известь на стенах ; дети на тротуарах, парнишки, молча сидят на асфальте ; улица Роше, и еще бульвары ; там свет, шум ; там движение ; ряды фонарей, направо, налево ; и наискосок, слева, среди деревьев — экипаж ; группа рабочих ; гудок битком набитого трамвая, две собаки позади ; освещенные окна домов ; кафе впереди, яркий свет в занавесках ; возня омнибуса совсем рядом ; молодая девушка в синем платье, румяное лицо ; толпа ; бульвар ; прочь отсюда, пойду туда ; буду среди всех этих людей ; буду там, я буду там, тот же самый, пока тот же самый, не здесь, а там, все еще я ; спереди, выше — Бют ; свет фонарей под светлым небом ; направо, вдоль стены, вдоль резервуара ; никого здесь не знаю ; они видят меня? что обо мне думают? крики играющих детей ; тяжесть колес на брусчатке ; ленивые кони ; ступени ; в толще деревьев темное небо ; монотонные шаги по асфальту ; пенье шарманки ; что-то танцевальное, вроде вальса, ритм неспешного вальса...  ... где эта шарманка? где-то позади, я слышу ее голос, крикливый и мягкий... “ ты мне милей моих индюшек ”... снова и снова... ... в нежном пейзаже рождается нежный голос нежно влюбленных, и затаенное желание в рождении этого голоса ; и другой голос отвечает, такой же, чуть выше, растущий, нежный и выдержанный, растущий вместе с желанием ; и голос снова растет ; желание растет ; и снова наивный пейзаж, и в этих наивных сердцах

монотонно, попеременно, мягко растет тревога ; простая мягкая растущая песенка и простой ритм ; в прохладной листве, под сурдинку случайных звуков, тонкий голос, растущая, крикливая, мягкая песенка, монотонная молитва, твердый ритм медленных танцев ; и возникает любовь... В чистых полях, как они ни милы мне, поля, но ты мне милее, милая ; вот они, прекрасные бледные поля и свободно бредущее стадо ; ты мне милее ; стада хороши, в прохладной листве, они блеют, стада и стаи дорогих сердцу животных ; ты мне милее ; они дороги мне, волшебные поля ; но ты мне милее, мой друг, и твои светлые глаза ; тянутся лучи света, стволы деревьев ; ты мне милее, когда ты поешь ; реки текут с тенями, вечернее небо, далекий шум ; и еще дальше — плачущий голос, простой голос, исчезающий ритм ; церковная песенка затихает ; и все-таки песни, и все еще песни, и ты мне милее ; прохладные ночные пейзажи ; чинно выстроенные деревья, шаги прохожих ; движение вокруг ; слова, бесчисленные оттенки, теплый воздух, прохладней ; в покрытые лесами горы я уйду, к лугам, под ели ; то будет бесценный жар любовных ночей ; все мы там будем ; о, чудное время, вдали от Парижа, недели и недели! но когда же?... Шум становится громче ; площадь Клиши ; скорее ; бесконечно длинные грустные стены ; плотная тень на асфальте ; теперь девушки, три девушки судачат о чем-то ; не замечают меня ; одна совсем молодая, хрупкая, наглые глаза, а какие губы! в голой комнате, смутной, высокой, голой и серой, в дневном мареве свечей, в дремотном копошении бурлящих улиц ; да, высокая тесная комната, убогое ложе, стул, стол, серые стены, животное на коленях посреди кровати, роскошные губы, вверх, вниз, и существо стонет и прерывисто дышит... Вот она, эта девушка ; болтает ; все три, на тротуаре, не замечая прохожих ; а у меня завтра лекция, занудные курсы, а через три месяца экзамен ; меня примут ; и тогда прощай вольные деньки, здравствуй бремя работы ; ладно ; теперь повсюду девушки ; кафе ; входят молодые люди ; месье напоминает моего портного ; вдруг встречу знакомого ; одному быть, конечно, лучше, свободно бродить славным вечером, просто так, по улицам ; тень листвы волной расстилается по асфальту ; порыв свежего ветра ; блеск сухих, белых тротуаров ; компания девушек, вон там, стройных, высоких, тонких и соблазнительных ; а там — дети ; сверкают фасады ; луна испарилась ; шелест вокруг ; что? смутные звуки, рваные, дружные, шелест... браво, апрель! о, прекрасный, прекрасный вечер, такой свободный, без единой мысли, такой одинокий.

VII

Но вот я и на месте, улица Стивенс, дом Леи ; вестибюль, лестница ; винтовая лестница ; третий этаж ; здесь? да, здесь ; нужно позвонить ; ботинки чистые, галстук на месте, усы в порядке ; столько нужно ей сказать, столько всего ; она, конечно, только вернулась ; будет в своем черном платье из кашемира ; какого черта я не звоню ; еще увидит меня ; звоню ; шаги внутри ; дверь открывается ; Мари.

— Мадемуазель д'Арсе дома?

— Да, месье, проходите.

Я вхожу.

— Я сообщу мадмуазель, что вы здесь.

Она мила, эта Мари. Ах, эта гостиная, эта прелестная маленькая гостиная моей дорогой Леи ; сяду, пожалуй, в кресло, к окну ; как славно расставлены цветы! а вот и букет сирени, который я посылал ; зеркало ; выгляжу я вроде ничего ; презентабельно ; честное слово, неплохо ; Лея любит мужчин с короткими волосами, как у меня, и любит брюнетов... Лея...

— Добрый вечер, — звучит ее тонкий голос.

И ее искусно-женственная улыбка, ее насмешливый мягкий взгляд, улыбка феи ; добрый вечер, тонкий прелестный голос ; и ее волосы скользят по лбу ; это она, милая Лея ; нет, не стоит целовать ей руку ; неловко получится ; просто поздороваюсь.

— Как вы, друг мой?

— Замечательно.

На ней черное сатиновое платье. Мы садимся на диван, она слева ; она откидывается на подушки, смотрит на меня ; она великолепна сегодня.

— Ну так что же вы мне расскажете? — спрашивает она.

Мне нечего ей рассказать ; хотя нет ; почему она написала не приходить в театр?

— Жаль, что не удалось зайти за вами в театр.

— Не было возможности ; мне нужно было переговорить с директором после спектакля, а его иногда приходится ждать целый вечер ; он не стесняется приходить в девять, в десять.

Не имеет смысла настаивать ; и так ясно, что она выдумывает на ходу.

— И долго вам пришлось ждать сегодня?

— Прилично ; я вернулась только десять минут назад ; со сцены я пошла прямиком в дирекцию ; там была Фанни Бланш ; она хотела увидеться с директором, еще не переодевшись ; вы знаете, что она выходит только во втором акте ; мы чуть не умерли от скуки в этой дыре! места там ровно на два

стула, но Бланш занимала все пространство ; она до ужаса жирная.

— Я не понимаю, почему ей все еще дают играть травести ; она уже немолода.

— Но и не стара ; сколько ей, по-вашему, лет?

— Ну...

— Не такая уж она и старая ; не знаю ; сколько ей? сорок?

Какая она забавная, Лея, в свои двадцать лет, эта детская серьезность маленькой кокетки!

— Пойдемте прогуляться? — спрашиваю я.

— О, я так устала! не могу больше ; хочу спать.

— Что с вами такое?

— Я устала.

— Вам надоело ждать в театре.

— О нет, дело не в этом.

— Вам пришлось сидеть на этом стуле, а вы так любите двигаться ; вы и секунды не можете усидеть спокойно.

— Ладно ; смейтесь надо мной ; хотя вот уже четверть часа как я не двигалась с места.

Я поддразниваю ее.

— Сидя или стоя, вы одинаково прекрасны.

— Как мило!..

Она совершенно не ценит моего остроумия ; шутить с женщинами невозможно, и что прикажете делать? Она встает ; медленно направляется к окну ; ее хрупкое пухленькое тело колышется ; светлые пряди волос на шее ; раздвигает занавески ; выглядывает наружу. Какой мягкий диван! И со всех сторон бледноватый блеск белых стен и зеркал.

— Хорошо сегодня на улице, — говорит она. — Может, прогулка и пошла бы мне на пользу...

— Что ж, согласны?

А теперь она согласится ; не стоит радоваться заранее ; она садится на край пианино ; мы молчим. Этим вечером, в ресторане, странный мужчина, вроде адвоката. Лея листает ноты, положив одну руку на пианино ; нужно что-нибудь сказать ; а то она заскучает, она так боится сидеть с закрытым ртом ; обязательно нужно что-нибудь сказать. Наши взгляды пересеклись ; так дальше нельзя ; смех один. Ах, эти истории с ее чудовищной мамашей...

— У вас хоть немного наладилось с вашей матерью?

— Ни капли.

Кажется, она не хочет об этом говорить ; зря я начал ; о чем же тогда?

— Не может у нас с ней ничего наладиться ; она хочет, чтобы я потакала всем ее капризам ; сами понимаете, так жить невозможно.

— Почему же вы так живете?

— Потому что у меня нет выбора.

— Как так? Если ваша мать вас раздражает, скажите ей...

— Еще чего! Она такой шум поднимет.

— В конце концов, вы у себя дома.

— Вот и нет, я не у себя дома ; в этом вся беда ; комнаты наняты на ее имя ; мебель, все принадлежит ей... А плачу за все я.

Она опирается на пианино. Я догадывался, что комнаты принадлежат матери ; что же тут поделаешь? Ничего. Она небрежно шагает к дивану ; садится ; ее платье расстилается вокруг ; печальная головка опускается на подушки ; она закидывает руки за голову.

— Ах, что за жизнь, что за жизнь! Порой даже думаю все бросить.

— Что вы такое говорите, друг мой?

— Я бы с большим удовольствием кормила индюшек в Бретани. Знал бы мой отец, что я играю в театре!

— Вы хотите уехать в Бретань кормить индюшек?

— Не пришлось бы больше себя мучить ; снова прижилась бы в семье отца ; вы не представляете, как я живу.

Я подхожу к ней ; сажусь рядом ; беру ее за руку.

— Моя бедная девочка, не говорите так ; что за мысли ; вы же знаете, что я по-настоящему люблю вас ; почему вы не хотите, чтобы я вас увез, чтобы мы были вместе ; скажите.

— Ну, ну, — грустно и ласково отвечает она, — вы с ума сошли?

— Почему это, друг мой?

Я смотрю ей в глаза ; она оперлась на подушки ; свет свечей падает на наши лица ; она ласково, грустно лежит, бледная ; я смотрю на нее ; я держу ее руки. Улыбаясь, она говорит :

— Поразительно, какие у вас длинные ресницы.

Продолжая улыбаться, она смотрит на меня.

— Бедная вы моя девочка.

Она закрывает глаза.

— Ах, как бы я хотела избавиться от всего этого! если бы только был способ покончить со всем раз и навсегда, без страданий, что-нибудь такое мгновенное ; заснуть навечно, раз уж счастье возможно только во сне.

Что ей сказать? Ни смеяться нельзя, ни принять всерьез ; какое неловкое положение. Полулежа в неподвижности, она погружается в легкую дремоту.

— Ну что ж, мадемуазель, баю-бай.

Я сжимаю ее руки в своих ладонях ; ее глаза все еще закрыты ; я медленно приближаю к себе ее руки ; она не сопротивляется ; она откидывает голову ; ах, эта злая предательская

головка, которая так бессовестно играет мною ; я медленно оседаю на подушки ; привлекаю ее за талию ; прижимаю ее к себе ; ее грудь прижата к моей груди ; ее голова на моем плече ; я обвиваю руками ее талию ; она рядом со мной ; в моих объятьях ; что-то на моей щеке, на шее, да, это скользят ее волосы ; она неподвижна ; ее тело вдоль моего тела ; я чувствую ее ; я мягко сжимаю ее мягкие, нежные бедра и талию.

– Баю-бай, мадемуазель.

И низким голосом, с закрытыми глазами, после легкого вздоха она отвечает :

– Да.

Бедная, милая, нежная, она отдается в мои объятья ; отдает в них свое драгоценное тело ; лежит в своем платье, откуда вздымается ее хрупкая головка ; и вот ее талия, грудь, руки, хрупкие ладони ; эта шея, и на белой шее тонкие, золотистые, разбросанные волосы ; тонкая талия, широкие бедра, затянутые в сатин ; милый кончик ее ступни ; медленно вздымается корсаж от долгих размеренных вздохов ; вздрагивают пуговицы корсажа ; черные кружева слегка волнуются на шее ; сверкающий отсвет свечей дрожит на левой груди ; и женская жизнь течет и течет в беспрерывном движении грудей ; неподвижное тело ходит едва различимыми волнами ; округлые руки, движение тела, и шея, тонкая талия, высокие бедра округляются в неясных контурах, высшая грация нежно расслабленной плоти, текучие, смутные формы ; но юное личико неподвижно, полуоткрытые губы испускают вздох... На камине горят свечи ; вздымается пламя, белое, бледнеющее, синеватое, еще светлее ; вокруг – смутная тень смуглой листвы, неясная волна разукрашенного фарфора, а сзади – светлая волна зеркал и мирных отражений. Чудесный бал, на котором я был этой зимой, зал, полный цветов и листьев, и приглушенный свет, когда проходили две девушки, белоснежные англичанки! здесь – теплая бесчисленность вещей и моя милая ; все жарче и жарче ее неподвижное тело ; по моему телу, которого она касается, разливается жар ; почему, если она так несчастна, она не хочет ничего изменить? как нежен и приятен этот жар, какой аромат поднимается от ее тела! что это за запах? Тонкая, острая смесь запахов ; она сама смешала духи ; и этот аромат исходит от ее тела, от одежды ; исходит от ее собранных волос ; от ее губ ; она спит, бедняжка, в моих дружеских объятьях ; опьяняет меня своими духами ; этот смешанный, тонкий, интимный запах, которым она умастила свое тело, он мешается с запахом ее тела, и этот телесный запах, я узнаю его в густоте смежных цветочных ароматов ; да, ее женственность ; глу-

бокая загадка женского пола в любви ; роскошно, ах, демонически! когда под мужским господством телесные силы освобождаются в поцелуе и поднимается острый и ужасный, и тускнеющий восторг... Ах, отведать этой радости!.. Она шевелит головой, поворачивается ; может, я сжал ее слишком сильно?.. Говорит мне в полусне :

— Что такое? ах, как я устала... который час?

— Еще не поздно, спите.

И вот она снова неподвижна, так утонченно красива, так молодо кокетлива ; ах, как печально ее существование ; сколько нужно любви тому, кто ее любит, чтобы смягчить эту горечь ; бедняжка, которая в двадцать лет переживает такое... вместе же, напротив, спать вот так, в забытьи... вдвоем, вместе ; она убеждена в моей верности, я — в ее очаровании ; и сквозь все, что есть, сообща, вдвоем, радостно... так мы пойдем этим вечером, выйдем в тенистый сад, в отголоски далекой музыки... " ты любишь меня " ... " и ты меня "...да, не будем больше говорить " я люблю ", но лучше " ты любишь ", " ты любишь ", и будем целовать друг друга... она спит ; я тоже засыпаю ; закрываю глаза... вот ее тело ; грудь вздымается ; и нежный, смутный аромат... дивная апрельская ночь... скоро пойдем на прогулку... свежий воздух... мы уйдем... скоро... две свечи... вон они... по бульварам... " ты мне милей моих овечек "... ты мне милей... эта хрупкая девочка, бесстыдные глаза, красные губы... спальня, высокий камин... комната... отец... все трое за столом, отец, мать... я... почему мать бледна? смотрит на меня... мы будем ужинать, да, в роще... горничная... принесите стол... Лея... накрывает на стол... отец... консьерж... письмо... от нее?... спасибо... волна, гул, небесный восход... и вы, навсегда единственная, первая любовь, Антония... все сверкает... вы смеетесь?.. фонари, бесконечный ряд... ох... ночь... холодная, ледяная ночь... А-а!!! черт подери!!! что? меня толкают, срывают, убивают... Ничего... ничто... спальня... Лея... Сапристи... я заснул?

— Поздравляю, друг мой... — это Лея. — Ну что ж, как вам спалось?.. — это Лея, она стоит и смеется... — Теперь вам лучше?

— А вам, моя дорогая?

Она отворачивается, смеясь ; я тоже смеюсь ; она идет в прихожую... Она, очевидно, только что проснулась, увидела, что я сплю, и высвободилась из моих объятий... Ну разве не шут гороховый? что делать? что она теперь думает? Я встаю и сажусь на табурет у пианино ; она смотрится в зеркало напротив.

— Значит, вы вчера не ложились? — весело спрашивает она.

— Кажется, ложился, мадемуазель, и спал вроде бы достаточно. Это ваше очарование меня одурманило...

— Мы пойдем гулять, не так ли? на улице так хорошо ; покатаемся часик по Елисейским Полям ; хорошо?

— С радостью.

— И надеюсь, вы не уснете.

— Нет ; вы расскажете мне что-нибудь.

— Отлично ; буду вас развлекать ; только задайте программу.

— Не будьте злюкой.

Бог свидетель, иногда приходится умолять ее разговаривать.

— Пойду надену шляпу.

Она приближается ; улыбается, видны ее белые зубы ; ее глаза блестят, чуть влажные ; ее розовые губы приоткрыты ; розовые губы с белым треугольником зубов ; ох, этот ваш очаровательный меланхоличный вид, мадемуазель! Белые и розоватые ямочки ваших щек ; ваш грациозно склоненный, меланхоличный лоб ; и еще ваши большие глаза, которые смотрят на меня.

— Моя милая, как бы я хотел, чтобы вы были счастливы!

Я притягиваю ее за руки, кладу ее голову, ее волосы себе на плечо ; обвиваю руками ее талию ; незаметно целую ее волосы ; незаметно ; какое счастье! она мягка, моя любимая, она красива и она нежна ; она хороша, моя любовь, и так чудесно любить ее!.. Она понимает голову ; она разглядывает меня внимательно и с удивлением ; поднимает руку ; делает знак молчать ; что? она прислушивается ; тихо спрашивает :

— Что с вами такое?

— Что именно?

— Вам плохо?

— Да нет же...

— У вас сердцебиение?

Она кладет руку мне на грудь слева и слушает ; действительно мое сердце бьется сильнее обычного.

— Вы уверены? — спрашивает она снова.

— Нет ; это ничего ; уверяю вас ; это вы у меня там ; ну и...

— Вы дитя... — нежно говорит она.

Она говорит это так нежно, “ вы дитя ” ; она говорит это таким спокойным голосом, таким правдивым ; ее улыбчивые глаза становятся серьезными, пока она говорит мне “ вы дитя ” ; и это исходит из сердца такой глубины, такой женственности и глубины, она говорит мне, что я дитя, и отдаляется, отдаляется, красивая и чарующая.

— Подождите меня немного, мой друг.

Она подходит к двери ; я отвечаю “ хорошо ” ; она открывает дверь.

— Надену шляпу и вернусь.

Дверь остается полуоткрыта ; я сажусь ; я жду ; я занимаю себя ожиданием, ожиданием ее.

— Я скажу Мари найти нам экипаж... Мари!

— Если хотите, я могу это сделать сам.

— Не надо ; пусть Мари.

В комнате она разговаривает с Мари ; о чем они говорят? я не слышу ; я ничего не делаю ; мне нечего делать ; завтра встреча с Риваром, в одиннадцать ; в кафе на бульваре, конечно ; когда ложишься поздно, порой сложно быть на месте в одиннадцать или десять тридцать ; лучший способ встать вовремя — не ложиться спать у себя ; здесь, например ; поскольку, в конце концов, что я здесь делаю?

— А вот и я.

Лея, у двери, на ней красная шляпка из велюра ; ступает величественно, шутливо ; я подыгрываю, наклоняюсь ; она отвечает реверансом ; шум экипажа снаружи.

— Экипаж, — говорит она. — Идемте.

— Лея, вы ничего не забыли?

— Нет ; вот мое пальто.

— Давайте сюда... Спасибо.

— Идемте.

Мы выходим ; у меня в руке подбитое мехом пальто, мягкое, теплое.

— А перчатки? На вас только одна.

— А! забыла ; она на пианино ; возьмите, будьте добры.

Говорил же я ей, что она обязательно что-нибудь забудет.

— Ну вот.

Входит Мари.

— Экипаж внизу, мадемуазель.

— Я вернусь через час, разведите огонь в спальне.

— До свидания, Мари.

Нужно старательно прощаться с Мари ; Лея спускается ; черный сатин ее платья в складках ; она спускается ; я иду следом ; ее плечи чуть движутся назад при каждом шаге ; красное перо на шляпе ходит вверх, вниз, вверх, вниз ; спускаясь, она следит за осанкой ; она медленно застегивает пуговицы на длинной черной перчатке левой руки ; она спускается ровным шагом, стройная, ступень за ступенью ; улица, бледное и красноватое освещение ; и экипаж, который застит свет своей черной массой.

— Вы не боитесь, — спрашиваю я, — что в открытом экипаже будет холодно?

— Нет ; погода славная.

— После вас...

Она садится ; я сажусь.

— Осторожно, не сядьте на мое платье. Я долго вам этого не прощу.

— Поедем со стороны Триумфальной арки?

— Да.

— Кучер, по бульвару до Триумфальной арки.

Я сажусь ; экипаж двигается с места ; Лея принимает серьезный вид пансионерки “ Комеди Франсез ”.

VIII

Экипаж виляет по улицам...

...Один в бесчисленном множестве жизней, только так отныне я держу свой курс, окончательно один среди других ; такими во мне создаются сегодня, здесь, час, жизнь ; душа, летящая к мечтам об объятьях, вот что это такое ; это мечта о женщине, мое сегодня ; это прикосновение к женской плоти, мое здесь ; я приближаюсь к женщине, это мой час ; вот куда движется моя жизнь, эта девушка этим вечером... И гудят улицы, бульвар, сдавленный шум, экипаж виляет, тряска, колеса по мостовой, светлый вечер, мы сидим в экипаже, проносится шум и тряска, вещи пролетают мимо, чудесная ночь...

— Не правда ли, — говорит Лея, — эта ночь поистине поэтична и чудесна?

Выходя из дома, она сказала своей горничной, что вернется через час и хочет, чтобы был разожжен камин ; я покатаюсь с ней, и мы поднимемся вместе ; на бульваре все больше зелени ; я поднимусь с ней вместе, останусь на пятнадцать минут и уйду, потому что так надо ; как она хороша, когда сидит, чуть откинувшись на спинку сиденья! Ее лицо то освещается, то погружается в темноту, раз за разом в дрожащей тени и в свете огней, пока экипаж продолжает движение ; вокруг фонарей так много света, затем, чуть дальше, он пропадает ; и снова ; с правой стороны света больше ; о, ее милое белое лицо, матово-белое, цвета слоновой кости, белое как снег в тени, в темноте вокруг, и раз за разом белее, светлее на свету, и тускнеет в тени, и появляется снова ; экипаж тем временем мчит по деревянной мостовой ; в складках платья я нежно касаюсь ее пальцев ; она слегка их отдергивает ; я говорю :

— Ваше лицо так гармонично в этой игре тени и света...

— Неужели? Вам так кажется? — отвечает она насмешливым, грубым тоном, в котором сквозит усталость ; зачем она так?

— Да, Лея, — нежно отвечаю я. — Вам неприятно, когда я это говорю?

— Нет, почему же, я люблю комплименты.

Надо попрекнуть ее этим словом.

— Ах, Лея! Комплименты!

Мы замолкаем ; проходят люди ; кучер вяло машет кнутом, который зигзагом рассекает воздух ; я отпускаю пальцы Леи ; она любит вести себя некрасиво, когда мы выходим вместе ; очевидно, боится показаться вульгарной ; в такие моменты с ней невозможно разговаривать, кроме как посредством всяких учтивостей ; стена резервуара ; только что я проходил здесь один ; теперь я с Леей ; она становится угрюмой ; но что ей ни скажешь, она только сердится. Черной массой, пересеченной двумя огнями, приближается трамвай.

— Вы идете в субботу на праздник Прессы? — спрашивает Лея.

— Праздник в отеле Континенталь?

— Да.

— Не знаю ; может быть ; а вы?

— Меня туда пригласили быть продавщицей.

— Вот как!

— Люси Арель организует лавочку ; вроде магазина новинок ; будут продавать все подряд.

— Я слышал об этом ; было бы славно. И вы будете за прилавком?

— Да.

— Тогда я приду.

Меньше чем сотней франков тут не отделаешься. Надо найти предлог остаться дома. Лея мне этого не простит ; а что, если предлога все-таки будет достаточно? сказать, что болен, нельзя ; нужно сослаться на что-нибудь серьезное ; ужасная скука, эти вечера! разве что взять с собой Шавена.

— Вы будете в костюме?

— Да, в костюме субретки.

— Браво.

— Я отдам в переделку мой костюм из ревю ; заменю плиссе на корсаже, которое в любом случае никуда не годилось...

Да, ее костюм субретки, розовый сатин, кружевной фартук, короткая юбка...

— Я сделаю пояс из того же сатина и пришью ленты к рукавам ; будет совсем другой костюм ; еще попробую достать новый фартук, который очень подойдет, вот увидите.

— Другой фартук?

— Со старого я сняла кружева ; они никуда не годились ; вам не кажется, что будет хорошо смотреться валансьенское кружево?

— Я в этом уверен.

Она улыбается своим мыслям ; не думает ли она, случаем, попросить у меня...

— И кроме того, — улыбается она, — это не будет дорого стоить ; валансьенское кружево можно купить по пятнадцать франков за метр, трех метров хватит с лихвой.

Понятно ; придется платить за кружева ; но на праздник не поеду.

— Хорошая идея, Лея ; если вам нужно только немного кружев и если я могу быть вам полезен, то прошу вас...

— Благодарю ; я была бы рада.

Еще четыре или пять луидоров ; эти пятнадцать франков за метр превратятся как минимум в двадцать или тридцать ; но черт меня возьми, если я приду туда в субботу ; надо поговорить о чем-нибудь другом ; и не показывать, что мне досадно.

— Ваш костюм из ревю был очень мил ; он обязательно произведет впечатление.

— Не правда ли?

— Кроме того, на этих праздниках всегда полно народу.

— Да.

— Вы уже знаете, что будет много народу?

— Нет, понятия не имею.

— А!

— Откуда мне знать?

— Вам могли бы сказать... Кроме лавочки Люси Арель, других не будет?

— Это будет очень большая лавка.

— Забавная идея, установить магазин новинок ; у вас точно будет успех...

Ничего не отвечает ; снова этот ее равнодушный вид ; что ей сказать?

— Такого, по-моему, еще не бывало.

Она молчит ; даже глаза прикрыла.

— Вы будете очаровательны в этом костюме ; только цены заламывать особенно не стоит. Что вы вообще там будете продавать? Слишком любезной быть тоже не стоит, вы же знаете, что я буду ревновать.

Она насмешливо улыбается, еле заметно. Как пошлы эти мои шутки. Может быть, вернуться?

— Становится холодно, — говорит Лея.

Делает вид, что не слышала то, что я сказал.

— Вам холодно, Лея! Не хотите ли вернуться?

— Нет, пока нет.

Черные деревья, решетки, синие отсветы ; парк Монсо ; за решеткой, под деревьями — аллеи ; хорошо бы прогуляться ; предложить ей?

— Лея, не хотите ли пройтись пешком? если вам холодно...

— Нет ; мне не холодно ; останемся здесь.

Ну и ладно ; она явно не хочет ни говорить ничего, ни делать ; вечер прохладный ; еще простудится.

— Лея, пожалуйста, накиньте ваше пальто.

Она приподнимается ; протягивает руку ; накидываю ей пальто ; у нее покорный вид, будто я ее заставляю. Ну разве так не лучше? и до чего красива в мехах! Ее шея укутана в мех ; из мехов выглядывают руки в черных перчатках ; если бы она хотела быть милой, как она могла быть мила! она очаровательна, неподвижна, будто затеряна в тканях, ее белое лицо будто возникает из бархата, шелков и меха ; если бы Дерье видели ее! забавно было бы, если бы какой-нибудь приятель прошел мимо ; лучше не придумаешь, как если бы Дерье увидели меня с ней ; они настоящие модники, но что за наваждение — эти туфли с квадратными носами? и де Ривар, если бы он меня встретил, вот бы удивился! Завтра утром, наливая себе хорошего вина, он бы подтрунивал надо мной ; он бы завидовал, а значит, уважал ; надо как-нибудь позвать его на ужин ; поедем в Цирк ; нет, повезу его в Нувоте ; будет возможность к слову упомянуть мою историю с Леей. Надо все-таки поговорить с Леей ; когда она так молчит, я не знаю, что ей сказать ; одна и та же тема сегодня ей интересна, а завтра скучна ; она капризней некуда ; о чем с ней говорить? о ее театре? скука немыслимая ; но хоть что-то.

— Скоро ли начнутся ваши репетиции?

— Не думаю.

— Почему же?

— Спектакль все еще собирает достаточно денег.

— Вы уже знаете что-нибудь о новой пьесе?

— Нет.

— Вы, кажется, появляетесь только в третьем акте?

— Мне намного больше нравится выходить только в одном акте.

— Неужели?

— Я не понимаю тех, кто хочет появляться в каждом акте, не имея главной роли. В прошлом году Мануэле очень удались куплеты в последнем акте ; а Дарвийи, например, намного талантливей и симпатичней Мануэлы ; поскольку, в конечном счете, в ней нет ничего выдающегося, в Мануэле ; доказательством тому ее игра весь этот год ; правда, пьеса такая глупая! Так вот, хоть Дарвийи на сцене чуть не полпьесы, все равно она совершенно незаметна.

— Она сама виновата ; не сказать, чтобы она особо блистала.

— Она очень хорошо играет, у нее очень красивый голос, и она намного лучше всех этих мелких фигуранток ; они просто смешны, в конце концов, эти девицы ; вы все говорите об артистах, о пении, об искусстве, а когда перед вами играет настоящий актер, вы того даже не замечаете.

Нужно остановить ее каким-нибудь комплиментом.

— Но, друг мой, мне кажется, что ежевечерние аплодисменты в ваш адрес говорят об обратном.

Она замолкает ; она не обижена ; такие комплименты трогают чувствительную струну и всегда достигают цели.

— Смотрите, — указывает Лея, — вон та женщина в светлом платье, на другой стороне улицы ; как можно выходить в этом в такую погоду!

С другой стороны бульвара — изящно одетая женщина в светлом платье.

— И правда, забавно ; хотя платье очень даже ничего.

— Но в такую погоду!

Она удивленно смотрит на меня с полуулыбкой.

— Да, это действительно не очень принято.

— Вот именно.

Она не понимает, моя бедная Лея, что я смеюсь над ней и что она смешна ; порой на нее находит это необоснованное удивление и негодование ; она все еще не опомнилась от этой истории с Жаком.

— Сегодня на улицах почти никого, — говорит она.

— Хотя такой прекрасный вечер!

— Да, но немного прохладный.

— Уверен, что вам холодно ; почему вы не хотите вернуться?

— Да нет же, мне не холодно.

Она упрямится ; ей холодно ; не хочет этого признать ; до чего непонятны женщины! становится все холоднее ; в деревьях гуляет сильный ветер ; а вот и площадь Терн ; мы в жизни не доедем до Елисейских Полей ; на бульваре никого ; улицы до ужаса грустны ; если мы поедем до Елисейских Полей, то не вернемся раньше полуночи или часа.

— Холодно, — говорит Лея. — Вернемся, если хотите.

Ну наконец!

— Кучер, назад ; улица Стивенс ; четырнадцать.

Кучер останавливается ; экипаж делает поворот ; лошадь напрягается под натянутыми вожжами ; едем ; снова рысью ; лошадиная рысь и тряска экипажа ; и монотонное движение ; звонкий щелчок хлыста ; с нами равняется другой экипаж ; обгоняет нас ; почему мы едем так медленно? два глубоких старика на тротуаре ; шум колес ; легкое покачивание ; снова

парк Монсо, ротонда ; приедем через четверть часа ; что скажет Лея? я поднимусь с ней ; нужно подняться с ней ; мы войдем в комнату ; пустит ли она меня? в прошлый раз она хотела, чтобы я немедленно ушел ; да, но обычно я жду до тех пор, пока она не начнет переодеваться ; когда мы подъедем к двери, нужно будет из вежливости спросить, могу ли я ее проводить ; она выйдет первой ; она справа, значит, она будет со стороны тротуара ; по крайней мере, она должна разрешить мне проводить ее в комнату ; а что она скажет потом? позволит, наконец, остаться? нет, не может такого быть ; да я и не хочу ; четверть часа в комнате, пока она снимет пальто и шляпу ; так лучше всего ; но вдруг захочет, чтобы я остался! она думает, наверное, что рано или поздно ей придется это сделать, хоть раз ; сегодня она вроде бы освободила себе вечер ; если бы сегодня! если бы не сегодня! надо в конце концов, чтобы она приняла решение ; не воображает же она, что я собираюсь вечно довольствоваться платоническими шалостями ; я не заявлял о таком намерении ; пусть не думает, что может заставить меня терпеть все, не получая ничего ; ох, сколько проблем! приближается длинная цепь фонарей ; другие экипажи ; бульвар Малерб ; мы все ближе ; с чего бы ей согласиться сегодня, если не согласилась вчера? уже столько времени ей удается мило сроваживать меня ; но я ничего и не просил ; я не делал вид, что чего-то прошу ; так что же, ей надо было просить самой? вот было бы прекрасно, если бы она, она сама однажды захотела! Вот она, рядом со мной, неподвижная ; увы! как далека эта надежда! неподвижна, равнодушна и обычна, вот она ; вяло смотрит перед собой ; прячет руки в пальто : эти ее открытые глаза без всякого выражения ; мы без устали едем сквозь тихую ночь ; высокие и полусумрачные дома с яркими красными окнами ; слева деревья ; размеренная рысь по мостовой ; бело-серая лошадь мерно перебирает ногами ; здесь — она, молчаливая и неподвижная, явно грезит, она, безразличная, обычная, неподвижная, неподвижная и не любящая ; о, когда же наступит тот день, когда же она отдастся, если вот он, белый женский силуэт, совершенно лишенный любви! но разве не родится в глубине этой кроткой, неведомой души хотя бы простой дружбы? Моя неизменная преданность не могла же не тронуть ее совершенно ; любовь проникает в любимое сердце ; желание зовет и влечет ; это магнит, любовь ; почему не родиться чувству в глубине ее существа, почему не вырасти, не стать любовью? Сегодня, если ее губы так же молчаливы, как глаза, то это потому, что дружба прорастает вдали от губ и глаз, в глубине ее сердца ; убаюкаем же

себя моим желанием, моей химерой ; однажды она меня полюбит, дитя, сидящее здесь телом к телу со мной ; такое хрупкое, беззаботное дитя возле меня, прохладной ночью, отдается своей грезе о безмыслии, под небом, усеянным звездами. По туманным дорогам, по дорогам без горизонта, в покачивании сонной езды и под низким и гармоничным стуком колес, все дальше по улицам едет счастливый экипаж, где мы вдвоем... я с любовью говорю Лее, только чтобы прервать вечернюю тишь, я говорю :

— Друг мой, о чем вы задумались?

Она обращает ко мне блеклый взгляд, будто лишенный мысли ; она молчит ; экипаж подпрыгивает на мостовой ; Лея молча смотрит перед собой ; она не задумалась, она не думает ; о чем вы задумались? ни о чем ; о чем вы задумались? я не знаю ; о чем вы задумались? я не могу ; о чем вы задумались? ни о чем, я не могу, я не знаю, я не задумываюсь и не думаю ; увы! увы! я не стану предметом твоих дум, и вечно ты будешь без движения и без любви ; она вяло смотрит перед собой ; светлое небо, уже не такое светлое, все еще мерцает ; экипаж блуждает между рядами деревьев ; вздымается сутулый серый силуэт старого кучера ; раздается голос Леи :

— Лишь бы Мари не забыла про огонь!

— Вам холодно, Лея.

— Немножко.

— Прижмитесь ко мне.

Она легонько прижимается ко мне, улыбается, склонив голову.

— Ну вот, — говорю я, — так вы согреетесь.

— Да, с одного боку.

— Так прижмитесь сильнее.

— Да успокойтесь же вы!

Она слабо ворчит на меня ; мы на виду ; нужно держать себя ; да, на нас смотрят ; кто этот элегантный господин, который идет навстречу и разглядывает нас? что это он на нас уставился? прошел ; тоска какая ; проходит мимо экипажа ; посмотрим, не обернется ли ; нет, не обернулся ; чего он хотел? Лея его видела? вроде бы нет ; этот господин знает Лею ; наверняка ревнует ; этот малый завидует мне ; еще бы, не каждый ездит на полуночные прогулки с Леей д'Арсе ; далеко он отошел? нет, вон он ; а, оборачивается, оборачивается! еще чего, дружок, мечтать не вредно.

— Вот и площадь Бланш, Лея ; скоро будем у вас.

Щелчок хлыста ; экипаж едет по мостовой.

— Смотрите-ка, Лея ; этот дом, похоже, сносят.

— Что это за здание? Кафе?

Но мы все ближе... я сказал “ у вас ” ; у нее ; значит, решающий момент?.. глупо так волноваться, так внезапно и без причины ; со мной рядом самая красивая девушка ; я только что ездил с ней на прогулку ; я поднимусь к ней домой ; что мне еще надо? Этот господин, должно быть, рассердился до чертиков ; я самый везучий из мужчин... Ах, смертельная, смертельная тоска! я схожу с ума ; разве я не счастлив, не должен быть?.. Уже площадь Пигаль ; и этот кучер гонит во всю прыть ; пассаж Стивенс ; еще минута — и дверь ; Боже, Боже, что она скажет? что она сделает? что я сделаю! кучер тормозит, поворачивает ; она опять спровадит меня ; ах, ее дом, ее комната... экипаж останавливается ; Лея встает, выходит ; эта тревога невыносима ; мой бедный друг, захочет ли она наконец? Лея! Она спустилась... что?..

— Вы что же, не собираетесь платить кучеру?

В самом деле, я не плачу кучеру ; извиняюсь ; два франка пятьдесят ; вот... Лея звонит в дверь... я пропал ; о, умоляю вас!..

— Вы разрешите мне вас проводить?

— Если хотите.

Черт подери! наконец-то... экипаж уезжает... черт возьми, вперед... сколько времени? еще нет полуночи ; у нас есть время ; когда я возвращаюсь поздно, консьерж заставляет меня по полчаса ждать у дверей ; невыносимо.

IX

Лея идет впереди ; мы поднимаемся ; наши тени вдоль бледных стен ; сколько при мне денег? В бумажнике было пятьдесят франков, в кошельке четыре луидора ; сколько будет пятьдесят плюс восемьдесят, сто тридцать франков ; дома есть еще ; в любом случае в конце месяца придется несладко ; Лее нужно умерить свой аппетит ; ладно, поднимаемся ; пришли ; дверь открыта ; Мари.

— Добрый вечер, Мари.

— Добрый вечер, месье.

Лея :

— Вы не забыли про огонь, Мари?

— Нет, мадемуазель ; если вы войдете в спальню...

В глубине коридора дверь в туалетную комнату ; за ней спальня ; Лея беспечно идет вперед, со своей милой беспечностью ; идти за ней? ждать, когда она скажет? она вроде как забыла ; но что, если она меня отвадит? тем хуже, в коридоре оставаться еще глупее ; я вхожу ; пусть ворчит на меня, если захочет ; я пересекаю туалетную комнату, дверь в спальню ; в спальне

мерцает огонь ; с потолка светит ночник ; и две свечи на маленьком столике ; Лея садится к огню ; белый алебастровый свет ночника, ярко-красный огонь в камине непрерывно вздымается и дрожит ; в кресле, совсем рядом, молодая девушка ; она греется, все еще в шляпе и перчатках, неподвижна, в тени ; и мерцает, вздымаясь, огонь двух свечей ; золотые, темные отблески пламени падают на ее платье ; хорошее, мягкое тепло.

— Вам холодно, не так ли, Лея?

А еще не хотела возвращаться, упрямица.

— Лучше снимите пальто и шляпу.

Она остается у огня, в тени, освещенной огнем, в кресле ; теперь она будет упрямо жариться у камина? Но она встает, быстро, быстро встает ; и говорит резким голосом :

— Да, здесь слишком жарко.

Она снимает шляпу, бросает ее на кровать ; поправляет волосы ; снимает перчатки, кидает и их на кровать ; я опираюсь спиной о камин ; она расстегивает пальто ; я порываюсь помочь ей.

— Спасибо, Мари мне поможет.

Мари помогает ей ; я возвращаюсь к камину ; Мари уносит пальто ; огонь греет мои голени ; Лея поворачивается, улыбается.

— Ну а вы, так и останетесь в застегнутом пальто, в шляпе?

Чего она хочет? чтобы я снял пальто? зачем? остаться? неужели?.. я ответил что-то... все улыбается...

— Если вы позволите... — говорю я.

Медленно, покачивая бедрами, она медленно поворачивается к зеркальному шкафу напротив камина ; я кладу шляпу и пальто на стул возле окна ; шляпу на пальто ; Лея поправляет перед зеркалом оборки корсажа на талии и черную ленту на шее ; я стою, опершись о стену, о задернутую штору ; в зеркале я вижу ее хорошенькое личико и милые гримасы, ее тело, местами скрытое, местами подчеркнутое одеждой ; в этом прелесть моды наших дней, которая умеет и прятать, и выставлять напоказ женские формы ; она приближается ко мне чарующей кошачьей походкой, и волосы скользят по ее матовому лбу ; это то, о чем я думаю? это будет сегодня? она сказала снять пальто ; так что же? я делаю шаг ей навстречу ; мы замираем ; о, сколько нежности в ее взгляде! значит, победа! значит, все-таки сегодня? она ласково шепчет :

— Будьте так добры, подождите меня в гостиной, всего пять минут.

— Да, конечно, как пожелаете.

Она берет подсвечник с камина, зажигает свечи. Значит, она согласилась ; она хочет, чтобы я ее подождал.

— Подождите здесь ; пять минут ; и не вздумайте играть на пианино.

И закрывает дверь :

— Я сейчас.

И вот я снова в гостиной ; как она изменилась за час! очевидно, Лея хочет, чтобы я остался ; иначе она бы не просила меня подождать, пока она закончит свой туалет ; она так мила сегодня! и думать нечего, она хочет, чтобы я остался ; но почему именно сегодня? а почему бы не сегодня? нечего сомневаться, она не прогонит меня ; как упоительна эта мысль! думать, что вот-вот она позовет меня, что я войду в ее комнату, обниму ее, сниму с нее шелковистые, длинные, надушенные ткани и окажусь в ее постели!.. Только не стоит сходить с ума ; поглядим ; нужно подумать, что я буду делать ; для начала нужно принять все предосторожности, пока я один ; от писсуара на бульваре Севастополя прошло уже шесть часов... туалет слева, в прихожей ; в ласковом разговоре нужно спокойствие ; но как выйти отсюда, не наделав шуму и чтоб никто не услышал ; прихожая, конечно, освещена ; впрочем у меня есть спички ; открою дверь ; осторожно! без шума ; на цыпочках... повезло! свет ; дверь приотворена ; так... как бы не запачкаться... уф! хорошо, что я подумал об этом ; оставляю дверь приотворенной, как и было ; дверь в гостиную ; тихонько ; так ; браво! никто меня не слышал ; теперь нужно сесть в кресло, так удобней. Лея раздевается ; она наденет домашний халат ; подумать только, раньше она и туфельки при мне не желала снять ; который час?.. без четверти полночь ; обычно Лея одевается недолго ; значит, скоро позовет. Я просто-напросто смешон ; два часа назад я решил, как поступлю, все, что я обдумывал целый месяц, а теперь начисто забыл ; хотя это так просто ; Лея хочет, чтобы этой ночью я остался с ней ; что поделаешь, я должен отказать и тем самым предоставить ей наилучшее доказательство моей любви, в уважении к моей любви ; в отказе принять ее тело как дар, в отношении которого она чувствует себя обязанной, в нежелании имитировать прочих, поглощенных только тщетной страстью, в глубокой любви к ней и в желании быть любимым ; вот так ; вместо того чтобы принять ее жертву, я принесу ей жертву сам ; а если она оскорбится? нет ; я все ей объясню, и она будет тронута. Какой же я все-таки трус и болван! и еще сомневаюсь ; так долго я ждал этого шанса, и опять сомневаюсь. Все, хватит сомнений ; не так уж это сложно, черт возьми ; нужно выбрать, банально заполучить эту девчонку на одну ночь или любить и, может быть, сделать своим другом ; ни

громких слов не нужно, ни дьявольских усилий ; сейчас же возьму и попрощаюсь с ней... и она подумает, что я застенчивый идиот или, того хуже, решит, что у меня сифилис, подцепленный в платонической лихорадке. Господи, сколько можно прихорашиваться! время?.. без десяти ; это никогда не закончится ; сколько раз уже она удерживала меня, только чтобы спровадить, наигравшись в кошки-мышки ; ужасно так ждать и не знать, на каком ты свете ; в конце концов, Лея просто посмеется надо мной ; она что, думает, мне в радость дожидаться в этой гостиной в надежде, что она соизволит отворить дверь? и я еще буду играть в великодушие, благородство, сражаться за чистую любовь, вместо того чтобы просто воспользоваться выгодой одной дивной ночи ; кривляние и бредни ; Лея выпроводит меня, потому что я не умею настоять на своем ; я позволяю ей играть со мной и изобретаю священные предлоги, надеясь покорить ее уважением ; я слабее и нелепей последнего мальчишки ; этому нужно положить конец ; короче, решено, сегодня я сплю с ней ; это было бы ужасно глупо ; сколько усилий потрачено, чтобы начать и поддерживать эту аферу, и все впустую? столько денег и хлопот, чтобы созерцать дивные очи этой девицы ; девицы, которая играет травести в Нувоте ; ну и чепуха! Это стоит не больше двухсот франков ; разыгрывать сантименты в этом мире! Девчонка, которая каждый вечер изощряется на подмостках, а в безденежье посещает дом свиданий ; да-да, очень может быть, меня бы это нисколько не удивило ; и горничная, которая нужна, только чтобы утешать невезучих мужчин ; черт подери, я мог бы и получше распорядиться своими деньгами, чем платить за кружева для ее костюмов ; в субботу в “ Континентале ” будет прелестно ; хорош я буду среди этих господ, которым она станет строить глазки и которые на следующий день наотправляют ей своих визиток ; и будет душно, шумно, как на Балу Артистов, где мне продавили шляпу ; и эти лавки, из которых выходишь, не имея денег на дорогу домой... Господи, сколько можно сидеть в этой комнате! Прямо неприлично. Постучу в дверь. Нет, не могу. Ох, сколько тут нужно терпения! Кажется, я ее слышу. Ничего отсюда нельзя услышать. А нет ; она открывает дверь ; наконец-то!..

— Ну, друг мой, что поделываете? Не скучали?

В белом, воздушном пеньюаре кремово-белого цвета, чуть суженном в талии, такая белая в кремовой белизне воздушных складок.

— Можно войти?

— Входите.

Она располагается в низком кресле у камина ; на стуле лежат ее белые юбки ; рядом висит черное платье ; камин еле тлеет ; мерное, мягкое тепло ; у окна — мои шляпа и пальто ; беру низкий стул и сажусь рядом с Леей ; она расслабилась в кресле, вытянув руки ; в синем кресле, украшенном широкой расшитой лентой, она, белая, с розоватыми щечками. К зеркальному шкафу прислонен маленький столик, обитый плюшем, а на нем дюжина крохотных вещиц, шкатулок, безделушек из слоновой кости, ножниц, всякой дребедени, в белом-белом комнатном свете. Мы сидим в теплом спокойствии и тишине комнаты...

— Вы так и не рассказали мне, чем вы занимались после того, как ушли от меня.

Это она говорит ; я отвечаю :

— Совершенно ничем особенным.

Как она красива сегодня!

— Ну вы ужинали, по крайней мере, и, наверное, съездили к себе?

— Вы хотите в точности знать, чем я занимался?

— Да, расскажите мне.

— Ну хорошо. Покинув вас, я встретился с молодым джентльменом, моим другом, с которым мы гуляли с четверть часа.

Она улыбается.

— И с этим другом вы говорили обо мне.

— Конечно.

— И ваш друг вам сильно завидовал. Рассказывайте дальше.

Дальше?

— Дальше...

...Этим вечером... суетливая, шумная толпа, Париж, шесть часов вечера ; улицы кишат народом ; экипажи спешат и медлят ; Пале-Руаяль...

— Я был возле Пале-Руаяль.

Блондинка, встреченная у Лувра, такая соблазнительная и тонкая, высокая, гордая, увы! упущена в толпе.

— Мой друг собирался пойти сегодня на “ Рюи Блаза ” в “ Комедии Франсэз ”, я отказался.

— Ради меня ; настоящее геройство.

Было бы здорово еще раз посмотреть “ Рюи Блаза ” ; но я отказался ; потом я ужинал.

— Потом я ужинал ; где? в кафе на авеню Оперы ; вам эти скромные места неизвестны. Хотите знать мое меню?

— Расскажете мне в следующий раз, когда мы будем ужинать вместе. Там вы тоже встретили друзей?

— Ни одного.

Но эта красивая женщина, которая сидела напротив меня с лысым господином, стряпчим или судьей ; красивая женщина, которую я хотел бы увидеть еще раз и которая смеялась.

— За соседним столиком, правда, одна красивая женщина сопровождала старого господина, то ли судью, то ли адвоката.

— Мои поздравления.

В оживленном кафе, ослепительно красочном и светлом, медленно, с удобством ужинать и наблюдать за незнакомцами... вино, игра, красотки... И внезапно, сверкающая ночная улица, и в тени — фасад театра " Эдем ", виденный когда-то " Эксельсиор ", шествие танцовщиц ; и мой друг, который женится, безумно счастливый, любимый тою, которую любит.

— Я вернулся домой без приключений, повстречав только одного мужчину, влюбленного в ту, которая его любит ; позвольте отметить.

— Это бывает не часто, мужчина, который любит.

— Вы так считаете?

— Так мало женщин, которых можно любить ; женщина, которой многие признаются в любви, не любима никем.

Это скверно, то, что она говорит ; что бы такого ответить, чтобы не задеть ее? почему это они не любимы, все эти женщины ; должно быть, они сами не хотят быть любимы.

— Если женщина, — говорю я, — нелюбима, то это часто потому, что она не хочет быть любима.

...Поскольку, виновна или достойна, всякая женщина — сообщница того, кто ее не любит. Лея улыбается, чуть насмешливо ; она следит за огнем, который гаснет ; она почти что такая, как на фотографии.

— Вам доставили мою записку? — спрашивает она.

— Да ; но что, если бы я не вернулся домой?..

— Вы должны были вернуться.

— У меня был лишний час ; я остался дома.

— Что вы делали?

— Ничего особенного ; писал.

А затем — дивная ночь в оконной раме, в саду, в деревьях, в высоких деревьях перед моим окном, пустующий и вымерший сад, грандиозный, и этот ночной аромат, которым веет из открытых окон ; а затем — ночь, гуляющая по пустым улицам и шумным бульварам, эта самая ночь, с шарманкой и с популярными куплетами, такими нежными в тени... рассказать об этом Лее?

— Когда я шел к вам сегодня, меня преследовали звуки шарманки, они наполняли мой путь своими стонами.

— Вы же любите музыку.

— Больше, чем когда-либо, но меньше вас.

И ее письма... “ Лея д’Арсе просит месье Даниэля Принса... ” Зачем ей знать, что я перечитывал ее письма? она наверняка посмеется надо мной ; и что ей сказать об этих грустных письмах? и эти планы, сто раз обдуманные, пожертвовать ради нее моим желанием! может, она и права, может, и правда не часто встретишь мужчину, который любит, и что никогда она не была любима ; значит, и мне ее не полюбить? увы! как мало я ее люблю, как мало, как сильно стараюсь полюбить!

— Вы прекрасно провели день, — говорит она.

— И еще прекрасней был вечер, несмотря на то что я заснул некстати...

Она смеется.

— И в довершение всего — замечательная прогулка в экипаже с девушкой, очаровательной, но такой злой.

Ну разве не была она злой! и этот господин, который преследовал нас на бульваре ; холм Монмартра, различимый в тумане ; ряд освещенных домов и темные ночные деревья ; да, но как она очаровательна в своей поддельной гордости, важная и смешная! а теперь очаровательная и без подделок ; она подняла голову, белую и светлую в светлой белизне воздушных тканей ; и тонкое детское, женское тело, стройное, хрупкое и пухлое ; завлекающая улыбка, обещание ласк, томность, готовая отдаться в чужие руки ; поскольку в этот час, когда день ускользает и исчезает, как только он гаснет, начинается ночь, время любви.

— ...О, мой друг... ваши легкомысленные губы уносятся ветром...

И ее ладони ; и с ее ладоней через мои ладони и руки, и мое сердце, дымка, дрожь, жар, мука поднимаются до самых глаз ; колебания? к черту все это вечное уважение, и эту смиренную любовь, и прекраснодушные проекты, и запоздалую любовь, после долгих приготовлений, к черту уходы, отказы, к черту отказы, я хочу ее! и я смотрю на нее, на бледность ее тела, предвещающего радость, от которой я не откажусь ради какой-то мечты. Но она высвобождает свои руки из моих ; я отхожу на два шага ; она приближается ; кладет руки мне на плечи ; и, поскольку я опьянен и одурманен ею, она говорит...

— Приходите в субботу на праздник в “ Континенталь ” ; увидите, как я буду красива...

Да, еще бы...

— ...Мне будет так грустно, если вы не придете ; и к тому же я окажу вам честь...

В самом деле...

— ...Вы же принесете мне этот передник для костюма, не так ли?..

Для ее костюма?.. ах да, этот передник, эти деньги, которые я наобещал... совсем забыл... они нужны ей тотчас ; я обещал ; впрочем, и то хорошо ; ладно! Разделаемся с этим сейчас же...

— Если вы скажете мне, во сколько примерно это вам обойдется, Лея, и позволите мне переложить на вас заботу о...

— Я не знаю... это выйдет... самое большее... франков сто.

— Позвольте, я достану кошелек.

У меня в бумажнике есть купюра в пятьдесят франков, еще несколько луидоров в кошельке ; одни двадцатифранковые ; получится сто десять франков ; ладно ; три луидора и пятьдесят франков, вот, пожалуйста, на камине.

— Вы очень милы, — говорит Лея.

Она возвращается ко мне ; я доставил ей удовольствие ; все это дороговато ; но она будет довольна, а значит, мила со мной ; и, кроме того, так мне проще остаться с ней эту ночь, больше прав ; получается, я не могу доказать ей свою любовь, не отказав в ней? так нежно, так сладко, так хорошо любил бы я ее этой ночью, что это стоило бы всех разговоров и всех отказов ; конечно, если я сумею себя вести как следует, то лучше я останусь с ней, чтобы доказать истинность моей любви ; вот что нужно сделать ; и я говорю ей в волосы :

— Так что же, я могу остаться?

Ее большие глаза, ее большие удивленные глаза смотрят как будто с состраданием... что они говорят?

— О нет, не сегодня! прошу вас ; я не могу...

Как? не сегодня? не хочет?

— В следующий раз, обещаю вам... я не могу.

Снова, снова не хочет?.. не могу же я заставить... нет, не хочет.

— Лея, вы не хотите?

— Уверяю вас...

Зачем настаивать?

— Тогда доброго вечера.

Зачем я вообще спросил? почему я не держался принятого решения ; почему не ушел, как должно, сохранив свою честь?

— До свидания, друг мой.

Я целую ее в лоб ; ускользающие и невозможные наслаждения, смертельные и безнадежные наслаждения!

— Приходите в среду в три часа, — говорит она.

— Спасибо, с удовольствием.

И зачем это я хотел ею обладать? Увы, опять не выйдет. Нужно уходить ; мое пальто, шляпа.

— До встречи, — говорит она, — до среды, в три часа.

Берет подсвечник и открывает дверь в гостиную ; Мари здесь ; мы пересекаем вестибюль.

— До среды, в три часа, — говорю я.

Нет, больше я ее не увижу ; нельзя мне снова ее видеть ; зачем мне ее видеть? навсегда загублена любая возможность любви между нами... Моя милая, белая и прекрасная, незабываемая протягивает мне руку.

— До встречи.

— До встречи.

Она по-дружески улыбается ; на ее груди колышутся бледные ночные блики.

Кристоф Рансмайр
Атлас робкого человека

Фрагменты книги

Перевод с немецкого Н. Федоровой

Охранная песня. Китай

Далекую фигуру я заметил у полуразрушенной сторожевой башни оборонительного вала протяженностью девять тысяч километров, который в стране его создателей зовется *Ваньли Чанчэн — Невообразимо Длинная Стена*, а во всем остальном мире — Китайская стена.

Утром выпал снег, и я уже несколько часов шел по верху Стены через горы Янь между Сыматаем и Цзиньшаньлином в провинции Хэбэй. Словно гирлянда, унесенная ветром и заброшенная на вершины и кряжи, Стена с ее зубцами, сторожевыми и сигнальными башнями змеилась средь необитаемого горного края, сбегала по обрывистым скальным кручам в безлюдные долины, откуда по таким же кручам снова поднималась вверх, вместе с горной грядой меняла направление, чтобы после очередного поворота вернуться на идеальную линию, намеченную давно исчезнувшими строителями и генералами.

Если б не утренний снег, который еще сильнее оттенил все темное — кладку Стены, руины, скалы, — я бы вряд ли заметил эту фигуру с такого расстояния. Но теперь мне даже казалось, что человек — кто бы он ни был — поднес к глазам бинокль и посмотрел в мою сторону.

Мой путь лежал по весьма крутому и местами изрядно разрушенному участку Стены, где мало кто ходил, потому-то я уже часа два не встречал ни души и удивился, неожиданно увидев человека, судя по всему идущего мне навстречу — на тонком снегу передо мной следов не было.

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012
© Н. Федорова. Перевод, 2017

Он не двигался с места, меж тем как я по затененному спуску и новому подъему в мокром снегу одолевал впадину, и я уже опасался, что у сторожевой башни наткнусь на солдата или смотрителя, который, сославшись на ветхость кладки, запретит мне идти дальше. Величайшая постройка человечества частенько служила окрестному населению каменоломней, еще Народно-освободительная армия Мао Цзэдуна использовала камни Стены для строительства мостов и военных коммуникаций, но, с тех пор как это сооружение признано историческим памятником и взято под охрану, смотрители, а также добровольные контрольные посты порой несли службу и в самых отдаленных краях.

В Пекине я слыхал о состязаниях *бегунов по Стене*, где победителем объявляли того, кому удавалось без остановки преодолеть самую длинную дистанцию на запретных, перекрытых участках. На примерно пятьсот километров хорошо сохранившихся или хорошо отреставрированных и в любое время доступных участков Стены приходятся тысячи и тысячи километров нередко совершенно заросших, утонувших в буйной растительности развалин, в которых едва угадывалось рукотворное сооружение.

Когда же, одолев изнурительный подъем, крутой, как прислоненная к стене лестница, я наконец-то подошел к этому человеку, он оказался не солдатом и не бегуном, а седовласым европейцем, который — несмотря на холод, был без шапки — дружелюбно поздоровался и тотчас принялся проклинать снег.

Мистер Фокс из уэльского графства Суонси был bird-watcher, орнитолог-любитель, ранним утром он отправился в путь по Стене, чтобы наблюдать за певчими птицами, фотографировать их и записывать на миниатюрный цифровой рекордер их песни, предостерегающие или враждебные крики. Таким манером он прошел уже сорок участков Стены, этот по счету сорок первый.

Но много ли увидишь и услышишь в этаком снегу? — сказал мистер Фокс. Он ведь вполне их понимает: большинство певчих птиц ненавидят снег не меньше, чем он сам, и сейчас, нахохлившись, молчком сидят в своих укрытиях, берегут силы в такой вот день, когда корм недостижим, погребенный в холодной белизне. Азиатский короткопалый жаворонок, Calandrella cheleensis, красногрудый дрозд да райская мухоловка... только и всего за целое утро.

До возвращения Гонконга Китайской Народной Республике мистер Фокс жил в этой имперской колонии, составлял и переводил инструкции по эксплуатации, а выйдя на пен-

сию, вместе с женой — она археолог и регулярно занималась Великой стеной — переехал в ее родной город, Шанхай. Оттуда он три дня назад махнул ночным поездом в Пекин и, не задерживаясь, отправился с автовокзала Дончжимынь к этому участку Стены, последнему в провинции Хэбэй, который ему оставалось пройти. И, как назло, сегодня пошел снег. Снег в октябре!

Ведь за эти дни Фокс рассчитывал снова пополнить свою коллекцию, альбом, где в идеале будут собраны голоса всех видов певчих птиц, живущих под сенью Стены, — огромной птичьей стаи, мельтешащей вокруг *Великого Дракона.* В Китае порой сравнивают Стену с драконом, который окунает язык в воды Желтого моря, а ударами хвоста по барханам пустыни Гоби поднимает песчаные бури.

Ваньли, сказал мистер Фокс, китайское определение протяженности Великой стены согласно стародавней единице длины, которая при каждой династии трактовалась по-разному и могла насчитывать как три сотни, так и без малого шесть сотен метров, — *Ваньли* означает не просто *десять тысяч ли*, ведь *ли* еще и знак бесконечного, невообразимого, а стало быть, стена протяженостью десять тысяч ли — *десять тысяч раз невообразимо* длинная стена.

Разумеется, всегда велись споры, сколько же в точности километров составляет протяженность Стены, следует ли при этом учитывать только вот этот или только вон тот период строительства и надо ли, нет ли принимать в расчет, к примеру, горы, реки и озера, встроенные в Ваньли Чанчэн, можно сказать, как естественные укрепления, но для него это значения не имеет. Он идет следом за песнями птиц по пути Великого Дракона, который в зависимости от династии, престолонаследия и превратностей войн полз то в одну сторону, то в другую. И этот путь протянулся почти на девять тысяч километров.

Как насчет глоточка виски? Фокс никогда не ходил на Стену без карманной фляжки с ирландским виски. Ирландский, из республики, с юга, а не с бомбоопасного севера, он самый мягкий и самый вкусный.

Строго говоря, идея принадлежит его жене. Как-то раз, почти три десятка лет назад, он вместе с нею поехал в провинцию Нинся. Стена проходила там по весьма безотрадной местности — сплошные промзоны, нефтеперерабатывающие заводы, дымящиеся мусорные свалки. Но именно в Нинся одна птица, Turdus mandarinus, китайский дрозд, пела так пленительно прекрасно, что прямо-таки заворожила их обоих, и ему невольно вспомнился отец, который с фонариком на лбу

часто сидел под деревьями Суонси и лихорадочно пытался записать на нотной бумаге стремительные пассажи, когда в темноте начинал петь соловей или дрозд. Потом он включал диатонические интервалы, трезвучия и хроматические секвенции, скажем, песни дрозда в свои композиции для духовых инструментов.

Притом, ведь песни птиц служат не только любви и сохранению вида, но в куда большей степени — *охране территории*, и благодаря тому, что они громкие, разносятся далеко, а вдобавок замысловатые, виртуозные либо держат соперника на расстоянии, либо обращают его в бегство. Что ж, духовая музыка его отца в известном смысле, пожалуй, тоже выполняла эту задачу. Так или иначе, дрозды ловко копируют еще и десяток других птичьих голосов, даже звуки мира людей, плач младенца, далекий рокот моторов, смех, вой сирен... и таким манером *оповают границы своих владений*, словно тем самым одновременно высмеивают всю грубость, приземленность и всякого, кому не дано неописуемое счастье быть ангельски оперенным, ангельски поющим существом, которое вольно в любую минуту подняться в воздух или ринуться в бездну с высочайших башен, деревьев и скал, расправить в падении крылья и вдруг воспарить, позволив восходящему воздушному потоку вновь унести их в небесную высь.

Тогда в Нинся они с женой завороженно слушали, а потом, глядя на заросшие густым кустарником остатки Великой стены, она сказала: “Песня. Это ведь тоже способ. Охранная песня вместо зубчатых стен! Мелодии вместо камней, пограничные песни!”

Сообща они представили себе, как заменят эту невообразимо длинную Стену одним-единственным, беспрерывным хором охранных песен: пограничный вал из напевов, то нежных и хрустально-чистых, то беззаботных и веселых, но сплошь секвенций заявленной во всеуслышание, неодолимой мелодии, которая либо настолько поразит любого нарушителя или агрессора, что он в страхе обратится в бегство, либо настолько его околдует, что он забудет свою алчность, ненависть или боевой задор и сможет лишь с восторгом внимать.

Замечательная идея, сказал мистер Фокс, соотнести с участками Стены, возведенными при династиях Цин, и Хань, и прочих, как их там, Вэй, Чжоу, Тан, Ляо и Мин, песни, птичьи мелодии, которые пелись, и пелись, и пелись, когда даже самые прочные стены и якобы неприступные оборонительные башни уже рассыпались в прах.

Быть может, держава столь немузыкального человека, как Мао Цзэдун, не могла сохраниться уже просто потому, что бы-

ла первой и единственной из всех существовавших китайских империй, где певчих птиц истребляли не только из идиотского чревоугодия, как в некоторых странах Европы, а миллионами и миллионами убивали всех птиц без исключения как пожирателей зерна и вредителей урожая во всех провинциях этой так называемой Народной республики. Птиц объявили вне закона. И однажды весной небо над Пекином вправду было совершенно *свободно от птиц*. Свободно от птиц! Хороша свобода.

Пока мистер Фокс рассказывал о династиях и империях, которых ни самые протяженные, ни самые мощные оборонительные сооружения не сумели защитить от течения времени, рассказывал о птицах и людях, наверху стены по-прежнему царила тишина, снежная тишина. Но когда он протянул мне фляжку — мол, глотните на прощание, — под нами, в кроне дерева, с которой солнце сбрасывало сейчас снежные валики, вновь послышалась песня красногрудого дрозда, чей голос он уже записал утром. *Осенняя песня*, как сказал Фокс: она тише и разносится не так далеко, но искуснее, упоеннее, нежели песни весны, потому что свободна, по меньшей мере, от нескольких целей, связанных с таянием снегов, например от домогательств любви и продолжения рода. Тут ведь, по меньшей мере чуточку, совсем как у людей, как у него самого: осенней птице уже совершенно незачем стремиться произвести впечатление. Она если вообще поет, то скорее для себя, чем для кого-то другого или в пику ему.

Песня дрозда еще некоторое время провожала нас, когда мы расстались и вновь зашагали по этой невообразимо длинной Стене в разные стороны, каждый навстречу своей цели — он в Сыматай, я в Цзиньшаньлин, каждый по следам другого.

Павлин. Индия

На одной из улиц Нью-Дели я увидел вал из мешков с песком, сплошную баррикаду, без единого проема. Шофер такси, в котором я сидел, резко затормозил, но затем медленно поехал дальше, прямо на этот вал, словно в надежде, что при нашем приближении препятствие исчезнет. Только когда барьер вырос настолько, что полностью закрыл нам обзор, он остановил машину, не заглушая мотор, несколько секунд молча и неподвижно сидел, не снимая рук с руля, и не ответил на мой вопрос, сколько времени потребуется на неизбежный объезд. Потом врубил задний ход, обернулся назад, а тем самым ко мне и заднему окну, обвешанному бубенчиками и золотыми нитями, и, каким-то извилистым маневром подавая

машину назад, заговорил о приговоренных к смерти убийцах премьер-министра, Индиры Ганди, о двух сикхах, ее собственных телохранителях, которых, вероятно, повесят уже сегодня ночью. Вероятно, сказал он, военные ожидают после казни уличных боев, потому и эти мешки с песком, потому и тупик. Многие его родственники и друзья, опасаясь грозящих стычек между индусами и сикхами, покинули город.

Вот и я тоже покидал этот городской квартал, где несколько дней гостил в доме некого сикха. Вокруг жили индусы, и такой дом — место ненадежное. После покушения на Ганди в Северной Индии бушевали погромы, и только в Дели было убито более трех тысяч сикхов. Так индусы мстили за смерть своего премьер-министра зеленщикам, ремесленникам, рикшам и вообще всем, кто имел несчастье принадлежать к народу убийц Индиры.

Уезжай, сказал мой хозяин, уезжай, я тоже уеду. В ушах у меня еще звучали удары дубинок, десять-двенадцать ударов каждую минуту, которыми сторожа его дома, двое сезонников из Пенджаба, рассчитывали вдолбить любому недругу, что этот дом не покинут и не брошен, но находится под охраной и, если надо, его будут защищать. Оба они, вооруженные винтовками "Энфилд" времен Второй мировой войны, в минувшие ночи, с наступления темноты до восхода солнца, ходили вокруг дома, вдоль садовой ограды, усиленной поверху колючей проволокой и осколками стекла, и дубинками выстукивали по стенам предупреждающую дробь.

В одну из этих ночей мне в промежутке меж долгими бессонными часами пригрезился стук дубинок, обернувшийся ударами молотка: залитого кровью человека выволокли из дома и по рукам и ногам прибили к воротам, оплетенным колючей проволокой. А вечером после этого сна я уж было решил, что начался погром, когда по дороге в пекарню, на крутой улочке, освещенной огнями множества лавок, угодил в возбужденно галдящую толпу людей, обступившую залитого кровью мужчину.

Он был в *дастаре*, сикхском тюрбане. Лежал скрючившись на мостовой и, защищаясь, вскидывал руки, когда кто-нибудь наклонялся к нему, притом, все время что-то выкрикивал — то ли молил о пощаде, то ли уверял, что ни в чем не виноват. Только когда я заметил сотни рассыпанных перцев и лежащий на обочине велосипед, на котором по-прежнему громоздились привязанные корзины, образ погрома улетучился. Скорее всего, это — зеленщик, упал с велосипеда и теперь не хотел, чтобы его уносили, не хотел, чтобы поднимали. Малейшее прикосновение, казалось, причиняло ему боль. В тол-

пе явно не могли прийти к согласию, как помочь бедняге и как убрать его с дороги. В конце концов кричащего все же подняли в тележку рикши и увезли прочь, двое босоногих мальчишек тем временем собрали перец, а медник с торговой улицы затащил велосипед к себе в мастерскую.

Такси, в котором я сидел, должно было доставить меня на вокзал. Я решил ехать в Раджастхан, в Джайпур, а потом дальше, в пустыню Тар, и теперь боялся, что из-за мешочной баррикады и вынужденного объезда опоздаю на поезд. Наверху этого заграждения, которое, меж тем как шофер подавал машину назад, потихоньку уменьшалось в раме ветрового стекла, не было ничего — ни наблюдателя, ни каски, ни колючей проволоки. Так мы и смотрели мимо друг друга, шофер, твердивший "не беспокойтесь, не беспокойтесь, поспеем вовремя", смотрел в заднее стекло, я же — в ветровое, где улица снова вытягивалась в длину.

А потом я увидел павлина. С увешанной развевающимся бельем плоской крыши дома он спрыгнул на верхушку баррикады, гордо прошествовал примерно на середину, попробовал развернуть хвост колесом, которое множеством своих глаз должно было изображать чудовище и отпугивать любого агрессора, но сложил его, так и не развернув полностью, словно только сейчас заметил, что испещренная выбоинами улица совершенно пуста, лишь такси, будто змея, ползет задним ходом, — ни соперника, ни восхищенного зрителя, ни врага.

Воздушный налет. Боливия

Четыре одномоторных военных самолета на бреющем полете над сверкающей гладью водохранилища Сан-Себастьян в боливийском высокогорье — вот что я увидел. Истребители явно держали курс на ближний, расположенный на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря город Потоси, центр добычи олова и серебра. Рокот моторов уже некоторое время доносился из окрестных долин как неопределенный, то нарастающий, то утихающий гул, но усилился, когда истребители внезапно возникли над голым кряжем, резко пошли на снижение и на высоте едва ли тридцати метров с адским ревом промчались над водой.

Тем ледяным июльским утром — ночью выпал снег, уже растаявший под лучами яркого, холодного утреннего солнца, — я вместе с баварцем-биологом и его подругой, молодой докторшей из итальянской Пистойи, шагал по приозерным

склонам, где не росли ни кусты, ни деревья. Познакомились мы в Потоси, в пансионе — там кормили завтраком, но не было отопления, — который вот уже три месяца служил биологу базой для работы по определению мхов и лишайников *альтиплано*, голого плато, расположенного на высоте трех-четырех тысяч метров над уровнем моря между западными и восточными Андами. Тициана, подруга биолога, сопровождала его лишь несколько летних недель, потом она вернется в Милан, где работает анестезиологом в одной из клиник.

На утреннем пути по берегам Сан-Себастьяна мы на сей раз больше говорили об отъезде, который биолог и его подруга уже трижды откладывали. Я направлялся в Перу и в Потоси очутился только проездом, но присоединился к ним, поскольку они предложили подбросить меня на своем трейлере до озера Титикака и дальше, в перуанскую Арекипу.

Да-да, конечно, сказал биолог и этим утром, да, как можно скорее, ему тоже как можно скорее надо в Перу, завтра, только еще вот эта одна вылазка на водохранилище Сан-Себастьян. Ведь в конце-то концов никто из нас, наверно, никогда больше не вернется на здешнее плоскогорье.

В эти июльские дни в Ла-Пасе генерал Гарсиа Меса совершил при поддержке самых могущественных в стране торговцев кокаином кровавый путч и стал диктатором Боливии — одним из наиболее жестоких, как покажет единственный год его владычества. Словно парализованные всеобщим ужасом, в стране остановились поезда и международные автобусы. Многие дороги были перекрыты или забиты военными транспортами; телефонные линии не работали. В скудных сообщениях, достигавших Потоси, сообщалось о волне арестов и множестве убитых.

То, что в рудничном городе вроде Потоси его войска и пособники не найдут сторонников, по крайней мере большого их числа, не могло явиться неожиданностью для нового диктатора. И звено истребителей над озером, вероятно, было демонстрацией его бдительности. Самолеты с ревом промчались мимо каменистого склона, по которому взбирались мы, тяжело дыша от разреженного воздуха, — промчались совсем близко, почти на уровне глаз, я даже различил в стеклянных кабинах головы пилотов в шлемах. Двое из них обернулись к нам.

И вдруг Тициана, шедшая передо мной, вскинула руку навстречу этим ревущим машинам, сжала кулак и яростно крикнула истребителям: “No pasarán! No pasarán!” Они не пройдут!

Наверно, даже человек, читающий по губам, не сумел бы, сидя в пилотской кабине, разобрать этот призыв, который

звучал еще в окопах Вердена, однако лишь в годы гражданской войны в Испании стал антифашистским лозунгом, а позднее боевым кличем латиноамериканских партизан. Но кулак! Сжатый кулак этой молодой женщины — как раз сейчас по ней скользнула тень самолетного крыла, — его значение было совершенно очевидно. А ведь в минувшие дни Тициана неизменно производила на меня впечатление человека осторожного, даже чересчур осторожного. Она постоянно глотала бесчисленные таблетки всех размеров и цветов — витамины, магнезию, профилактические средства от горной болезни и желудочно-кишечных расстройств, при всяком удобном случае предостерегала от немытых фруктов и сырых овощей, фильтровала и дезинфицировала даже минеральную воду из закупоренных бутылок. Но теперь грозила кулаком четверке пилотов. No pasarán!

Ее друг рассмеялся. В первую минуту рассмеялся и я. Грозить кулаком звену боевых самолетов — в этом сквозило что-то до странности трогательное, забавное, но вместе с тем похожее на отвагу в схватке с ветряными мельницами. То, что промчалось мимо нас и над нами, было недостижимо, как метеорит. Но затем, словно кулачок Тицианы впрямь напугал самолеты, рев моторов стал тише.

Над далекой плотиной Сан-Себастьян истребители набрали высоту, совершили перестроение и, вероятно, уже шли на Потоси, когда один из них внезапно отделился от подразделения, круто повернул и лег на обратный курс, к нашему берегу. Мы далеко не сразу осознали, что возвращается он действительно из-за нас. Самолет вынырнул из-под солнца и на бреющем полете снова мчался прямо к нам. Кабина пилота — сплошные слепящие солнечные блики, ни шлема, ни лица не разглядеть.

Слово *Потоси*, как говорил хозяин нашего пансиона, заимствовано у андских индейцев-кечуа. В их языке оно звучит немного по-другому: *путукси* — и означает *шум*.

Путукси, путукси — билось у меня в голове в эти секунды, так забывчивый человек наконец-то ненароком вспоминает слово, которое давно и тщетно искал, как вдруг сквозь оглушительный рев самолета прорезался металлический перестук и прямо возле нашей тропинки взметнулись вверх фонтаны пыли и песка, органные трубы из пыли, развеивающиеся еще на взлете.

Тициана первая поняла, что происходит: Он стреляет! Стреляет в нас, стреляет!

Ноги у меня разом отяжелели, стали прямо-таки ватными, бескостными. Я хотел убежать, схорониться от пуль, кото-

рые достигают своей цели быстрее, чем звук. Однако ноги не слушались. Я просто стоял на месте.

Биолог... Я видел, как он бежит. Но бежит почему-то не вниз по склону, а задыхаясь от пронизывающе-холодного иссушающего воздуха, спешит вверх! Вверх!

Одна только Тициана бросилась наземь, с криком: "Ложись, ложись!"

Лечь. На эту голую, холодную землю, где спрятаться негде — нет ни дерева, ни куста. Лишь пучки высохшей травы, едва доходящие до щиколотки.

Ложись, идиот!

Позднее, много дней кряду, уже на пути к озеру Титикака, мы будем спорить, что́ труднее для стрелка в мчащемся самолете — обнаружить неподвижную цель в укрытии или подвижную; лежачего, даже в пустыне без деревьев и кустов, или бегущего. Разве же солдаты не бросались наземь, тогда как наивные штатские кидались наутек?

Но что бы мы ни предприняли этим июльским утром, все равно бы опоздали, безнадежно бы опоздали, выйди пилот точно на цель, то есть на нас.

Ни на обратном пути в Потоси, который мы покинули в тот же день, второстепенными дорогами, ни в следующие недели в Перу и Колумбии я не мог вспомнить, когда и как в конце концов последовал призыву Тицианы и упал на голую землю, ледяную, несмотря на яркое солнце. Лишь потом все случившееся ожило и навсегда запечатлелось в памяти, хотя длилось, наверно, считаные мгновения.

Я чувствовал холод почвы, чувствовал грудью холодные камни, видел ревущую тень самолета, мчащуюся по склону, и вдруг заметил, как из сухого, в палец высотой, пучка травы прямо у меня перед глазами с трудом выбирается жук. Вероятно, при неудачной попытке взлететь обе пары крылышек застряли меж поперечными стебельками, и теперь, наконец-то на воле, он поднял отливающие изумрудной зеленью надкрылья, чтобы взмыть в воздух на спрятанных под ними, пронизанных черными жилками крыльях. Безразличный ко всему, что творилось в этом мире, где царил истребитель со своей мчащейся тенью, где титаны, сами того не замечая, растаптывали его собратьев, жук взлетел, заложив вираж так близко от моего уха, что мне почудилось, будто я различаю мелкий шум его полета даже сквозь рев истребителя. Я лежал возле его травяного укрытия, не смея глазом моргнуть. А когда, жужжа и переливаясь в лучах солнца, жук исчез из моего оцепенелого поля зрения, сухой пучок травы перед носом вдруг показался мне прибежищем, спасительным укрытием,

как в детстве, когда трава и мох, где я расставлял игрушечные фигурки, превращались в дремучие леса, где можно было сделаться крошечным и затеряться среди хвощей, мать-мачехи и великанских одуванчиков.

Эти джунгли были спасением! В их подлесок мне хотелось убежать, я чувствовал, как в ноги возвращается жизнь, подвижность, моя жизнь, стук моего сердца, когда что-то ткнуло меня в плечо, причем больно.

Тициана. Великанша. Она стояла надо мной и с головокружительных высот говорила в мой девственный лес, в мое жучье царство: “Можешь встать. Он улетел”.

В*ластитель героев*. Г*реция*

Я увидел пять белых мраморных стел, все узкие, почти в рост человека, на всех буквами греческого и латинского алфавита высечены надписи, почерневшие от времени. Ровной линией, почти вплотную друг к другу, стелы поднимались из каменистой земли в конце дороги, что змеилась средь голого, благоухающего тимьяном и шалфеем горного ландшафта на греческом острове Иос, и окаймляли таким образом начало тропы, ведущей от конца дороги по отлогому склону к вершине холма. Венчал эту вершину четырехугольник низких стен из дикого камня, разрушенная гробница, от ее обращенного на запад входа открывался как бы с птичьего полета широкий вид на синий простор южной части Эгейского моря, на мнимо необитаемые соседние острова и на окрестное невозделанное и безлюдное нагорье.

На грубых стенах гробницы не было ни имени, ни надписи, ни каких-либо каменных или иных украшений, сохраняющихся в веках. Оттого-то эта постройка без крыши и не отличалась почти от развалин овчарен и козлятников, ютящихся в густом кустарнике на краю великого множества заброшенных и одичавших террасных полей и пастбищ этого острова. Как и у проемов в стенах разрушенных овчарен и козлятников, перекладина над входом в гробницу, сооруженным из трех мощных, грубых плит известняка, располагалась так низко, что даже невысокий человек — тот, кто нес покойника или участник похоронной процессии, — мог пройти, только согнувшись в три погибели. Однако в отличие от засыпанных обломками входов в овчарни этот проем не был завален полностью, скорее просто забаррикадирован обломками каменной плиты с надписью, остатками разбитого текста.

Лишь пять белых стел, на несколько сотен шагов отстоящих от входа в гробницу и оттуда уже не видимых, указывали,

кто покоится под этим каменистым холмом, ибо на пяти языках, прежде всего на языке здешнего народа, сообщали, цитируя труды историка и борца против тирании — Геродота Галикарнасского, который в пятом веке до нашей эры записал то, в чем были уверены его современники:

В МЕСТЕ СИЕМ ЗЕМЛЯ УКРЫВАЕТ
СВЯЩЕННУЮ ГЛАВУ
ВЛАСТИТЕЛЯ ГЕРОЕВ
БОГОРАВНОГО ГОМЕРА

Я вышел к холму, преодолев ряд глубоко вдающихся в побережье скалистых бухт, а затем бездорожный, тернистый склон, миновал вереницу стел, поднялся по тропе к гробнице, сел на камень с солнечной ее стороны и питьевой водой из фляжки смыл кровавые разводы на ногах, оставленные многочисленными колючками. Вершина холма возвышалась над уровнем моря метров на сто, а то и больше, ее обдували то нарастающие, то утихающие вечерние бризы, однако ж солнце как будто бы покуда нисколько не утратило той силы, что в здешнем горном краю, где еще античные корабелы начисто свели все леса, позволяла расти лишь кустарничкам высотой по колено — финикийскому можжевельнику, шалфею, язвеннику, тимьяну да подбельнику, но не деревьям, тени тут не было. Голые склоны благоухали цветами и травами, которые ощетинивались шипами либо ворсистыми копьями листьев, а ветер разносил их аромат даже по скалистым участкам берега, где вообще ничего не росло.

Чувствуя за спиной тепло нетесаных камней гробницы, я любовался панорамой, вековечным зрелищем, предназначенным усопшему — первому и самому потрясающему поэту Запада.

На северо-западе лежал Наксос, остров Ариадны, смертной критской царевны, ставшей богиней: далекие, мнимо необитаемые горы, словно парящие на грядах тумана. Перед ним, судя по моей карте, без малого в шести морских милях отсюда, вырастали из волн прибоя каменные кручи Ираклии, названной в честь вознесенного на Олимп самоистязателя, Геракла. В ясные дни на северо-востоке, наверно, виднелись горные кряжи острова Аморгос, но в этот августовский вечер пелены тумана, вода и безоблачное небо сливались там в пустую блеклую голубизну. Огромное, могучее, лишь слегка взбудораженное западными ветрами простиралось всюду перед зримой и незримой сушей Эгейское море.

В шелесте ветра мне слышался нестройный гул великого множества голосов, которые звучали здесь тысячелетиями

вплоть до нынешнего дня и твердили, что человек по имени Гомер бессмертен уже потому, что никогда не жил на свете. Не может быть, чтобы одному человеку, одному поэту или сказителю хватило сил создать такие рати героев, богов, воинов, любящих, сражающихся и горюющих персонажей, хватило сил воспеть битвы за Трою и скитания Одиссея столь бесконечно разными ритмами, интонациями, языковыми красками, нет, это наверняка творение целого ряда безымянных поэтов — певцов, которые слились в единый фантом и которым потомки дали имя *Гомер*. Гробница, сооруженная две-три тысячи лет назад на Иосе или где-нибудь на берегах Малой Азии либо греческого архипелага, может хранить разве что память о хоре давно забытых сказителей.

Я думал о множестве археологов и авантюристов восемнадцатого и девятнадцатого столетия, мало чем отличающихся от расхитителей могил, например, о голландском графе Пасе ван Кринене, который в 1771 году перекопал место, где я сейчас любовался солнечным закатом, в поисках останков *Величайшего поэта человечества*, а позднее клялся, что-де обнаружил скелет, у него на глазах рассыпавшийся в прах.

Когда вечерние бризы ненадолго затихали и слабый шорох прибоя не достигал до высоты гробницы, смолкал и нестройный гул голосов вокруг усопшего поэта. И становилось так тихо, что средь просторов этого морского пейзажа было слышно даже жужжание мухи, которая словно бы камень за камнем обследовала гробницу, а затем, стремительно и алчно маневрируя, попыталась ринуться на тоненькие царапины и следы крови на моих ногах.

Солнце опускалось к горизонту, утрачивая блеск и форму, и наконец красным овалом погрузилось в свинцово-серую дымку, и тогда в лишенном направлений просторе поначалу едва слышно, но быстро набирая отчетливость и громкость, послышался рокот, гром, который мог быть как шумом одной или многих машин в море или на суше, так и ревом приближающейся эскадры самолетов высоко в вечерней безоблачности. Но даже когда этот рев поглотил не только жужжание мухи, переливчатой еще и в сумерках, но и стоны ветра в пазах меж камней гробницы, ни на небе, ни в море, ни где-либо среди голых холмов и горных склонов не было видно его источника.

Только в бинокль, далеко-далеко и по сравнению с могучим ревом необъяснимо маленький, я разглядел оснащенный спаренными орудиями фрегат греческого ВМФ, идущий мимо Ираклии курсом зюйд-вест по просторам моря, которое тут и там вскипало волнами, принаряжаясь на ночь в белые барашки пены.

Непоколебимый и безучастный к противодействию ветра и волн бороздил море этот фрегат, где и в бинокль не было видно ни души, а за ним словно бы тянулось нарастающее, объемлющее небо и воды беспокойство, поднимающаяся из морских глубин тьма, в которой я внезапно углядел какой-то светлый, белый промельк, потом еще один и еще — паруса! Паруса, множество парусов, белых-белых, масса белоснежных, уже раздутых ночным ветром парусов целого флота: триеры и прямопарусные корабли с командой воинов в звенящих доспехах, с рабами на веслах, роскошные, неудержимо стремящиеся вперед корабли, что под командой капитанов по имени Агамемнон, Одиссей или Ахиллес держали путь к обреченному гибели городу, к полям сражений, островам любви и варварства, в обманчивую даль, откуда можно было вернуться лишь обагренным кровью.

Перезахоронение. Остров Робинзон-Крузо. Чили

На берегу, усеянном плавником и деревянными обломками, я увидел остатки каменной ограды. Человек в пыльном синем комбинезоне размашистыми ударами кирки сейчас эти остатки доламывал. Отколотые куски он бросал в кучу на черном песке.

Происходило все это под вечер облачного летнего дня на гористом *острове Робинзон-Крузо*, единственном обитаемом из трех расположенных в Тихом океане, в шестистах-семистах километрах от южноамериканского континента, островов архипелага Хуан-Фернандес. Без малого четыре месяца назад волна от глубоководного землетрясения накрыла Сан-Хуан-Баутисту, единственную на острове деревню. С тех пор большинство из шести сотен жителей деревни старались снова превратить руины в пригодные для жизни хижины. Четырнадцать человек погибли и пропали без вести, и таких было бы больше, намного больше, если бы не двенадцатилетняя девочка, которая подняла тревогу за считаные минуты перед тем, как серая водяная стена высотой в несколько метров ринулась на стоящие совсем рядом с берегом одноэтажные домишки деревни. Широкая бетонная полоса, Tsunami Evacuation Route[1], проложенная много лет назад на случай повторных бедствий и по крутому, поросшему эвкалиптами склону ведущая от океана на туманную спа-

1. Путь эвакуации при цунами (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

сительную вершину, обеспечила многим из предупрежденных возможность уйти от гибели.

Волна разрушила мол, разбила все зачаленные рыбачьи лодки и помимо множества жилых домов сровняла с землей школу, магазин и приходский дом. Едва ли хоть одного из островитян беда обошла стороной. Тот, кому не довелось оплакивать погибшего, считал себя счастливчиком. Но под конец вода стерла и границу меж обиталищами живых и мертвых.

Человек в синем комбинезоне работал у подножия скального обрыва на краю деревни, там, где раньше располагалось маленькое кладбище, хранившее историю острова с времен его открытия в шестнадцатом веке до дня последнего потопа, — теперь и его тоже восстанавливали. Покоились здесь не только островитяне, но и жертвы кораблекрушений и морских сражений, испанские, английские, чилийские и немецкие матросы, искавшие в Тихом океане удачи, власти и богатства и проводившие в море годы и десятилетия, чтобы в итоге найти в какой-нибудь бухте на краю света одну только смерть.

Среди остатков их могил валялись в этот день оконные и дверные рамы разрушенных домов, рваные клочья гофрированного железа, вырванные из крепежа качели и черный от мазута корпус двигателя, словно вырванное сердце чудовища... А вот кресты и надгробия, словно подмененные разбросанными здесь обломками будничной жизни, стена воды унесла далеко от мест вечного упокоения, теперь они лежали меж фундаментов исчезнувших домов, разбитых крыш и торчащих в пустоту бетонных балок.

В эти предвечерние часы я как раз вернулся с прогулки, которая из Сан-Хуан-Баутисты привела меня в уединенную, окруженную высокими скальными кручами бухту, где у каменистого пляжа, в пещере, вернее в застывшем пузыре магмы, археологи нашли остатки инструментов и секстант шотландского корсара Александра Селькирка.

Селькирк, рулевой британского капера, в 1704 году после стычки по поводу мореходности разъеденного морскими желудями трехмачтовика, на который он нанялся парусным мастером, был высажен капитаном в этой бухте и до своего спасения целых четыре года и четыре месяца жил в отчаянном одиночестве, доводившем его иной раз чуть не до безумия, а иной раз чуть не до смерти. Единственные люди, каких он встретил за эти годы, матросы испанского корабля, сошедшие на берег за пресной водой и принявшие одетого в шкуры островитянина за английского пирата, то есть за врага, хотели его убить. Он чудом сбежал от них, укрывшись в ненавистных дебрях. После счастливого спасения Селькир-

ка британским капером, возвращения в обитаемый мир и к прежней пиратской жизни его судьба вдохновила писателя Даниэля Дефо к написанию романа, который хронисты считают первым в истории английской литературы, — "Робинзона Крузо".

Дефо, правда, переместил одинокую обитель в Карибское море и облагородил высаженного корсара, превратив его в потерпевшего крушение коммерсанта: памятуя о заросших джунглями, почти отвесных горных кряжах за Сан-Хуан-Баутистой, о штормовых ветрах с кипящими вихрями туч над неприступными вершинами, понимаешь, что такой прием просто напрашивается. Какой читатель последует за героем всего-навсего в серую реальность, на штормовой, дождливый остров, которому вдобавок грозят стремительные цунами после далеких вулканических извержений и подводных землетрясений? Суровый остров Робинзон-Крузо, постоянно в осаде циклонических фронтов и бушующего Тихого океана, даже в летний день больше походил на место ссылки, чем на арену тропических приключений.

На морских картах времен Селькирка и многие десятилетия спустя остров значился под самым простым с точки зрения навигации названием, какое еще в 1574 году дал ему открыватель, испанский капитан Хуан Фернандес: Isla Más a Tierra — Остров, ближний к земле (к южноамериканскому континенту, по сравнению с соседним островом Isla Más Afuera). Лишь в Новое время всемирная слава выдуманного персонажа, позволявшая надеяться на прибыль от туристов, привела к переименованию обоих островов: ближний назвали Робинзон-Крузо, а тот, что поменьше и подальше, необитаемый, — по имени исторического прототипа литературного персонажа: Александр-Селькирк.

Подобно выдумке и реальности в картографическом переименовании, миры живых и мертвых в этот вечер, казалось, тоже сливались один с другим: человек в синем комбинезоне разбивал остатки ограды, — а может, это был фрагмент тротуара или разрушенной набережной из вулканической породы, — чтобы из обломков соорудить могильную ограду на том же месте, где она, по воспоминаниям заказчика или его самого, располагалась до потопа. Прочие родичи покойных и потомки, очевидно, опередили его и уже восстановили кой-какие погребения приблизительно на прежних местах. Впрочем, всяк, похоже, руководствовался собственной памятью, потому что восстановленные надгробия с новыми оградами располагались не рядами и не иным симметричным образом, а примерно так, как уст-

роилась бы на этом черном песке, скажем, толпа усталых, измученных людей — одни так, другие этак, кое-кто рядом, тесной группкой, кое-кто в стороне, в одиночестве, в самых разных позах и положениях, но отнюдь не строго по линейке и отвесу.

Человек в комбинезоне отложил кирку, нагнулся за банкой пива, отхлебнул глоток и ненадолго присел отдохнуть на кучу обломков. А затем, словно на черном песке вычерчен план, принялся выкладывать из обломков ограду. Под конец он поставил в изголовье отлитый из бетона маленький крест, на поверхности которого отпечатались годичные кольца деревянной опалубки, и положил на новую могилу букет из синих и красных пластиковых цветов. Ноги погребенного здесь покойника указывали бы в сторону гор, а голова — в сторону океана.

Сперва я подумал, что мужчина, согбенный от воспоминаний или от скорби, решил помолиться, ведь, закончив работу, он долго неподвижно стоял у восстановленной могилы, а потом опустился на колени. Но вместо молитвы он опять принялся разбирать каменную ограду и перекладывать по-другому обломки, пластиковые цветы и крест, словно лишь после заключительного осмотра заметил непорядок в устройстве этого места упокоения. Непорядок, который можно исправить, только начав все сначала.

Коль скоро и живых островитян, и их усопших близких в первые годы вечности приходится вновь и вновь защищать от мощи океана, то и вот этот, погребенный здесь, где-то здесь, не должен ожидать потопов грядущего в беспомощном, беззащитном положении, которое подставляет под удар стихии самую широкую поверхность. Но теперь, когда человек в комбинезоне наконец заново уложил обломки, могила, словно лодка, направленная навстречу прибою, указывала изголовьем на затянутые тучами горы, а изножием указывала... нет, отталкивала накатывающее, всеохватное и всепоглощающее море.

Работа ангелов. Чехия

Я увидел стену в человеческий рост, широкой дугой тянувшуюся под заиндевелыми деревьями. Прослеживая взглядом ее ход, я заметил среди черных стволов далекие крутые крыши, а потом и колокольню церкви св. Мартина в Тршебиче, городке на юге страны, которая в ту пору на картах Центральной Европы еще значилась как Чехословакия.

Вон туда и дальше до той вершины, до холма Градек, сказали мне в приречном пансионе, указав на лесистую возвышенность, — Павлик наверняка и сегодня там, Павлик всегда или почти всегда возле своей стены. Небось там и проведет остаток жизни.

И действительно, часом позже, не пройдя вдоль Павликовой стены и сотни метров, я увидал старика, который киркой выковыривал камни из заросших плющом развалин и относил к пролому, зиявшему в стене словно после артобстрела. Старик явно намеревался заложить пробоину. Деревянные леса, уже перекрывшие отверстие, позволяли пока что разглядеть длинные ряды заросших могил и надгробия, частью еще стоящие вертикально, частью упавшие, опрокинутые или глубоко увязшие в мерзлой земле.

Да, сказал старик, Богумир Павлик — это я; он положил еще один камень возле лесов и вытер испачканные землей руки о блестящий от инея пучок травы.

В Тршебиче я вовсе не спрашивал про Павлика — это имя я впервые услышал в пансионе, — я спросил про еврейское кладбище, уже четыре с лишним сотни лет располагавшееся за холмом, за городской чертой, но старик и *был* этим кладбищем, по крайней мере в глазах сограждан.

Нет, Павлик не еврей, но как бывший учитель, изо дня в день стремившийся привнести *больше света*[1] в головы очередного поколения, он не был и сторонником коммунистов, которые тогда еще правили страной и норовили попросту истребить все, что превосходило их разум или противоречило догматам их веры. А поскольку не утихали слухи, что это кладбище сроют и превратят в строительную площадку, Павлик в возмущении своем решил заняться этим одичавшим местом, где никого больше не хоронили с тех пор, как последних тршебичских евреев, почти три сотни человек, в товарных вагонах вывезли в коцентрационный лагерь Терезиенштадт. Только десятеро из них остались в живых, выдержали годы кошмара. И ни один не вернулся в родной город. Так кто же защитит это богом забытое кладбище от диких зверей, от собак, от осквернителей могил, от вандализма коммунистов и, наконец, от самого времени?

В ту пору Павлик мало что знал об иудаизме, однако ж ему был известен закон, что за каждым успошим до́лжно до конца времен сохранять участок земли, где он похоронен. Моги-

1. Легенда приписывает эти слова умирающему Гёте.

лы тех, кто ожидал воскресения на еврейском кладбище, не уничтожали, даже когда их род пресекался, не как на христианских кладбищах, где кости *перезахороненных* складировали в оссуариях, а опустевшие могилы, которым полагалось бы хранить человека до Страшного суда, предоставляли другому усопшему и его платежеспособным потомкам.

Без долгих расспросов Павлик начал тогда — сколько лет минуло с тех пор? пятнадцать, нет, шестнадцать? — восстанавливать старинную каменную стену вокруг кладбища, где в течение столетий упокоилось более одиннадцати тысяч человек, — стену протяженностью полтора километра, во многих местах от нее осталось не больше, чем от надгробий, сотни и сотни которых он своими руками высвободил из корней и чащобы растений, вновь извлек из забвения на свет божий. Ведь коль скоро не осталось ни родни, ни потомков, которые клали на могилу камешки, дабы показать усопшим, что о них думают, по-прежнему любят их или хотя бы еще не забыли, то под сенью этой стены должны хотя бы царить покой, защищенность, по крайней мере, пока жив он, Павлик. На днях ему сравняется восемьдесят.

Все камешки, какие я видел на многих могилах, положил он, и мне бы сейчас тоже не мешало снять перчатки и положить несколько камешков на эти могилы, камешки значили здесь больше, нежели цветы, напоминали о библейских временах, когда место погребения закладывали камнями и тем защищали от голодных падальщиков и песчаных бурь Святой земли.

Исполняя свою нередко тяжелую работу, Павлик находился здесь, наверху, большей частью в одиночестве, как и сейчас, в этот зимний день, такой студеный, что он не мог замесить раствор, мог только приготовить замшелые, старые камни, однако именно поэтому кладбище, сами усопшие мало-помалу заговорили с ним, да-да, с ним, а он мало-помалу научился понимать их язык и их письменность, часто это стоило большого труда, но таким образом для него, можно сказать, один за другим оживали люди, о чьей жизни наряду с немецкими и чешскими надписями напоминали прежде всего древнееврейские, — влюбленные, навеки расставшиеся во дни чумы, молодая мать, подарившая жизнь близнецам и потерявшая при этом свою, врач, побежденный холерой... И порой погребенные здесь казались ему ближе и роднее многих горожан.

Когда Павлику удавалось перевести очередную древнееврейскую надпись, он не спеша красивым почерком заносил ее в блокнот, который всегда носил с собой в нагрудном кармане куртки. Одну из первых страниц украшало послание, найденное на надгробии жены скорняка:

Любимая
Угасла ты
Как самый ясный день
Однако же уйдет и ночь
Наставшая
После разлуки нашей

Да, конечно, он все еще надеялся, что и здесь, в Тршебиче, времена постепенно изменятся, вновь просветлеют. Пожалуй, и в партийных комитетах уже подумывали о том, чтобы не разрушать эту обитель вечности, а открыть ее для туристов, в конце концов еврейское кладбище Тршебича, наряду с пражским, было из числа крупнейших в стране и могло стать желанной целью для того или иного любителя истории, а заодно и обернуться выгодой и привести людей в городские пансионы и кафе. Но Павлика подобные соображения уже давно не интересовали. Он непоколебимо продолжал возводить стену и порой слышал лишь множество голосов, звучавших под ее сенью.

Впрочем, самые прекрасные слова, какие он отыскал за многие годы своего великого труда, были не выбиты на камне, а вышиты серебряными нитями на черном бархатном покрове, который он как-то раз вытащил из-под обломков. Некогда такими покровами застилали носилки и несли усопших к могиле на словах, на псалме. Приложив огромные усилия, он расшифровал эти серебряные письмена и был счастлив, да-да, счастлив, когда наконец счел, что понял надпись, ведь блистающее на бархате послание относилось и к живым, и к мертвым:

Повелел Он ангелам Своим
Оберегать тебя
Куда бы ты ни шел

Куда бы ты ни шел, на всех дорогах, даже на той единственной, последней. И когда Павлик начал задавать себе вопрос, оберегали ли эти ангелы и тршебичских евреев в их товарных вагонах, он терзался сомнениями и лишь с трудом оборонялся от мысли, что даже Всемогущий мог нарушить обещание или просто забыл повелеть своим ангелам... ангелам, которые затем молча и бездеятельно стояли по сторонам дорог в Терезиенштадт и в лагеря смерти. Разве другой всемогущий бог не позволил распять на кресте даже собственного сына, но не повел небесное воинство на битву против ослепления, злобы и жестокости своих созданий?

Однако ж затем, после долгих сомнений и разочарований, продолжая все это время просто возводить стену, Павлик наконец понял, что́ на самом деле было написано на погребальном покрове: именно людям, смертным было поручено

Оберегать тебя
Куда бы ты ни шел

и таким образом выполнять работу ангелов.

В*торой день рождения.* Р*усская* А*рктика*

В кубрике русского ледокола “Капитан Драницын” я увидел накрытый стол. Застопорив машины, корабль неподвижно замер среди паковых арктических льдов, так что из всех двенадцати бокалов, поднятых за здоровье улыбающегося парня, не пролилось ни капли. Белая скатерть и бенгальский огонь, дождем рассыпавший звезды искр на глазурь большого торта, придавали столу праздничный вид, который не вполне вязался с синими рабочими комбинезонами гостей.

В пересменку пилот одного из двух бортовых вертолетов пригласил инженеров и матросов отметить его второй день рождения, ведь всего несколько часов назад на подлете к одному из оледенелых островов русского архипелага Земля Франца-Иосифа у него отказал движок, машина упала, а сам он уцелел только благодаря тому, что вращавшиеся лопасти затормозили падение.

Уцелевший должен был доставить меня и моего друга с назначенного места встречи на острове Чамп — одном из без малого двух сотен погребенных под льдами островов архипелага — обратно на ледокол, а теперь, после аварийной посадки, бледный и молчаливый дожидался вместе с нами запасного вертолета.

Несколькими часами ранее мы с другом в свете полуночного солнца шагали от черных скал, поднимающихся из-за льда километрах в двадцати к юго-западу от точки крушения, по каменистой, но в течение нескольких летних недель свободной от снега равнине к месту встречи, по пути снова и снова сравнивая очертания побережья с фотокопиями гравюр, сделанных по картографическим наброскам открывателей этой земли: столовые горы, паковый лед и перламутровые гряды тумана, которые даже на небольшом расстоянии

были почти неотличимы от заснеженных торосов, — все казалось неизменным, нехоженым, словно время здесь остановилось в августе 1873-го, года открытия этой самой северной группы островов.

В эти мягкие дни арктического лета мы, с особого разрешения старшего офицера, снова и снова покидали корабль, одни, без сопровождающих, обходили острова, фьорды и мысы по маршрутам той полярной австро-венгерской экспедиции, которая, вынужденно дрейфуя вместе с паковыми льдами, летом 1873 года открыла этот необитаемый архипелаг и в честь далекого государя назвала его Землей Франца-Иосифа.

Рейс "Капитана Драницына" с норвежского Шпицбергена в высокоширотную русскую Арктику был посвящен памяти этого самого исследовательского плавания, участники которого надеялись пройти вдоль северного побережья Сибири из Атлантического в Тихий океан и тем самым доказать существование Северо-Восточного прохода, обвеянного мифами пути, где веками — и до, и после императорской экспедиции — снова и снова исчезали корабли.

Меня пригласили в полярный рейс на борту "Капитана Драницына", поскольку почти двадцать лет назад я написал роман об открытии Земли Франца-Иосифа — кстати, ни разу не побывав в Арктике. Я тогда не видел ни многокрасочности паковых льдов, ни колышущихся переливов полярных сияний, ни даже света и кругового движения полуночного солнца, я писал роман, расспрашивая полярных путешественников и вернувшихся домой сотрудников арктических станций, читая их дневники и отчеты, рассматривая картины и фотографии и сопоставляя промеры глубин с оттенками синевы на картах Ледовитого океана.

И вот теперь, в эти на удивление почти безоблачные летние недели, спустя многие годы по завершении романа и через сто с лишним лет после мучительных пеших переходов и переездов на собачьих упряжках моей экспедиции, вертолетчики "Капитана Драницына", смотря по ветровым условиям, высаживали нас на одном из островов, закартографированных императорскими землемерами при температурах в минус сорок-минус пятьдесят градусов Цельсия, и в течение солнечного дня или солнечной ночи снова подбирали в заранее условленном месте.

Когда вертолет, прочная, надежная машина, разработанная для воздушных боев Красной армии, оставлял нас в ревущих вихрях из снежно-ледяных кристаллов, еще некоторое время громыхал в арктическом небе, а затем превращался в

темную жужжащую точку и исчезал, для нас всякий раз начинался путь сквозь замершее время. Ведь лишь изредка, лишь стоя на столовой горе или на возвышенности, мы видели среди паковых льдов ледокол, маленький, как потерянная игрушка, и тогда нам вспоминалось, что со времен открытия этой земли здесь не случалось ничего и, тем не менее, случалось все: проходило время.

После двух с лишним лет в паковых льдах, после двух полярных ночей с самыми низкими температурами, которые были до тех пор отмечены и выдержаны людьми, после цинги, обморожений и всех ужасов льдов и мрака императорская экспедиция, вошедшая в историю открытий под именами ее руководителей — Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта, оставила свой трехмачтовый барк, вмерзший в уже не пробиваемый ледяной панцирь, и попыталась пешком через паковые льды выйти к спасению, к открытой воде. Многомесячный переход, когда они тащили шлюпки, тяжелые норвежские вельботы, по снежной каше и обломкам льдин, показался им квинтэссенцией пыток всех арктических лет.

И свершилось то, что еще никому до них не удавалось осуществить без длинного списка погибших: команда в самом деле добралась до открытой воды, до кипящего штормами Баренцева моря, их спасательные вельботы на веслах и под парусами достигли изрезанного побережья острова Новая Земля, где русский китобоец подобрал изголодавшихся чужаков, изуродованных язвами цинги и обморожений, и доставил в Северную Норвегию. Оттуда открыватели последнего на свете архипелага с триумфом вернулись в Вену, где более полумиллиона людей вышло им навстречу.

Какой восторг! Пусть безымянные полярники, охотники за ворванью или пленники паковых льдов уже в предшествующие века видели среди далеких туманных фронтов эти заледенелые императорские острова, однако ж геодезической съемки не проводили, не ступали на них ногой, а главное, не дали им названий. Да и что особенного, если и после экспедиции Пайера-Вайпрехта тут и там обнаруживали на горизонте и заносили на карты какую-нибудь скалу или неведомый утес: после того как архипелаг получил имя Земля Франца-Иосифа, с карты Старого Света исчезло последнее белое пятно. Глобусы и атласы, обогащенные более чем шестнадцатью тысячами квадратных километров безлюдной глухомани, наконец-то отражали полную картину.

За годы ледового плена императорские охотники, нередко рискуя жизнью, уложили и съели шестьдесят семь белых медведей. Без медвежатины команда умерла бы с голоду.

Мы повторяли путь этих охотников и, стоя с биноклем у бортового ограждения, часто видели, как белые медведи прыгали с льдины на льдину, когда паковый лед разламывался под напором ледокольного киля, а когда корабль замирал без движения, некоторые вставали на задние лапы и, опершись передними о борт, смотрели вверх, на нас, — однако в походах по островам мы лишь один-единственный раз встретили медведицу с двумя медвежатами.

Хоть и вооруженные перцовым спреем и крупнокалиберным охотничьим ружьем, мы, пожалуй, вряд ли сумели бы защититься достаточно быстро, ну разве что с горем пополам, если бы медведица увидела в нас угрозу для детенышей или просто добычу. Какое зрелище, когда она — а следом и малыши — неторопливо вышла из-за тороса метрах в пятидесяти от нас и мгновенно замерла как вкопанная. Лишь мало-помалу, едва ли не грациозным движением морды сегмент за сегментом обследуя окружающее пространство, улавливая запахи, она повернулась к нам.

В романе я описывал медвежьи охоты, описывал ужас и паническое бегство безоружных матросов, на которых во время работы во льдах вдруг нападали медведи. Но в изученных мною материалах речь ни единого разу не заходила о том, что в мгновения страха человек способен стать легким, легким как перышко, немыслимо легким, так что даже слабый ветерок может занести его прямо в лапы и клыки хищника или взметнуть вверх, как сухой лист или клочок папиросной бумаги, и таким образом превратить в нечто такое, что можно просто схватить на лету либо играючи, одним ударом лапы, сбить наземь, прекратив его хаотичный неровный полет. Я парил.

Но, пожалуй, медведица сочла меня, вернее, нас обоих диковинными, но безобидными, да и как добыча мы ее не очень-то заинтересовали, а может быть, показались ей во всех отношениях чересчур легковесными, и после короткой задержки и испытующего взгляда она проворно зашагала дальше впереди детенышей, и вот тут я заметил, что мой друг держит ружье уже не на ремне через плечо, а в руках. Сам-то я с испугу ни секунды даже не помышлял достать из бокового кармана рюкзака перцовый спрей.

Местом посадки и встречи мы с пилотом выбрали на острове Чамп тот ровный склон, который не спутаешь ни с каким другим благодаря несчетным, заметным издалека каменным шарам. Рассыпанные по всему склону, эти шары — многие лишь чуть покрупнее игральных шариков и теннисных мячей, но есть и огромные, один, два и даже три метра в

поперечнике — долгое время представляли собой загадку, из-за геометрически правильной формы прежние экспедиции принимали их за остатки некой исчезнувшей культуры, за жертвоприношения духам арктического мрака, даже за наследие космических пришельцев. А вот японец-геолог на борту "Капитана Драницына" говорил всего-навсего о сложных химических процессах в пластах осадочных пород, которые приводили к образованию коконообразных наслоений — например, вокруг крошечной окаменелости — и, подобно тому как устрица выращивает жемчужины, создавали эти загадочные шаровидные формы.

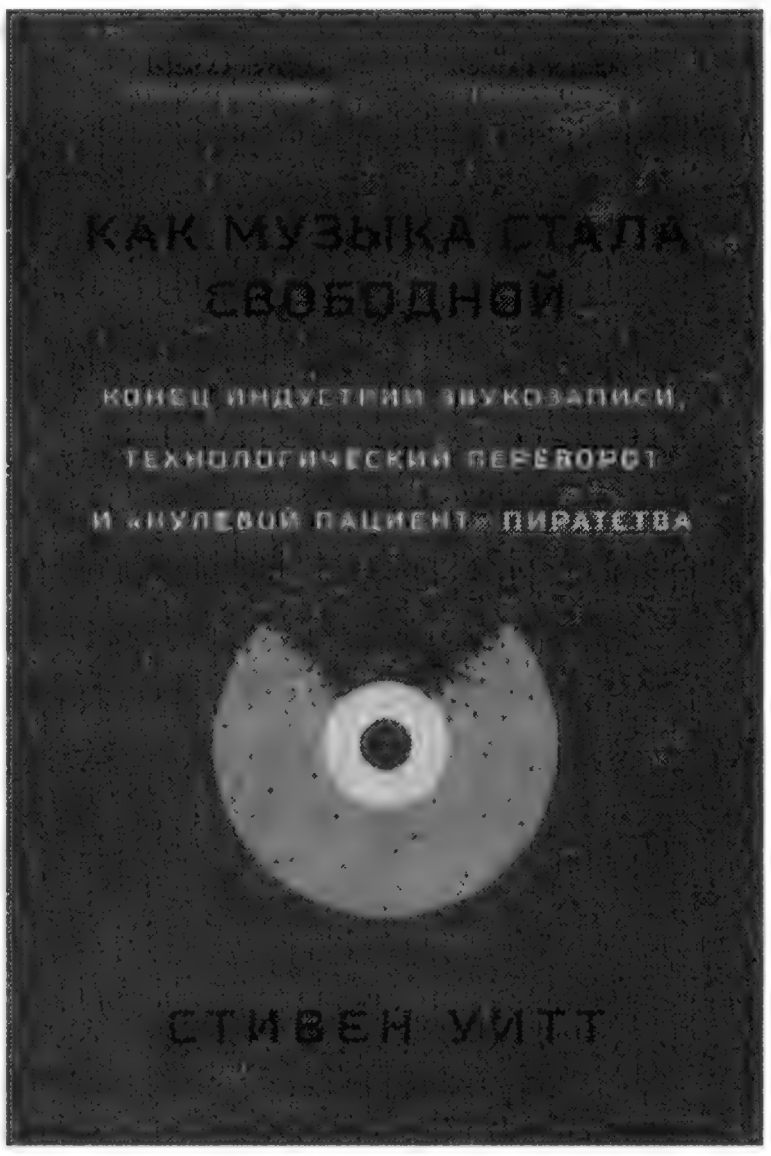
К месту встречи среди каменных шаров мы вышли через пять часов солнечной ночи, еще до назначенного срока, и опасались наихудшего, когда увидели подлетающий вертолет, а затем, после оглушительного металлического лязга, — одна из лопастей турбины сломалась, и обломки угодили в бешеное круженье винта, — заторможенное падение и жесткую посадку. В течение десяти, двенадцати и еще многих секунд после удара, пока мы бежали по каменным шарам и осыпям к рухнувшей машине, пилот неподвижно сидел в целехонькой кабине.

В кубрике, на дне рождения, по случаю которого один из коков украсил торт глазурным сахарным вертолетом с птичьими крыльями, пилот сказал, что его машина, вероятно, останется на острове на всю полярную ночь и только в будущем году, когда атомный ледокол "Ямал" пройдет мимо Земли Франца-Иосифа курсом на Северный полюс с нужными запчастями на борту, удастся ее починить. Поэтому во второй половине дня он еще раз слетает к Чампу на другом вертолете, обольет потерпевшую аварию машину дизельным топливом и пропитает им же снег и землю в окружности нескольких метров. Только так — да и то не наверняка — можно удержать белых медведей на расстоянии, иначе за темные зимние месяцы они взломают кабину. Да-да! Удары их лап настолько сильны, что способны вдребезги разбить даже стекло пилотской кабины, лишь бы утолить голод кожей сидений и всем, что они сочтут съедобным. Ведь сколь ни безобидным казался этот крупнейший на свете наземный хищник летом — когда тюлени лежали на льду, как готовые блюда, и добычей становились даже моржи, — в холоде и мраке полярной ночи голод у медведя так же неутолим, как жажда жизни у пилота в свободном падении.

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Как музыка стала свободной — так называется книга **Стивена Уитта**, впервые вышедшая в 2015 году и уже в 2016-м переведенная и изданная в России (пер. с англ. **А. М. Беляева**. — М.: Белое яблоко. — 304 с.). Название может отчасти дезориентировать — начинаешь думать о проблемах композиторов, чью свободу раньше каким-то образом ограничивали, а теперь ограничений больше нет и вольную независимую музыку сочинять никто не мешает.



Книга, однако, совершенно о другом. И дело здесь прежде всего в неоднозначности присутствующего в заголовке “How music got free” прилагательного free. Да, это в первую очередь “свободный”, однако в других контекстах — “бесплатный”. И здесь тот самый случай: более точным было бы название “Как музыка стала общедоступной”.

В коммерческом отношении музыка — это такой же товар, как и любой другой. С момента появления звукозаписи этот товар перестал быть эфемерным и обрел материальное воплощение — на протяжении всего XX века музыка продавалась на грампластинках, а в 80—90-е годы их сменили компакт-диски. Однако товар этот — из разряда скоропортящихся: максимальные доходы в данном бизнесе приносят новые записи популярных исполнителей. Поэтому в последние десятилетия выход в свет новинок сопровождался серьезнейшими мерами безопасности — ведь любая “утечка” записанного материала влекла за собой появление пиратских компактов и, соответственно, гигантские убытки законных производителей.

Но настоящая революция произошла в середине 90-х с появлением нового формата звукозаписи — mp3, — позволяющего “сжимать” музыкальные треки без заметной потери качества и хранить, воспроизводить и распространять их в виде компьютерных файлов. А взрывной кумуля-

тивный эффект возник в силу пришедшегося на тот же период бурного развития интернета: через сетевые контакты практически любая записанная музыка стала доступна миллионам слушателей с помощью пары кликов. В итоге всего за несколько лет индустрия звукозаписи в прежнем виде была практически уничтожена.

Собственно, книга повествует о том, как конкретно это происходило. Удивительно, что такой глобальный поворот стал следствием действий нескольких одиночек-энтузиастов, которым удалось использовать технологический прогресс нетривиальным образом. В их действиях можно усмотреть сильную "антикапиталистическую" составляющую — это такие современные Робин Гуды, которые перераспределяют материальные блага от коммерсантов (лишая их источника сверхдоходов) к простым потребителям (обеспечивая им доступ к ставшему практически бесплатным товару — музыке).

Конечно, с юридической точки зрения их деятельность трудно назвать корректной. Так, одним из ключевых моментов во всей этой истории, если верить автору, было банальное похищение новеньких компакт-дисков с завода, где один из главных героев работал на линии упаковки: несмотря на жесткий контроль, ему удавалось выносить экземпляры, засовывая их под большую круглую пряжку на ремне.

Еще один аргумент против музыкального пиратства — то, что в итоге авторы и исполнители лишаются доходов от продаж носителей: известная проблема авторских прав. Конечно, музыкантов жалко; однако надо учитывать то, что фактическими правообладателями — и, соответственно, выгодоприобретателями — являются звукозаписывающие компании. И уже сейчас можно считать, что "пиратство" фактически перестало быть социально осуждаемым: в Европе возникают даже целые политические движения, основанные на поддержке copyleft (неологизм, представляющий собой антоним copyright, то есть авторского права), и их представители избираются в органы власти.

Еще три книги этого обзора также переведены музыкальным критиком и обозревателем Александром Беляевым. Наличие квалифицированного, находящегося "в теме" переводчика в данном случае крайне важно, поскольку издания, посвященные англоязычной рок-музыке, порой невозможно читать именно по причине неадекватного перевода. Итак, три книги издательства "АСТ" с одинаковыми подзаголовками *История за каждой песней*, выпущенные в 2016-м и посвященные мега-рок-группам разных эпох: *The Rolling Stones* **Стива Эпплфорда**, *Led Zeppelin* **Криса Уэлша** и *Metallica* **Криса Инге-**

ма — издания-близнецы и по формату, и по оформлению, и даже по объему (по 192 с.).

В свое время (лет 25 назад) тиражи изданий такой серии могли бы достигать десятков тысяч — а сейчас в выходных данных указаны скромные 2000. Неудивительно: золотой век рок-музыки миновал, и читать про знаменитые группы интересно прежде всего тем, для кого они были кумирами молодости и в ком старые названия песен пробуждают ностальгические эмоции. Сужу по себе: мне было значительно интереснее читать про "роллингов" и "цеппелинов" (60—70-е — время моей юности), чем про "Металлику".

Название серии — "История за песнями" — тоже отчасти может ввести в заблуждение. Лично я ждал чего-то вроде реальных историй, стоящих за песнями, то есть того, что служило авторам источником вдохновения ("Когда б вы знали, из какого сора..."). Но здесь оказалась представлена прежде всего музыкальная хроника: последовательно излагается история записи всех альбомов, причем каждой композиции с каждого альбома отведено несколько абзацев, обязательно сопровожденных строгой информационной врезкой.

Впрочем, то, что называется "реальные истории", в данном случае не так важно: ведь у каждого поклонника этих групп за каждой песней стоит своя личная история, и, читая про "Jumping Jack Flash" или "Stairway to Heaven", вспоминаешь именно эти истории, то есть фрагменты своей жизни, которые с ними персонально связаны. Ну и, конечно, очень важно, что чтение этих текстов может сопровождаться потенциальным саундтреком: при аккомпанементе соответствующих записей (безусловно, лучше всего виниловых пластинок) возникнет уникальная синергия.

She would never say where she
came from
Yesterday don't matter when it's
gone

Ночью ниоткуда до утра
Исчезает никуда вчера

Гудбай, Ruby Tuesday.
"Здравствуй, Черный
Понедельник".

Дэвид Мэмет
David Mamet
[р. 1947]. Американский драматург, эссеист, сценарист, режиссер, продюсер, актер. Лауреат Пулитцеровской премии [1984].

Автор пьес *Американский бизон* [*American Buffalo*, 1975], *Гленгарри Глен Росс* [*Glengarry Glen Ross*, 1984], *Испанец-заключенный* [*The Spanish Prisoner*, 1985], *Олеанна* [*Oleanna*, 1992], сценариев к фильмам *Почтальон всегда звонит дважды* [*The Postman Always Rings Twice*, 1981], *Неприкасаемые* [*The Untouchables*, 1987], *Дядя Ваня* [*Uncle Vanya*, 1991], *На грани* [*The Edge*, 1997], *Ганнибал* [*Hannibal*, 2001], *Фил Спектор* [*Phil Spector*, 2013] и др., книг *Дети царей и цариц* [*The Children of Kings and Queens*, рус. перев. 2014], *Древняя религия* [*The Old Religion*, рус. перев. 2014] и др., а также стихотворений, детских рассказов, документальных работ и нового варианта истории доктора Фауста.
Перевод пьесы выполнен по изданию *Romance* [New York: Vintage Books, a division of Random House, Inc., 2005].

Хелле Хелле
Helle Helle
Датская писательница. Лауреат премий *Золотого лаврового венка*, датских критиков, *Беатрис* Датской академии, Пера Олова Энквиста, Датского совета по делам искусств.

Автор романов *Дом и родина* [*Hus og hjem*, 1999], *Идея беззаботной жизни с одним мужчиной* [*Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand*, 2002], *К чертям собачьим* [*Ned til hundene*, 2008], *Это нужно переписать в настоящем времени* [*Dette burde skrives i nutid*, 2011], сборников новелл *Останки* [*Rester*, 1996], *Машины и животные* [*Biler og dyr*, 2000] и др. В *ИЛ* напечатана ее новелла [2015, № 12].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Примеры из жизни* [*Eksempel på liv*, 1993].

Наталья Кларк
Прозаик, переводчик с английского, датского, норвежского, шведского и французского языков. Живет в Копенгагене.

Из последних переводов с датского сборник новелл Хелле Хелле, роман К. Банг Фосса *Смерть ведет Ауди*, сборник поэзии Х. Норбранта *100 стихотворений*. В *ИЛ* в ее переводе напечатана новелла Хелле Хелле [2015, № 12].

Марко Кравос
Marco Kravoc
[р. 1943]. Словенский поэт, прозаик, публицист, переводчик с итальянского и диалектов итальянского, хорватского и испанского языков.
Преподавал в университете Триеста, возглавлял Общество славистов и Словенский клуб в Триесте, председатель словенского

Автор поэтических сборников *Треугольный парус* [*Trikotno jadro*, 1972], *Средоземье* [*Sredozemlje*, 1986], *Картошина в сердце* [*Krompir na srcu*, 1996], *Любовное* [*Ljubezenske*, 2003], *Соль на язык* [*Sol na jezik*, 2013], *В камень, в воду* [*V kamen, v vodo*, 2013] и др., книг прозы *Нескучные времена – Триест глазами лягушонка* [*Kratki časi – Trst iz žabje perspective*, 1999], *Триест в кармане* [*Trst v žepu*, 2006] и др. На русском языке его стихи публиковались в *Антологии словенской поэзии* [2008].
Публикуемые тексты взяты из разных сборников.

ПЕН-центра [1996–2000]. Лауреат премии фонда им. Ф. Прешерна [1999] и итальянской государственной премии *Astrolabio d'oro* [2000]. Живет в Триесте [Италия].

Мирослав Кошута
Miroslav Košuta
[р. 1936]. Поэт, публицист, драматург, переводчик с итальянского и испанского языков. Пишет на словенском и итальянском языках. Работал корреспондентом Радио и телевидения Любляны, был штатным автором словенского драматического театра в Триесте, впоследствии художественным руководителем театра. Лауреат литературных премий Италии и Словении, в том числе премии им. Ф. Прешерна [2011]. Обладатель ордена *За заслуги* Республики Словении [2015]. Живет в Триесте [Италия].

Автор сборников стихов *Море без берега* [*Morje brez obale*, 1963], *Триестинские стихи* [*Tržaške pesmi*, 1974], *Ежевика и малина* [*Robidnice in maline*, 1983], *Город с пирсом Сан-Карло* [Mesto z molom San Carlo, 2002], *Крижада* [*Križada*, 2006] и др., книги воспоминаний *Моряк на козе* [*Mornar na kozi*, 2016].
Публикуемые стихи взяты из сборников *Древо жизни* [*Drevo življenja*. Trst: Mladika, 2011] и *Девушка с голубыми цветами* [*La Ragazza dal Fiore Pervinca*. Bracciano: Del Vecchio Editore, 2015].

Жанна Владимировна Перковская [Гилева]
Переводчик со словенского, сербского, хорватского, македонского, польского, английского языков. Лауреат премии *Иноliттл* [2015], победитель конкурса перевода современной британской прозы [2016].

Составитель и переводчик *Антологии словенской поэзии* [2008]. В ее переводе вышли книги М. Павича *Вывернутая рукавица* [2001, совместно с Е. В. Верижниковой], М. Ленарчича, словенского летчика, совершившего кругосветное путешествие на сверхлегком самолете, *Вокруг единого мира* [2012]. В *ИЛ* в ее переводе были опубликованы стихи А. Ихана, А. Поповского, Ф. Прешерна, М. Есиха, С. Макарович, З. Кецмана и Т. Павчека, Б. Мозетича, а также рассказы Г. Петровича и Андреевского [в сооавторстве с Е. В. Верижниковой], М. Деклевы и В. Жабота, а также подборка современной сербской поэзии и эссе Б. А. Новака.

Николай Георгиевич Мельников
[р. 1970]. Литературовед, критик, кандидат филологических наук.

Автор книг *О Набокове и прочем: Статьи, рецензии, публикации* [2014], *Портрет без сходства: Владимир Набоков в письмах и дневниках современников (1910–1980-е годы)* [2013]; редактор-составитель антологий: *Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. Критические отзывы,*

Лауреат премии имени А. М. Зверева [2008].

эссе, пародии [2000], *Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве И. А. Бунина: Критические отзывы, эссе, пародии (1890–1950-е годы)* [2010], *Русское зарубежье о Чехове: Критика, литературоведение, воспоминания* [2010]. Постоянный автор *ИЛ*.

Эдуар Дюжарден
Édouard Dujardin
[1861–1949]. Французский поэт, прозаик, драматург и критик. Один из родоначальников символистской драматургии. В поздней драматургии Дюжардена отчетливо выражена католическая тема. Открыл для литературы технику потока сознания.

Автор пьес *Антония* [*Antonia*, 1891], *Кавалер прошлых времен* [*Le Chevalier du passé*, 1892], *Конец Антонии* [*La fin d'Antonia*, 1893], *Марта и Мария* [*Martha et Maria* 1913], *Мистерия об умершем и воскресшем боге* [*Le Mystère du Dieu mort et ressuscité*, 1923], *Возвращение блудных детей* [*Le Retour des enfants prodigues*, 1924], *Вечное возвращение* [*Le Retour éternel*, 1932].
Перевод романа *Лавры срезаны* [1888] выполнен по изданию [*Les lauries sont coupés*. Porche. 2001].

Кристоф Рансмайр
Christoph Ransmayr
[р. 1954]. Австрийский писатель. Лауреат премий Кафки [1995], Гёльдерлина [1998], Брехта [2004], Бёлля [2007] и др.

Автор романов *Последний мир* [*Die letzte Welt*, 1988], *Болезнь Китахары* [*Morbus Kitahara*, 1995], повести *Третий воздух, или Театр у моря* [*Die dritte Luft, oder Eine Bühne am Meer*, 1997], сборника репортажей и эссе *Дорога на Сурабаю* [*Der Weg nach Surabaya*, 1997]. В *ИЛ* напечатан его роман *Ужасы льдов и мрака* [2003, № 2], *Признания туриста* [2008, № 4], фрагмент романа *Летучая гора* [2009, № 3]. Перевод публикуемого текста выполнен по изданию *Atlas eines ängstlichen Mannes* [Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag GmbH, 2012].

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Прозаик, переводчик с польского, литературный обозреватель, лингвист. Член Литературной академии [жюри премии *Большая книга*]. Главный редактор интернет-портала *Словари XXI века*, модератор групп *Библиотека года* и *Словарь года* в сети *Facebook*. Главный редактор *ИЛ* [2005–2008].

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010], австралийского фестиваля русскоязычной литературы *Антиподы* [2010].

Переводчики

Виктор Петрович Голышев

[р. 1937]. Переводчик с английского. Лауреат премий *ИЛ* [1990 и 1993], *ИЛлюминатор* [1997], *Малый Букер* [2001], *Либерти* за перевод [2003], *Мастер* [2012].

В его переводе изданы произведения Р. П. Уоррена, У. Фолкнера, К. Кизи, И. Макьюэна, Т. Уайлдера, Т. Капоте, Ч. Буковски, У. Кеннеди, А. Ислера, Р. Хьюза, Д. Хэммета, У. Фолкнера, У. Гасса, Дж. Гаррисона, Э. Леонарда, У. Тауэр, С. Сонтаг и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Даниил Алексеевич Лебедев

Переводчик с французского. Окончил магистратуру INALCO (Париж). Живет в Париже.

Его тексты и переводы публиковались в журналах *Стол*, *Реч#порт*, *Опустошитель*, *Дистопия*, *12 крайностей*, *Lumière*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Нина Николаевна Федорова

Переводчик с немецкого, шведского, норвежского, нидерландского, английского и польского языков. Лауреат Австрийской государственной премии в области литературного перевода [1994], премии имени Жуковского [2004].

В ее переводе печатались произведения К. Вольф, Г. Гессе, Ф. Дюрренматта, А. Зегерс, К. Рансмайра, П. Низона, Й. Рота, А. Штифтера, И. Бергмана, Х. Мартинсона, Л. Густафссона, С. Дельбланка, Т. Линдгрена, Ё. Тунстрёма, М. Л. Кашниц и З. Ленца, Р. Музиля и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие. Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
119017, г. Москва, Пятницкая ул., 41, стр. 1, 2
(почтовый);
г. Москва, Ленинградский просп., д. 68, стр. 24,
м. "Аэропорт" (фактический).
Телефон (495) 225-98-80.
E-mail: zhurnalil@yandex.ru

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Москва" (ул. Арбат, д. 20);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске "Книжные мастерские" (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине "Книжные мастерские" (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в книжном магазине "Мы" (Невский просп., 20, 3-й этаж);
в магазине "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),
в интернет-магазине "Лабиринт" (http://www.labirint.ru)

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство ПИ № 8С77-63040 от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать 16.02.2017
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 5016.
Тираж 2700 экз.

Отпечатано в ОАО "Можайский полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.ОАОМПК.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

В оформлении обложки использован фрагмент картины французского художника Жана Дюпа [1882—1964]
Женщина с борзой [1929].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

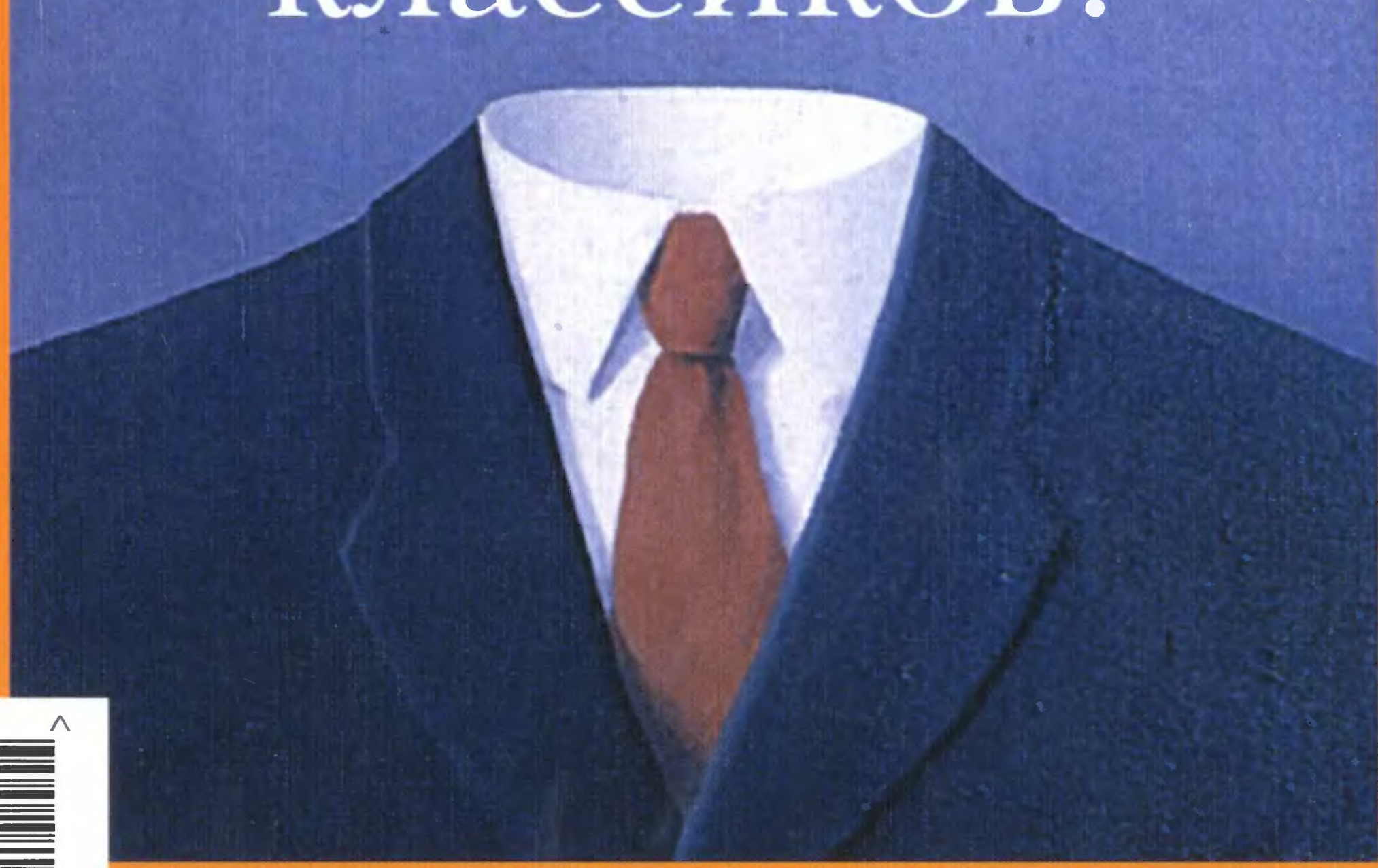
Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор
Мария Макарова.

[4] 2017

РОМАН ЭВЕЛИО РОСЕРО “ВОЙНА” / РАССКАЗЫ ЛИДИИ ДЭВИС, ЛАСЛО ДАРВАШИ И ДР. В РУБРИКЕ “В МАЛОМ ЖАНРЕ” / ИЗ ПОРТУГАЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ XX - XXI ВЕКОВ / ПОЛЬ ВЕРЛЕН В РУБРИКЕ “ПЕРЕПЕРЕВОД” / NB: СТАТЬЯ “ВОЙНА С ВИРУСОМ ЭБОЛА” РИЧАРДА ПРЕСТОНА / ЯНОШ ХАИ В РУБРИКЕ “ПИСАТЕЛЬ ПУТЕШЕСТВУЕТ”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!



Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература”:
г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 24, м. “Аэропорт”.

ISSN 0130-6545 17003

9 770130 654770

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2017, №3, 1–288